



# СОГЛАСИЕ

*Юрий Кашкаров*

СЛОВЕСА ЦАРЕЙ И ДНЕЙ



*Александр Терехов*

С МАКОВЕЦКОГО ХОЛМА



*Алла Марченко*

ЭТИМОЛОГИЯ ШЕСТИДЕСЯТЫХ



4' 1993

---

---



---

---

# СОГЛАСИЕ

---

---

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ОСНОВАН В НОЯБРЕ 1990 ГОДА

**№ 4 (21). АПРЕЛЬ 1993 ГОДА**

МОСКВА. А/О «СОГЛАСИЕ»

**В НОМЕРЕ:**

Константин Плешаков  
ИМПЕРСКИЕ СНЫ

3

---

Лидия Григорьева  
ПЕЙЗАЖ ПЕРЕД БИТВОЙ. *Стихи*

9

---

Виктор Соснора  
ИСТОРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

11

---

Юрий Кашкаров  
СЛОВЕСА ЦАРЕЙ И ДНЕЙ. *Повесть*

24

---

Андрей Никитин  
ПОПЫТКА ДИАЛОГА

70

---

Борис Евсеев  
ЗООАНТРОПОЛОГИЯ  
*Из книги «Актуальная бесконечность». Стихи*

73

---

Александр Терехов  
С МАКОВЕЦКОГО ХОЛМА

79

---

Виктор Некипелов  
МАЙЕРЛИНГ. *Стихи*

103

---

Роберт Штильмарк  
ГОРСТЬ СВЕТА. *Роман-хроника. Продолжение*

111

---

### **ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА**

Антуан де Сент-Экзюпери  
ЦИТАДЕЛЬ. *Продолжение.*  
*Перевела с французского Марианна Қожевникова*

146

---

### **ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

Алла Марченко  
ЭТИМОЛОГИЯ ШЕСТИДЕСЯТЫХ.  
*По повести Вл. Маканина «Один и одна»*

179

---

А. П. Кузичева  
«ВАШ А. ЧЕХОВ»  
*(Мелиховская хроника. 1895—1898). Продолжение*

193

---

### **À PROPOS**

Л. Аннинский

212

---

### **ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ**

Кеннет Грэм  
ИВОВЫЙ ВЕТЕР. *Роман. Продолжение.*  
*Перевела с английского Юлия Муравьева*

215

---

# Константин Плешаков

## ИМПЕРСКИЕ СНЫ

...И они наплывают клубами (Ватерлоо, Карфаген, Полтава), тягучими вязкими клубами, от которых нет спасения, как от безумия, — Карфаген, Ватерлоо, Полтава; клубами, выползшими из небытия или, может быть, из сокровенного бытия, что, в сущности, одно и то же, — Полтава, Карфаген, Ватерлоо. Они завиваются вокруг теоя (как два «о» в Ватерлоо, как змеи вокруг Лаокоона), они душат (как «фа» в Карфагене; в Карфосгене), они подковой охватывают пространство (как «пол» в «Полтаве»), а выход из подковы один — туда, куда хотят они. Сначала они — как космы умершей ведьмы; ну и что, думаешь ты, космы с того света, труп уже похоронен; но космы станвятся космосом, и ты уже живешь в нем, потому что если труп и похоронен, то осиновый кол не вбит и космы развиваются (развиваются) в галактики космоса, раскручиваются, выпрядают мир, который то ли есть, то ли нет; и ты их называешь, страшась сам себя, своего послушного безволия: сны.

Но вот они уже не идут клубами; они сгустились (Ватерлоо, Карфаген, Полтава), и в них уже сверкают молнии — блицкриг (первая молния голубая — «блиц», вторая — красная — «криг»), линия Маннергейма (вот именно что линия — ломаная, заикающаяся, с грохотом-горомом на конце — «ргеймм!»), брусиловский прорыв (прорыв — куда? туда, куда направляла подкова), Халкин-Гол (восточная молния, как змея, выпрыгнувшая из корзины факира). И все крутится, крутится, крутится, и ты не знаешь, на каком ты свете, в каком времени, и «ф» в «Афганистане» душит, как «фа» в «Карфагене». (Душить — душманы, духи, ведьмины косы, ведьмины когти.)

Война в Крыму, все в дыму. (Какая война? Бедный, бедный Крым...) И из дыма — смотрят, смотрят, смотрят страшные оловянные глаза одержимых генералов. Через леса, горы и реки (и ни одной нет на карте), проскакивая небывалые пространства, — к восточному океану, отхаркивающему лед, насылающему туманы, подобострастно лижущему зеленые восточные откосы Евразии; пройти весь континент и назвать — из другого мира, из-под абажура, среди шумного бала, случайно — «бухта Анна». Проползти сквозь пески и горькие, политые слезами всевидящего Аллаха степи к зеленоватым, словно нефритовым, минаретам, достичь фиолетовых среднеазиатских долин и стать там. Смести широкой славянской ладонью прибалтийскую чересполосицу, глотнуть холодного балтийского воздуха (который, отрезвив Скандинавию, думает, что получится и на русских; не получилось), отразиться в сером балтийском небе — сначала на коне, потом на мостике эскадренного броненосца, потом прыгучей танковой жабой. Заглянуть со смехом в округлые католические озера и загнать шляхту, как шляпку гвоздя, в сибирскую землю. Залить русский мундир Кавказом крови и ошибиться в слове: обманчиво покорное и отчетливое «кав» звякнет черкесской пулей — «каз». Но все равно повергнуть вершины, разровнять землю губерниями. И дальше, дальше, покуда держат ноги, покуда бьется сердце, покуда голова в дурмане. Расползтись по миру эскадрами, танковыми колоннами и — сердцем (главное — жадным сердцем) самодовольно обозреть африканскую даль как свое; внушить страх миллионам и приковать к себе глаза всего мира: вот шупленький норвежский офицер строчит что-то в блокнот, дует на пальцы — холодно, северная граница; вот людоед-диктатор шепчется с



брезгливым американским послом; вот скучный громадный пентагон Пентагона ощерился решетками — все на тебя. А потом ворваться в маленькую горную страну, кряжи которой веками видели в небе только звезды, и внезапно тыркнуть лицом в сухую пыль, умереть и остаться там — сродниться с чужой землей навеки.

Россия разжималась, как кулачок.

Невесть откуда, таинственным путем кулачок собрался, сжался в глубинных недрах (а что там, в недрах? какие соли его питали?); вырос, как горушка, в московских лесах, все больше показываясь из земли; вот уж и из-за елок видать; как кит, всплывал в лесах этих (а кит, как известно из Библии, животное не мирное). И вот появился — аккуратный, собранный бугорок, кулачок, сжимавший московские страсти, которыми предстояло удивить мир.

Старец Филофей в келье под елью с размазанными по стенам тенями бесов писал: два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать. Вот куда, в еловые сырые леса, через века, махнула тень крыльев римского орла (что-то шепнуло в космосе: «Карфаген, Ватерлоо, Полтава»); при жизни орел никогда не залетал сюда, а по смерти вот — угораздило, усмехался орел; мертвая, казалось бы, тень, но золотистые шарики, сгустки нестерпимого средиземноморского солнца, были при ней и воспламенили, а проще — подожгли сырые еловые ветви. (Сначала повалил густой дым — татар пугали, а потом — полыхнуло.) По совести, что без этих орлиных теней предстояло Руси, ее бедным, медово-сотовым, подберезово-подосиновым, спрятанным от мира и людей землям, с ее непроторенными лесами, в которых и от сердца к сердцу не докричишься, в которых не то что прекрасных римских дорог и акведуков искать — не доищешься, а и тропинок-то больше волчьих, чем человеческих? Безмолвие оставалось; падение снега, сбитого крылом птицы; волчья охота; и пчелы сгущают воск, который, действительно, продавать можно; вечное небытие Евразии, историческая немота, бессилие, расслабленность; так, вечные леса к востоку от Европы, в которых завязают вечные татары. Но вот что-то зашевелилось — пронесли тени римских орлов, на время выпущенные Абсолютом из Айда, пронесли, огнекрылые, и подожгли сырые еловые ветви. Дым пошел к небу. «Варвары», — пожимала плечиком деbeatая Европа, а чумазый кулачок уже сжимался, рос под землею, как клубень; уже и поляки его видели и звали русских воевать Крым.

А потом земля сотряслась и юношеский кулачок России, который оказался уже рукою (дланью?) Петра, вознесся в небо. И изумленная Европа (и Азия), ничего еще не ведая, но уже, уже... «Отсель грозить мы будем шведу...» Кулачок — кулак — кулачище в обшлагах преображенного мундира.

Но нет, это персонификация кулачка, имеющая с Россией столь же мало общего, что и все мы, — с нею, с Россией, которая медленно вихрится вокруг нас, загибая космы (опять, опять ведьмины косы!), клубясь в неопределенном пространстве, которое не замкнуть никакими границами и никакими трактатами.

Россия сама разжималась, как кулачок, Россия сама, независимо от нас, поднималась из-под земли, потому что не мы ведем ее куда-то, а она нас тащит, и это иллюзия, будто мы — мы, разумные и наделенные свободной волей, — ведем Россию, наивно полагая, что она дана нам во владение и управление.

Страны — как океаны («а океан — Россия»), а мы — как планктон; вот мелькнула акула — Петр или Сталин, вон, вон еще один поплыл медузой с отметиной на лбу, вон седой ерш ошетинился; мы — планктон, мы дрейфуем по водам, а у океана своя судьба, и нас он не спросит.

Или — не так. С начала. Россия, конечно, не океан. Россия — лес. Лес без конца и без краю (странно: если нет конца, то, может быть, есть край? То есть — имеется физический конец, а метафизического края и нету?), и мы — мурашки, жучки, личинки на просеке и не на просеке, а лес волнуется себе, шумит, выгорает и растет заново, несется куда-то вместе с Землею, шагает в другие части света, имея свою судьбу (и в этом наше, русских, единственное — лесное — отличие от Украины, потому что Украина — это степь и садовки, и другого отличия между нами быть не может). Мы — темный лес, островки которого есть и в Европе (и Цезарь губил там свои легионы) и который иставляет только на изломе восточноазиатских степей. Возможно, нам и не хотелось бы знать, что Россия — лес; нам хотелось бы видеть ее океаном (и Петр так видел и, выкручивая руки, к океанам тянул, заставляя флот строить, а флот-то ведь из другого мира; и Сталин, и последующие годы). В самом деле, и нам хотелось бы: океан — хорошо — привольное гуляние волн, единая стихия, в которой все перемешано и прямо по воде стелется ветер свободы. А мы — лес, в котором каждая елка себе на уме, и ветер свободы если и гуляет, то только — по вершинкам, по вершинкам. . . И сыплет на нас шишки свободы, которые пребольно стучат нас по загривку. Мы — жучки, мы подтачиваем этот лес, мы хотим большей свободы для себя, и мы выедаем в лесу проплешины; вот и физический лес остался только на Севере да на Востоке; но в смысле метафизическом, единственно истинном: Россия — лес — при нас, после и до.

Итак, Россия разжималась, как кулачок. От Москвы — до самых до окраин. Никто не знал, какова у России окажется пясть: большой палец, мизинец и прочее. Мизинчик дотянулся до южных границ Каспия, большой — до Карпат, а средний — до Тихого океана, чужого России; наше счастье, что пришли на голое место.

Никто не ждал такого для России и от России. Видели — кулачок в диких просторах, неведомо чье захолустье, ни одна другая нация не была заброшена так — ни в Европе, ни в Азии.

Мы опоздали к началу географии (вообще — опоздали?), а то вместе с Европой и Азией была бы и такая часть света — Россия.

А что в этом такого?

Какая-то Антарктида, в которой всего-то — два смерзшихся сапога и большой палец левой ноги в глыбе льда, отражающиеся в глазах вечно изумленных пингвинов, — часть света. Россия — нет? Да — мокреть, да — глушь, да — верхушки елок, уходящие в небо, — наш горизонт. Пусть такая часть света, но все же — часть света.

И эта часть света разжималась, как кулачок. Покрыв ничейные пространства и чужой раздрай, прикрыв безымянным Среднюю Азию и черт его знает каким — Лифляндию и Эстляндию, разжалась, растопырилась, обозначив свои границы черной каемкой подногтя, разжалась, пролежала так некоторое время — и сжалась снова. Гангрена кулачка. Хирургия. Забинтованная Россия.

Сны.

Сон золото-елочный. Старец Филофей Елизарова монастыря. Сидит в келье и пишет служебные записки царям. Ткет русскую метафизику. Третий Рим. Елка скребется в окошко (слюдяное?) кельи. Братья советуют экономить на свечах. Иронизируют: наш-то все пишет. Филофей спешит. Рассветает. Елки отливают золотом. Но это не его золото. Слишком утреннее. Его — в темени, когда ничего не видно и когда чудный мерцающий свет, оставшийся невостребованным по смерти Константинополя, истлевает в ночи. Золотое свечение над могилой Рима (имперская святость). . . Отблеск римских орлов и золотых нитей на одеждах базилиевса. Мистическая тень креста Св. Софии (как гигант-

ской елки), которую мы так и не сможем отобрать у турок даже при лукавом усаче-дровосеке (тоже жучке, но побольше).

Кто знает, какие видения посещают Филофея, отчего он возводит свою политологию? Отчего он хочет вырваться из русского леса и строит проекцию на него первого и второго Рима? Рим — не больше и не меньше. На меньшее Филофей не согласен (а мы?), а большего он просто не знает. Но ведь Рим-то — блудница. Римские солдаты распяли Христа. В монастырской келье — любить Рим? Филофей спорит с Новым Заветом. (И мы вечно, вечно будем спорить, кладя на себя крестное знамение.) Рим — его мистика и его Бог. Голгофа, последний взгляд Христа (куда: в чернеющие понимающие небеса или на полупонимающие засохшие голубые цветки, отражение неба в той мере, в какой его способна понять земная тварь?) — все это не трогает монаха. Он одержим; кто его держит? Вот Кто-то стоит за окном кельи и устало смотрит на Филофея. Он зовет его: «Филофей, Филофей!» Филофей не слышит, и Кто-то в отчаянии думает, что даже с жестокосердным Савлом было легче; Савл был человек океана, Филофей — человек леса. Но Кто-то все же шепчет: «Одумайся, что ты такое говоришь — Рим!» Но Филофей — и в этом парадокс — устал от леса, он хочет стать человеком океана. Он хочет привольности полета римских орлов, он взывает к ним, потому что хочет привольности вообще. Не задумываясь, он отрекается от Христа. И Кто-то отходит от окна его кельи и исчезает в чаще — говорить с другими. А мы — мы получаем Третий Рим. Монах Филофей зачинает нас от Рима. И в нас начинает играть римская кровь. На пять веков. Кулачок начинает разжиматься. Покуда, как прикоснувшись к огню, не сожмется лихорадочно вновь, оставив свой отпечаток — русских — по всем сторонам света.

Сон свинцово-шпилевый. В нем: Третий Рим — химера, золотые блестящие Византии, как соскобленная чешуя язя, быстро умирающая в русском лесу. Сон: Россия — Европа. Но если сон о Третьем Риме — кровавый, но при этом сказочный, легкий, красивый, ускользающий, миражный, когда человек просыпается и хочет записать сон, но не помнит его точно, то сон о Европе — тяжелый, навязчивый, как мания, инструкция для уязвленной души, сон, который понимается буквально. Сон тащит Россию в болота Севера, которым бы и лежать так вечно, а Неве — длить свои воды сквозь века на радость окуню и судаку. Но из воды уже поднимаются отражения. Сначала они — рябь на воде, потревоженные мысли, воспаленное мышление, точнее, не воспаленное, а — холодно-маниакальное. Но вот отражения уже перенесутся в пейзаж, они уже часть реальности. Колот балтийское небо шпиль, пропиливаются сквозь него прекрасные улицы. Мы (как нам кажется) отворачиваемся от леса, мы стряхиваем его хвою с наших одежд. Мы не Третий Рим, не проекция, не метафизическое воспроизведение его, мы — часть чего-то, нам до тех пор чуждого. Мы — женщина, которая хочет стать мужчиной. Россия-он. И вот этот Россия-он построен, и мы напрасно тащим в него (мы все-таки по-прежнему муравьи) наш женственный малахит (камень нашего леса, нашего цвета, нашей души), Россия-он демонстрирует окружающим свое искусственное мужское начало, и мы отныне навеки бисексуалы.

... И все-таки есть что-то в венском кудеснике, и нам бы лежать на его кушетке, но уже начинается первая мировая, и Россия-он тащит нас в нее, тычется искусственным естеством в колючую проволоку, приминает нас, и мы бессильны, бессильны, бессильны, несмотря на мужское окончание...

Сон круглый. Приснилось: Россия — шар. Венский кудесник усмотрел бы здесь ущербность и мужского (понятно что), и женского начала (невыношенный нами плод, наш с вами ребенок, принесенный в жертву имперским сном). Итак, снится: Россия — шар. Шар елико

возможно большой. Планетарный. Подвешенный в космосе для нас — как елочная игрушка (с елочки Дьявола; мы уже видели ее тень у кельи Филофея, из нее уже росли наши балтийские шпили, а вот теперь — неимоверно увеличилась, украсилась и предлагает нам — шар; мы согласны). Мы не мечтали об этом раньше (шар нам не снился, потому что елочке Дьявола предстояло вырасти на мировом холодке и сырости, которые только увеличивались со временем). И вот теперь. . .

Не оставить ни леса, ни океана на свете, а только Россию-шар, поглотить земной шар, не объять его, а проглотить, как Крон проглотил Посейдона, и стать больше, чем Посейдон. И нам кажется, что получится, и мы — в коричневых чавкающих болотах Африки, мы — в летаргическом Китае, мы — во французских бистро; мы думаем о том, как наши губы сомкнутся вокруг Антарктиды и мы проглотим Посейдона, издав победное мычание (как иначе может выражать свое ликование шар?). Третий Рим — да это просто келья под елью по сравнению с нашим теперешним замыслом, никакому Риму и не снилось такое. Европа — что Европа, мы не часть Европы, мы несравненно больше Европы, она уместится у нас за одной щеткой. И вот ползут по морю-океану корабли к Кубе, откуда нам приветно машет бородой Фидель Кастро. Вот мы пробуем зубами Африку — ничего, вкус незнакомый, но, кажется, проглотить можно. Вот мы выпустили из зубов Китай — вкус неожиданно оказался горьким, но ничего, ничего. . . Вот пугают океаны толстолобики наших субмарин, в которых бьются противоестественные атомные сердца (угрожающие полушария их лбов, и оба полушария — мертвые). И другие толстолобики в наших ракетных шахтах; не исключено, что тень Филофея бродит по окрестным лесам, плачет и создает мелкие электронные помехи; может быть, даже Филофей раскаялся, закоренелый отступник, третьеримский Иуда; может, он не отходит от бетонированного люка и клянется, что, по крайней мере, одного толстолобика собьет с курса; не это главное, хотя и показательно; главное, что мы не раскаялись. Мы — везде. Такого не бывало раньше. Мы — шар.

Но наши губы так и не сжимаются вокруг Антарктиды. Выясняется, что мы — не Крон. Или то, что мы готовы поглотить, — не Посейдон. А того вернее, что выясняется нечто совсем другое, чему и слов-то нет в человеческом языке; можно сказать, что мы подошли к какому-то естественному пределу; наше лесное естество не выдерживает больше снов. Оно бунтует, оно кричит, чтобы мы проснулись. Но мы не пробуждаемся. Мы просто соскальзываем с шара. Мы летим в пустоту. Но мы еще не понимаем этого, мы искрами сыплемся в небо, окружая шар нашими глазами и ушами, мы посылаем имперские штандарты на Луну — а любой кудесник сказал бы нам, что шутить с Луной — опасное дело: Луна не просто мистична, она — колдовское светило, и тыкать в нее штандартами мягкой посадки — все равно что щипать ведьму (чьи косы — снова косы — нас так прочно обвили).

Итак, мы летим в пустоту. Мы соскальзываем с шара. Нам что-то снилось, и мы жили по снам. Наши сны оборачиваются против нас. Такое случается. Снам надо верить в самом крайнем случае. Первые два сна если и подвели нас, то не столкнули в пустоту. Теперь мы пропали.

Но мы не просыпаемся. Сны преследуют нас. Наш лес живет во сне. Сны не отпускают. Они как туман, вечно висящий над нашей равниной, и никого не уберечь от них. Мы — спящие.

Ведьмины косы обвиваются вокруг нас, и мы тщетно пытаемся убежать от них на вольные просторы, размотать косы, разорвать ту пелену, которая окутывает нас и соткана из ведьминых волос. Этого не получается. Может быть, мы вечно будем бродить в дурмане, мы —

не Европа и не Азия, мы — Россия, мы — заколдованные. Океаны заколдованными не бывают; колдовство не идет в них дальше проклятых ям (Бермудский треугольник?). Заколдованным бывает лес.

Кулачок судорожно повис в воздухе; разожмется ли снова — Бог весть. А пока в тени его пальцев — кровавые всполохи, и никого нет с нами, никто не понимает нас, никто не хочет нас слушать и никто не хочет даже смотреть на наши кровоизлияния (как словоизлияния). Нам не верили раньше и не верят теперь. У нас нет друзей. Мы не знаем, кто будет нашими врагами.

Кто знает — кулачок может и погрузиться медленно, подрагивая в агонии, в болотистую московскую землю, шевельнуться на прощание и исчезнуть.

Россия закрывается, как кулачок.

Хотим ли мы этого?

Мы не знаем сами.

Мы — в чешуе Византии (как руки, чистившие диковинную рыбу), мы — пораненные европейскими шпильями (как запустившие руки в океан и уколотившиеся о плавники океанических рыб), мы — обмазавшие земной шар слизью и кровью (потроша не только других, но — хотя это и слабое утешение и оправдание — и себя).

Мы — лес. Мы — его немота. Мы — внимающие вольному ветру по верхушкам елок, до которых нам никогда не дотянуться. Мы, мы, мы. Мы, подбирающие проклятия для своей судьбы, но не находящие их, потому что наша судьба — лес, а мы хотели бы океана. Немотствующие, кошунствующие, бессильные, путешествующие по душе своей больше, чем по стране нашей, не знающие, где кончается страна и начинается душа, где сияющая воля Абсолюта и где наши мерзостные следы, где смерть и где жизнь, где сон и где явь, где альфа и где омега, ждущие Апокалипсиса и живущие им и в нем, — мы жаждем пробуждения и не ведаем того, что если мы проснемся, то мы кончимся, как сон, что мы и можем жить только во сне.

Просыпаться — нет. Если лес освободится от сновидений, он высохнет, поляжет, как Пересвет и Ослябя, придет нечто ровное, прищурившееся, как степное солнце, ревностно-жалящее, ревностно-испепеляющее, непоправимо чужое. Когда Абсолют захочет — он нас разбудит.

Пусть спит лес. Пусть спит.



---

---

Лидия Григорьева

## ПЕЙЗАЖ ПЕРЕД БИТВОЙ

\* \* \*

И раскрутилась жесткая спираль  
ночного неба над земною твердью,  
и колдовская злая пастораль  
поляны лунной — отливала медью.

По небу прокатился громобой.  
Но кто-то чашу пригубил и выпил:  
звучали, как валторна и гобой,  
и стон блаженства, и стенанья выпл.

А ночь цвела. Стреляли вдалеке.  
Звук был подобен соловьиной трели.  
Настояны на лунном молоке,  
благоухали заросли и млели.

И не одну влюбленную чету  
переполняли жизненные соки.  
Столкнулись вертолеты на лету —  
и полыхнуло в зарослях осоки.

Нетопыри удили на уду.  
Влюбленных изнурила платофаза.  
И отразился в призрачном пруду  
расколотый хрусталь — хребет Кавказа.

И трели было слышно за версту,  
чащоба поглощала отголоски.  
Ползли по перебитому хребту  
награбленным груженные повозки.

Шел бой у приграничной полосы.  
Русалки грелись в приозерной тине.  
И беженцы бежали от грозы,  
как дети на классической картине.

Гул нарастал, как грозовой прибой.  
Там шла не градобойная ли бойня?  
Спроси: не отказался бы любой  
жить с миром и тесней, и полюбовней.

Но духовая громыхала медь.  
И верховые ветры свирепели.  
А третьи петухи не смели петь,  
чтоб не спугнуть пастушеской свирели.

Май 1991 г.



## БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Вот птица села на окно,  
ее глаза — двойное дно,  
избыток вымысла и смысла.  
Из недр каких извлечено  
благое тайное число?  
Для нас закрыты эти числа!

Неужто здесь — благая весть?  
Так близко не посмела б сесть  
в плену инстинкта или страха.  
И в этом тоже тайна есть.  
Лишь стоит слово произнести —  
исчезнет голубая птаха!

Как видно, дело в тишине,  
что залегла во глубине:  
в зеркальной чаше дна глазного.  
Одни мы были иль одне?  
Но прорастал уже во мне  
зачаток зрения двойного.

Сгущалась в воздухе гроза.  
Смотрели пристально глаза  
сферическим зеркальным взглядом.  
Уже сближались полюса.  
И все сужалась полоса  
меж раем видимым и — адом.

И, прогремев над головой,  
вал прокатился грозовой  
и, как пружину, сжал стальную  
стрелу дороги столбовой,  
весь мир — животный и живой —  
и всю природу остальную.

Меж нами не было стекла.  
Гроза бессильем истекла.  
И птица не сдержала вздоха.  
Я разумела как могла:  
мне тайна явлена была  
и указуема дорога.

Хоть было времени в обрез,  
мир распрямился и воскрес  
и свет разлился без предела.  
И тишина, как хвойный лес,  
до самых выросла небес.  
И птица райская — запела!

*Май 1991 г.*

---

---

Виктор Соснора

ИСТОРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД ПУГАЧЕВА

**Свидетели и очевидцы:**

1. Казанский губернатор генерал-аншеф фон Брандт:  
«Ростом двух аршин, четырех с половиной вершков, от роду не более сорока лет, с приметам: волосы на голове темно-русые, усы и борода черные с сединой, от золотухи на левом виске шрам».
2. Неизвестная казачка, «Русский архив», 1902 г., т. II, с. 658:  
«Как теперь на него гляжу: мужик был плотный, здоровенный, плечистый, борода русая, окладистая, ростом не больно высок и не мал».
3. А. Т. Болотов, мемуарист, свидетель казни Пугачева:  
«... бородка небольшая, волосы всклокочены, и весь вид ничего не значащий».
4. Верхоланцев, полковник Пугачева:  
«... был среднего роста, корпусной, в плечах широк, смугловат, борода окладистая, глаза черные, большие».
5. Есаул Мелехов и хорунжий Малахов, пленники Пугачева:  
«Глаза серые с желтизной. Лицом смугло-красный, рябой. Борода небольшая и неширокая. Нос небольшой, посредине маленький бугорочек, а конец его кверху загнут остро».
6. И. И. Дмитриев, поэт, свидетель казни:  
«... роста среднего, лицом бледен, нос имел кругловатый. Я не заметил в лице его ничего свирепого, глаза его сверкали».
7. Пушкин в «Капитанской дочке»:  
«... живые большие глаза его так и бегали. Лицо его имело выражение приятное, но плутовское».
8. Примечания к летописи Рычкова:  
«... роста небольшого, весьма скор на поворотах».
9. Пушкин в «Истории Пугачевского бунта»:  
«... роста среднего, смугл, худощав, борода черная, небольшая, клином».
10. Первая жена Пугачева, Софья:  
«На лице желтые конопатины, волосы темно-русые».
11. Из первого дела Пугачева:  
«... ноздри рваные».
12. Из последнего дела Пугачева:  
«... ноздри нормальные».
13. Пугачев на допросе в 1774 году:  
«... мне тридцать два года».
14. Пугачев на допросе в 1772 году:  
«... мне — сорок лет».

**Современные портреты:**

15. «Подлинное изображение бунтовщика и обманщика Емельки Пугачева». Канонический портрет неизвестного автора с комментариями на немецком языке.

Портрет поясной, фас. Превосходно выписаны складки тулупа. Слева, как декорация, висит цепь, к которой прикован Пугачев. Лицо каменное, скорбное, лицо — сплошные желваки; усы и бородка подстрижены в парикмахерской, как у иноков на византийских иконах.

Брови очень высоко подняты, над бровями, также иконописные, морщины.

Это ретушь, стилизация.

Общее впечатление: азиатский пророк без возраста.

16. «Пугачев» — с гравюры, изданной за границей.

Профиль. Лицо тщательно выбрито, белое, молочное лицо, ни бороды, ни усов. На правой щеке бородавка. Щеки толстые, на щеках румянец. В треуголке, надвинутой на нос. Нос вздернутый, как у клоуна. Льянные волосы завиты, и сзади косица. Глазки маленькие. Нос как наклеенный. Приблизительный возраст — 20 лет.

Общее впечатление: немецкий жонглер, который вот-вот начнет вертеть бессмысленной головой так, что в воздухе перед зрителями замелькает его накрашенный красный нос.

17. «Емеля Пугачев», Гиллерс.

Пугачев в клетке. Во весь рост. В шубе. Стоит в клетке на одном колене. Одна рука — на колене, другой дружелюбно приветствует палача. Руки соединены цепочкой. На запястьях браслеты с гравированным узором. Лицо круглое, мясистое, пятидесятилетнее, нос большой и сплюснутый, огромные лошадиные ноздри, тяжелые татарские веки и узенькие, заячьих глазки. Борода и усы — красные. Кисти рук, запястья — как у девушки, пальчики холеные, на ногтях маникюр.

Общее впечатление: пьяный татарский хан, попавший в клетку по собственному желанию.

18. Гравюра К. Ф. Летелье с рисунка Ж. К. Майи.

Пугачев в профиль. Стремительное, одухотворенное лицо. Изящный длинный библейский нос и большие библейские очи, голубые. Светлая, вьющаяся борода. Светлые, нежные волосы.

Общее впечатление: мыслитель, изнеженный скорбями герцог семидесяти лет.

**Суммируем. Составим описание внешности Пугачева на основании свидетельских показаний и живописных изображений современников вождя.**

Возраст — сорок лет, тридцать два, двадцать, пятьдесят, семьдесят; рост — двух аршин, четырех с половиной вершков, не больно высок и не мал, роста небольшого, роста среднего, здоровенный, весь вид ничего не значащий; лицо — каменное, сплошные желваки, лицом смугло-красный, рябой, лицо молочное, белое, ни одного шрама, на лице желтые конопатины, на левом виске шрам, лицом бледен, одухотворенное лицо, лицо мясистое, татарское, на щеках румянец; борода — русая, темно-русовая, окладистая, небольшая, клином, борода и усы красные, совсем без бороды и без усов; волосы — темно-русые, подстриженные в казацкий кружок, черные с сединой, запущенные, светлые, аристократические волосы и льянные с косицей; глаза — большие, маленькие, огромные, крошечные, черные, серые с желтизной, голубые; ноздри — рваные и не рваные; нос — небольшой, большой и сплюснутый, длинный, конец его остро загнут кверху, нос кругловатый.

## ИСТРЕБИТЕЛЬ ПУГАЧЕВА

Дата рождения Пугачева до сих пор — предположительна.

Место рождения до сих пор — приблизительно.

Пугачев был казнен в Москве в 1775 году. Нигде не похоронен.

Капитан гвардии Николай Захарович Повало-Швыйковский родился 31 октября 1722 года в селе Мореве Духовщинского уезда Смоленской губернии.

Капитан гвардии Николай Захарович Повало-Швуйковский «принимал самое деятельное участие в поимке Пугачева».

Полковник Михельсон отправил Повало-Швуйковского в опасную командировку — в армию Пугачева. Цель командировки — «разведка позиций и приискание метода захвата Пугачева врасплох». Капитан замаскировался: он снял свой медный гвардейский мундир и переделался в платье конюха.

Но капитан привык иметь собственных конюхов. Поэтому, общаясь с восставшей нищетой, он всем своим поведением показывал — никакой он не конюх, а настоящий капитан. Его, естественно, заподозрили. Ему, естественно, пообещали виселицу.

Ему посчастливилось. Вожди восстания в тот достопамятный вечер пили и веселились. «Пей и ты, — сказал лжеконюху Пугачев, — все равно завтра будешь висеть на виселице, милый мой «висельчак».

Но Повало-Швуйковский не пил. Он повеселился с мятежниками и убежал.

Была погоня, и его догнали. Ничего не оставалось делать: капитан бросился в ближайшее большое озеро. Трое суток он сидел в озере и тяжело дышал через камышинку. В него стреляли — из ружей, из луков и из пистолетов. В него бросали камни. Но капитан прекрасно нырял и появлялся то у одного, то у другого берега — так он хитрил, дезориентируя преследователей. Преследователи развлекались: они ловили его сетью, как самую обыкновенную рыбу. Это было интересно и смешно. Его ловили, но не поймали.

Трое суток пугачевцы ловили Повало-Швуйковского, но жалели его.

Трое суток время от времени они подкармливали диверсанта-неудачника — подбрасывали ему в водоем кто хлебный мякиш, кто лепешку, а кто и куриную косточку. Он ловил пищу, ел ее и опять маневрировал — нырял.

Итак, его ловили, но не поймали и ускакали, а он убежал.

Указом Сената от 28 января 1775 года за свои заслуги на поприще борьбы с крестьянским восстанием капитан гвардии Повало-Швуйковский Николай Захарович получил имение в Невельском уезде Витебской губернии: 7000 десятин земли и 450 душ крестьян. Также ему был присвоен чин секунд-майора. Также он получил от государыни императрицы Екатерины Второй — пять золотых «на орехи».

Все это он получил, но после вышеописанного купанья заболел и ушел в отставку.

В отставке он присвоил сам себе титул «ИСТРЕБИТЕЛЬ ПУГАЧЕВА» и ходил в зеленом екатерининском мундире с разрезом на груди. Так и ходил в этом мундире, так и не снимал его до самой смерти, в мундире же — был и похоронен.

Когда он умер, «многочисленная его вотчина с поразительным единодушием и воодушевлением, все до последнего человека, собрались для похорон любимого своего владельца и буквально на головах несли три версты гроб», — сообщает внук «ИСТРЕБИТЕЛЯ ПУГАЧЕВА» П. Т. Повало-Швуйковский.

Секунд-майор в отставке Николай Захарович Повало-Швуйковский умер 31 октября 1842 года в селе Ратчине, а 7 ноября того же года похоронен там же в фамильном склепе.

Ему было 120 лет.

## КРУГЛЫЕ ШЛЯПЫ

Император Павел поздно получил престол. Ему было сорок лет. Павел сорок лет бездействовал и теперь с неукротимой энергией стал действовать.

Почти за пять лет он ухитрился преобразовать всю необъятную и необъяснимую Российскую империю. Флот, сельское хозяйство, административные учреждения, казармы, театр, фабрики, архитектура, медицина, библиотеки, тюрьмы, танцы — все стало так, как хотел того император.

Павла мучили сомнения и страхи.

Он предчувствовал, что все реформы окажутся несостоятельными, если «мы не сумеем перевоспитать поколения». Всем своим существом Павел понимал, что для перевоспитания необходимо ввести всеобщую форму одежды — в первую очередь. Все остальные вопросы нравственности и общественной морали образуются сами собой — в таком случае.

Павел был коронован 6 апреля 1797 года.

Но еще 13 января 1797 года Его Императорское Величество «соизволил высочайше указать председателю губернского правления С.-Петербурга генерал-аншефу Архарову, что по столице С.-Петербурга до сих пор отдельные личности ходят в круглых шляпах».

И 13 января 1797 года был опубликован повсюду расклеен указ следующего содержания: предписывается, не медля ни минуты, объявить в городе всем наистрожайше, чтобы, кроме треугольных шляп, никто никаких других не носил. Кто нарушит — того в полицию.

Прошло полгода. С.-Петербургский военный губернатор граф Буксгевден миролюбиво напомнил гражданам «о ношении круглых шляп». Этот указ датировался 9 августа 1797 года «в подтверждение предписания от 13 января текущего года».

Полиция конфисковывала круглые шляпы. Шляпы увозили в фанерных фургонах за город и сжигали в совершенно секретной местности. Круглые шляпы пропали.

Прошло еще полгода.

Все прекрасно носили треугольные шляпы. Если посмотреть с третьего этажа дворца — редкостное по красоте зрелище, процессия треуголок. Но если войти на Невскую перспективу и встретиться лицом к лицу . . .

И вот 20 и 21 января 1798 года один за другим появляются два указа.

Пункты.

1. Воспрещается ношение фраков, а допускается иметь немецкое платье, но с одинаковым стоячим воротничком, шириной не больше, чем в три четверти вершка. Обшлага иметь такого же цвета, как и воротнички.

2. Воспрещается носить какие бы то ни было жилеты. Вместо них носить немецкие камзолы.

3. Не носить башмаки с лентами, а носить с пряжками.

4. Не обертывать шею безмерно платками, галстуками или косынками, а повязывать шеи попрличней, «без излишней толстоты».

Резюме.

Домоуправителям, приказчикам и хозяевам заведений строжайше наблюдать за исполнением «ношения формы одежды» и сообщать в полицию о нарушениях. «С нарушителями будет поступлено по всей строгости законов».

Частным приставам в лабазах, табачных, конфетных и милютинских лавках, в парикмахерских и курятном ряду — следить: если кто торгует фраками, жилетами, короткими шнурками, башмаками с лен-

тами — чтобы они прекратили сейчас же торговлю. «Под опасением жесточайшего наказания».

Все стали носить то, что положено. Только в домашней тишине перешептывалась новорожденная поговорка: «Под стоячий воротничок слеза не потечет».

И все-таки нашлись хитрецы-смельчаки. Эти не то чтобы нарушали реформы, но действовали, так сказать, «на грани закона».

Фронтеры и франты, они нацепили на шляпы какие-то возмутительные бантики и значки, самой солнечной и лунной раскраски. У них появилась гнусная страсть хоть чем-то отличаться от окружающего их перевоспитания.

Павел поступил просто.

4 апреля 1798 года Павел приказал оповестить жителей и взять с каждого подписку: чтобы ни при каких обстоятельствах никто не посмел носить на шляпах перья, банты и плюмажи; никто — никакого цвета. Все подписки представить в полицию.

Ни для кого теперь не было секретом, что означало нарушение подписки: Шлиссельбургские казематы.

Как мы видим, борьба за правильную форму одежды в Российской империи приобрела все более острый и опасный характер. Никому не улыбалось участвовать в этой славной баталии.

Четыре месяца было спокойно в стране. Царило перевоспитание. Как Павел хотел, так все и ходили.

Но произошло непоправимое. Разразилось чрезвычайное происшествие. Оно выходило за рамки всякого человеческого понимания: единственный из многомиллионного населения державы, городничий Пирх...

Этот указ написан уже не от имени императора, как предыдущие, а — самим императором, собственноручно.

«Именной указ, данный 28 июля 1798 года генерал-прокурору князю Куракину:

Господин действительный тайный советник и генерал-прокурор князь Куракин.

Из доклада, поднесенного нам по делу полковника Жукова, усмотрели мы развратные поступки городничего Пирха.

Забыв все обязанности службы, пренебрегая нововведениями нашими, он... — ходил в круглой шапке и во фраке.

Сею неблагопристойною одеждою ясно изображал он развратное свое поведение.

Выкинув из службы он того городничего Пирха, велели мы ему на коленях просить прощенья у полковника Жукова.

Сие наше поведение вы имеете сделать гласным со всеми обстоятельствами развратности городничего Пирха, дабы и все прочие такого буйства, наглости и пренебрежения должности своей позволять себе не дерзали.

Павел».

Правительствующий Сенат приказал:

«О сем высочайшем повелении Его Императорского Величества издать **специальные печатные указы** и разослать всем губернским правлениям и прочим присутственным местам. Оповестить немедленно Синод и департаменты Московского Сената».



## ГОРЕЛКИ

*На поприще сей жизни склизком  
Все люди бегатели суть.  
В теченье дальнем или близком  
Они к мечте своей бегут.*

*И сильный тамо упадет,  
Свой кончить бег где не желал.  
Лежит, но спорника, мечтает,  
Коль не споткнулся бы, — догнал.  
Г. Р. Державин «Горелки»*

В 1793 году Г. Р. Державин был статс-секретарем императрицы Екатерины II. Державин любил служить и мечтал стать министром.

Царское Село.

Сад.

Фонтаны.

Каменные фавны.

Июль. Державин вышел в сад. Императрица прогуливалась. Блестела ее малиновая мантия. Блестело солнце и трава. Императрица играла с внуками: с великими князьями Александром и Константином. Екатерине было 64 года, Александру 16, Константину — 14. Подростки были в голубых мундирчиках с блестящими серебряными пуговицами. Болтались шпажки, внуки играли в «горелки» — бегали по саду.

Дети-то веселились, но Екатерина была невесела. Она присела (под дубом, попрохладнее) на бархатную персидскую табуретку. Императрица повесила седую голову (тяжелую и в бриллиантах), призадумалась и не веселилась. Она была больна. Она пригорюнилась. На глаза нависла полунакрашенная, полуседеая прядь волос.

Нужно было бы развеселить. Окружающие ее придворные делали сверхчеловеческие попытки развеселить Государыню. Они кривлялись и кувыркались, — чепуха, ее состояние оставалось по-прежнему меланхолическое.

Державина попросили, и он присоединился. Он стал играть с двумя великими князьями в «горелки» — бегать. И вот Александр и Константин, хохоча, побежали по лугу. Они бежали что есть духу, их голубые мундирчики совсем растворялись в голубом воздухе, мелькали только пуговицы на фалдах. Державин — за ними! Но на лугу попадались ямки, трава-то сухая, но скользкая, а Державин уже тяжел и стар.

Этот бешеный бег закончился плачевно.

Державин споткнулся, опрокинулся и упал у пруда, где плавали королевские карпы и видно было, как они тихонько плавают.

Державин писал о себе: «Он так сильно ударился о землю, что сделался бледен как мертвец. Он вывихнул в плече левую руку. Великие князья подбежали к нему и, подняв еле живого, отнесли в кабинет».

Державин писал дальше: «Сей столь непредвиденный неприятный случай был и политическим падением автора, ибо в сие время вошел было он в великую милость у императрицы, так что все знатнейшие люди стали ему завидовать. Но, в продолжение шести недель, на излечение его употребленных, когда не мог он выезжать ко двору, успели его остудить у императрицы так, что, появясь, почувствовал он ее равнодушие».

Гаврила Романович Державин родился в июле 1743 года.

Этот «случай» произошел в июле 1793 года.

Так великий поэт отпраздновал свое пятидесятилетие.

Державин достоверно описывает падение у пруда, но упрощает причины своего политического падения.

Потому что.

Через шесть недель, «на излечение его употребленных», Екатерина II поручила своему статс-секретарю дело Сутерлянда. Банкир Сутерлянд брал деньги из Государственного казначейства. Цель — пересылка денег в Англию. Во всех бухгалтериях было известно: Сутерлянд отправил в Англию 6.000.000 гульденов (2.000.000 рублей). Все шло хорошо.

До поры до времени. Английский министр финансов все-таки прислал письмо Екатерине, в котором сообщал: никаких денег Англия не получила, никаких. Екатерина потребовала: Сутерлянд, переведите министру государственные деньги. Сейчас же.

Но Сутерлянд — не мог. У него не осталось ни копейки. Он объявил себя банкротом.

Державин расследовал порученное ему дело и выяснил следующие любопытные подробности: «Все казенные деньги потрачены были заимобразно по распискам и без расписок самыми знатными, ближними, окружающими императрицу вельможами, как-то: князем Потемкиным Таврическим, князем Вяземским (генерал-прокурором Сената), графом Безбородко, вице-канцлером Остерманом и др. и др. Великий князь Павел Петрович (сын Екатерины и будущий император Российской империи) тоже брал в долг у Сутерлянда. Все брали и никто не возвращал».

Государыня велела поступить по закону.

Сутерлянд испугался суда. Он отравился.

Державин расследовал дело и выяснил, кто сколько брал у банкира.

«Державин входит, видит Государыню в чрезвычайном гневе, так что лицо пылает огнем, скулы трясутся. Завязанное в салфетке дело он внес в кабинет и положил перед ЕЯ лицом».

— Докладывай! Кто воры? — воскликнула императрица.

Державин начал с Павла. Екатерина ненавидела сына за то, что по правилам престолонаследия на престоле должен был быть он, а не — она. За это Екатерина и ненавидела сына.

Поэтому она не без удовольствия слушала о Павле, причмокивала даже. Она перебивала докладчика, восклицая:

— Мотает! Таскается! По бабам! Строит! Дворцы для кобыл! Бездельник!

Державин доложил о Павле.

— Не знаю, что с ним и делать... — хищно призадумалась Екатерина. И посмотрела на своего секретаря, ища сочувствия.

Державин промолчал. Потом опустил свое мясистое лицо, но поднял брови, нарисованные, как у клоуна, смешно сморщился и сказал:

— Князь Потемкин Таврический потратил больше.

— Ну уж и больше! — рассмеялась императрица неестественно.

— В двенадцать раз больше, — невозмутимо продолжал Державин. — Потемкин растратил 800.000 рублей — почти половину.

— Ты мне не тыкай! — вдруг взвилась Екатерина. — Потемкин многие надобности имел по службе и нередко издерживал свои собственные деньги. — Екатерина засуетилась, взяла почему-то с мраморного столика бронзовый канделябр с тремя свечами, опустилась опять на свой белый лондонский стул и, помахивая канделябром-трезубцем, как веером, сказала:

— Ах, пустяки! Беру его долги на свой счет.

(Потемкин еще был фаворитом).

В списке должников опять попался Павел.

— Вот видишь! — возмутилась Екатерина и направила трезубец на секретаря. Теперь она сидела на стуле, как Посейдон, с трезубцем.

Она продолжала:

— Сей тип все тратит и тратит, не так ли? Это из-за него Сутерлянд отравился, а какой был банкир!

Державин, не поморщившись, сказал холодно. Сказал ледяным голосом:

— Зубов потратил больше.

Екатерина окаменела. Зубов стал одним из любимейших фаворитов.

— Зубов потратил в четыре раза больше, — сказал Державин, не отворачиваясь.

Тогда императрица выпустила трезубец, опустила трясущуюся руку и позвонила в колокольчик. Вошел камергер.

Старое, фарфоровое лицо Государыни налилось кровью. Она молчала и тяжело дышала. Екатерина сказала камергеру (гренадер в красной куртке со шнуровкой). Она сказала:

— Присаживайся, дружок! Посиди, пожалуйста, миленький, пока этот докладывает. Он меня чуть не избил! Он прибить меня хочет.

Державин писал:

«С сим словом она вспыхнула, покраснелась и закричала Державину:

— Пошел вон!»

Поэт пошел. «В крайнем смущенье».

Дело Сутерлянда само собой прекратилось.

На следующий день Державин был уволен от должности статс-секретаря и до самой смерти Екатерины оставался одним из обыкновенных сенаторов.

## ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ

Уже много писали о непопулярности Пушкина.

«Самая активная» непопулярность эта продолжалась пятьдесят лет: с 1837 по 1887 год.

Маститые и менее маститые критики пытались объяснить это явление в свою пользу: в оправдание своих теорий литературы — то есть в пользу пустословия.

Но, как писал сам Пушкин, критиков можно слушать, но им нельзя верить.

Причина непопулярности Пушкина единственная.

Она предельно проста.

Существовало так называемое «право литературной собственности» на произведения Пушкина.

Многие рукописи поэта (лучшие!) не были опубликованы при жизни по цензурным соображениям, рукописи были разбросаны по всей России, по всей Европе, подарены и передарены, затеряны и вновь найдены, а многие не найдены и до сих пор.

Многочисленные претенденты на «право литературной собственности» пытались издать рукописи: с одной стороны, чтобы Пушкина читали читатели, с другой стороны, чтобы приобрести капитал за не свои труды. Издателям было невыгодно: по истечении срока «права» издатель становился полновластным владельцем издания и получал все доходы — сам. Издатели — ждали.

Только и только потому за пятьдесят лет книги Пушкина стали библиографической редкостью и над полузабытым именем его могли безответственно и беспрепятственно издаваться посредственные мистики демократии и юмористы монархии.

29 января 1887 года истек срок «права».

Посмотрим, что получилось.

Составим небольшую табличку о количестве выпущенных в продажу разных сочинений Пушкина, пропуская все пятьдесят лет библиографической непопулярности поэта. Начнем с января 1887 года.

В январе было издано 19 наименований общим тиражом

					122.500	экз.
В феврале	»	»	27	»	»	168.600
В марте	»	»	25	»	»	225.000

В продолжение только одного 1887 года с января по декабрь было выпущено 163 разных сочинения Пушкина тиражом — 1.481.375 экземпляров!

Дальше.

В том же 1887 году вышли в свет книги Л. Толстого, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Крылова, Грибоедова, Григоровича и других известных и менее известных писателей.

Всего в 1887 году вышло в свет 782 наименования художественной литературы тиражом 3.242.615 экземпляров.

Получается, что произведения Пушкина составляли чуть ли не половину всего книжного рынка в России в 1887 году, в году истечения «прав литературной собственности» на его рукописи.

О Пушкине моментально появились исторические исследования, монографии и полемические статьи.

Через год о Пушкине появились воспоминания под названием «Семейная хроника». Автор — Павлищев, сын Ольги Сергеевны Пушкиной, племянник великого поэта. Потом появились воспоминания остальных родственников и знакомых, полуродственников и полужнакомых, литераторов и любовниц.

Пушкин стал популярен.

## СЫН И СМЕРТЬ

Подвиги Суворова общеизвестны.

Военный гений полководца общепризнан.

У Александра Васильевича Суворова был сын Аркадий Александрович Суворов.

1.

Александр Васильевич Суворов был записан мушкетером в лейб-гвардии Семеновский полк двенадцати лет. Пять лет мальчик самостоятельно изучал артиллерию и фортификацию — домашние занятия. Действительную службу Суворов начал в семнадцать лет. В двадцать четыре года он был произведен в поручики, в двадцать шесть лет стал капитаном, в двадцать восемь — подполковником, в тридцать два — полковником, в сорок — генералом.

2.

Аркадий Александрович Суворов стал генералом в девятнадцать лет.

В 1799 году Суворов-отец был назначен главнокомандующим русских и австрийских войск в Итальянском походе против французов. Он победил французских генералов при Лекко, Треццо, Вердеро. Император Павел торжествовал. Камер-юнкеру Суворову-сыну было тотчас же присвоено звание генерал-адъютанта, правительство Павла отправило сына к отцу, в Италию. Сын сопровождал отца до окончания Итальянского похода. Никаких сколько-нибудь заметных подвигов сын не совершил, иначе об этом написали бы мемуары и романы.

3.

Шла русско-турецкая война 1787—1791 годов.

Русско-австрийский отряд под предводительством Александра Васильевича Суворова разбил турецкую армию. Это было 11 сентября 1789 года в Молдавии. На реке Рымник. У Суворова было 25.000 солдат, у турок — 100.000. За победу на Рымнике Суворов был возведен в графское достоинство и получил титул Рымникский. Позднее он был возведен в князья и получил титул Итальянский.

4.

Князь Итальянский граф Аркадий Александрович Суворов-Рымникский в 1811 году был в Молдавской армии. 13 апреля он ехал в почтовой карете из Бухареста и подъехал к реке Рымник.

Вот выписка из протокола от 17 апреля 1811 года. Уведомление написал капитан города Рымника Парапаш Чауш. Текст:

«Сегодня с утра сильно прибывала вода в Рымнике, и я поставил сандула. Он должен был наблюдать, если кто прибудет, то дать знать, что вода большая; и пусть никто не входит в воду, чтобы не случилось какого несчастья. Случилось, что приехала одна маркитантская повозка, и как скоро вошла в воду повозка эта, тотчас вода унесла ее и опрокинула. Подъехала почтовая будка, увидели бывшие в будке, что претерпела повозка, и все-таки вошли в воду. Сандул истощно кричал: «Что вы делаете? Разве не видите, что претерпели маркитанты?» Кучера взмолились: «Что же нам, несчастным, делать, если нас бьют смертным боем?»

Суворов-сын сидел на козлах и плетью наотмашь били кучеров, чтобы вошли в воду. Вошли — опрокинулись — унесло быстринной. Сбежались молдаване. Кое-как добрались до будки. Кое-кого спасли. Где-то на перекате поймали его одного, с плащом на шее. Он опомнился, и его спросили, кто он. «Генерал-майор Удом». Удом в свою очередь спросил: «А где Суворов?»

Суворов утонул, он был пьян, и отыскивали его труп. Так и нашли его с плетью в руке, так и не выпускал плеть.

5.

Маркиз Генри Коста участвовал в Итальянской кампании. Он был при дворе сардинского короля Карла Эммануила IV и встречался с Александром Васильевичем Суворовым. Он так описывает полководца:

«Русский главнокомандующий немного выше среднего роста и ходит слегка наклонившись набок, как будто собирается танцевать. У него вздернутый нос с бородавкой на одной стороне, черные живые глаза, большой рот, огромные ноги и икры невероятной толщины. Он принимал мальтийских рыцарей. Рубашка его была грязная и измятая, а на голове сафьяновая каска с плюмажем из петушиных перьев. При въезде в Турин он сидел верхом на маленькой татарской лошадке, с плохой уздечкой и казацким седлом, которые стоили не дороже шести франков».

Генри Коста отмечает дисциплинированность и аскетизм главнокомандующего.

«Шевалье де Ревель, которого все считают умнейшим человеком, был в восторге от беседы с Суворовым и не мог прийти в себя от удивления, что татарин, при такой оригинальной и шутовской наружности, может иметь такие обширные и разносторонние сведения и так хорошо выражается на французском языке».

Суворов реорганизовал армию и писал уставы в стихах.

6.

Граф П. Х. Граббе воевал вместе с Аркадием Александровичем Суворовым в 1809 году. Суворов-сын был начальником дивизии в кор-

пусе русских войск, действовавших против Австрии в помощь Франции. Граббе так описывает Суворова-сына:

«Князь Суворов был высокого роста, белокурый, примечательной силы и один из прекраснейших мужчин своего времени. С приятнейшим голосом. Он ничему не учился и ничего не читал. Страсть к игре (карты) и охота занимали почти всю его жизнь и в конце расстроили его состояние. Авангард дивизии Суворова занял Краков. Иосиф Понятовский во главе польских войск тоже вошел в Краков. Суворов подружился с Понятовским. Началась бешеная игра, веселости, волокитства, дуэли. Я сказал, как невыгодно и даже вредно для нас в глазах поляков поведение наших генералов, дни и ночи проводящих в карточной игре, пирах и разгулье. Я взглянул на князя и заметил легкую краску на его прекрасном лице. На этом дело и закончилось».

19 апреля 1811 года главнокомандующий Молдавской армии Михаил Илларионович Кутузов послал из Бухареста повеление описать имущество утонувшего Суворова-сына. Была составлена «Опись, что осталось после покойного господина генерал-лейтенанта, кавалера князя А. А. Суворова из вещей и прочего». Чтобы перечислить «все вещи и прочее», нужно написать книгу.

Вот основное:

Ордена, ленты к орденам, кивера, шляпы, султаны, мундиры, эполеты, сюртуки, венгерки, шаровары, рейтузы, панталоны, жилеты, шапки, шкатулки со всякой всячиной, шпаги, сабли французские и турецкие, ножи, портупей, шпоры, пистолеты — арнаутские и венецианские, чубуки, кисеты, белье, серебро столовое, кухонная посуда, фарфор — и все это в несметном количестве. Лошади — верховые, разгонные, упряжные, брыки, упряжь с принадлежностью, верховые уборы. Нескольких книг, из них самые примечательные — «Илиада» Гомера и «Ученья и маневры конные».

К описи был приложен «именной список крепостным людям Суворова, находящимся в Яссах»: камердинер, 4 официанта, берейтор, кучер, «фалейтор», повар, кузнец, 4 охотника и какой-то Макар.

Кроме того: 21 борзая собака, 14 гончих собак.

Итак: грозный гардероб, 35 лошадей, 35 собак, 15 слуг.

Администратор Уваров писал поэту Жуковскому 5 мая 1811 года. Он очень любил предлагать поэтам тематику для произведений. Он писал:

«Разве смерть князя Суворова не действует вдохновенно над музой вашей? Вот прекрасный случай употребить в нашей поэзии несколько поэтических мыслей...»

Уваров, как и все современные ему администраторы, называл Суворова-сына «молодым героем».

Река Рымник.

**СУВОРОВ И СЛАВА.**

Сын и смерть.

... Прекрасный случай употребить в нашей поэзии несколько мыслей...

## ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ

Их было пятеро, братьев Бестужевых.

14 декабря 1825 года Петру Александровичу Бестужеву было 19 лет.

В 14 лет он закончил Морской кадетский корпус и стал мичманом в Балтийском флоте. Мичман Бестужев исполнял должность адъютанта при главном командире Кронштадтского порта, вице-адмирале Моллере».



Бестужев был скромен, застенчив, не увлекался ни адъютантством, ни девушками, ни шампанским, ни вистом. Он — читал: изучал историю и философию.

Бестужев ничего не знал о заговоре. Братья ему не сказали. Предусмотрительность: юноша — карьера.

Но он узнал сам и пришел на Сенатскую площадь. Не действовать, а присутствовать как брат, как член рода.

О том, что Бестужев не знал даже цели восстания, говорит такой эпизод. Декабрист Вильгельм Кюхельбекер прицелился из пистолета в великого князя Михаила Павловича, брата императора Николая, но Петр Бестужев молниеносным движением выбил пистолет у Кюхельбекера, члена Северного общества, в котором состояли все Бестужевы.

**Был суд.**

Братья раскаялись, и их сослали. Он не раскаялся, но и его сослали.

Его сослали на Кавказ в действующую армию. Он служил солдатом, участвовал в Турецкой и Персидской кампаниях, был в трех сражениях, был ранен в правую руку пулей навывлет.

Потом он получил отставку по болезни и был сослан в деревню Новолодожского уезда. Там жили его мать и сестры. Его боялись, он жил в семье под полицейским присмотром.

Мать и сестры ходили повсюду за ним, как на охоте, — след в след. Он не ссорился, только читал. Доносить, к сожалению родственников, было не о чем. Никакой предосудительной деятельностью в деревне этот декабрист не занимался.

И не только предосудительной — никакой. Он наотрез отказался заниматься какими бы то ни было хозяйственными проблемами. Это уже было слишком. Нахлебник — пользы от него семье ни малейшей. И притом — единственный законный наследник, потому что остальные братья — в Сибири.

И мать обратилась к правительству. Пространное письмо, мать сообщала обо всем. Что ее сын, Петр Александрович Бестужев, существо абсолютно отрешенное и не заинтересованное в дальнейшем прогрессивном развитии государства. С одной стороны. И с другой стороны: сын — слабоумен, потому что ничего на свете не делает, и не собирается жениться, и вот-вот (не исключено!) подаст иск на отнятие у семьи имения. Семья в таком случае обнищает. С другой еще стороны: если бы он читал днем, как все человечество, так нет же, он читает по ночам — и что? — философию, дребедень. Когда же весь Божий мир отдыхает и спит, он один в деревне не спит, а читает и таким образом еженощно сжигает дотла дефицитные свечи. А ведь свеча погорит, погорит, возьмет и упадет на бумаги, и произойдет неминуемый пожар. В таком случае и поместье, и сад, и конюшни, и домашнее имущество, и домашние животные, и слуги, и сестры — все сгорит. Всю семью уже много месяцев назад охватил ужас пожара. В заключение мать просит, ради спасения семьи и государства, поместить сына в больницу Всех Скорбящих. То есть в сумасшедший дом.

Правительство живо откликнулось на эту материнскую мольбу. С.-Петербургский гражданский губернатор потребовал освидетельствования Бестужева.

15 июля в С.-Петербургском физикате состоялось освидетельствование. На основании ст. 224 X т. Свода Законов был составлен протокол.

Физикат задавал Бестужеву вопросы, Бестужев отвечал.

Сначала были вопросы информационного свойства: кто вы? есть ли у вас родственники? где вы живете? где вы служили или служите? чем занимаетесь? где воспитывались? в каком полку вы служили и кто был полковым командиром?

Бестужев на все вопросы отвечал без запинки. Ни разу не перепутал ни одной даты, ни одной фамилии. На вопросы о взаимоотношениях с семьей он отвечал благородно и с достоинством, без жалоб.

Тогда стали задавать вопросы психологические.

Вот вопросы комиссии и ответы Бестужева, дословно выписанные из отношения С.-Петербургского физиката, полученного петербургским губернским правлением 22 июля 1840 года на № 1223.

— Вы не женаты и не влюблены?

— Не женат и не влюблен, потому что не нашел достойного предмета.

— Одобряете ли вы любовь?

— О, это благороднейшая страсть.

— Зачем вы приехали в Петербург?

— Чтобы лечиться. Мама сказала, что в полиции превосходные доктора.

— Не чувствуете ли вы тоски?

— Чувствую сердечные припадки, а прежде я не бывал болен. Все меня оставили.

— Почему вы так о себе думаете?

— Потому, что меня преследуют.

— Не можете ли вы показать тех лиц, которые вас преследуют?

— Они — повсюду, у них особенная физиономия.

— Где вы теперь находитесь?

— В губернском правлении.

— Зачем?

— Чтобы отвечать.

— Куда вы отсюда направитесь?

— Мне хотелось нанять квартиру.

— А если от правительства дадут вам помещение?

— Я очень благодарен и буду рад, лишь бы только устранены были те ужасные лица.

— Где вы желаете, чтобы вас поместили: в городе или вне оного?

— В городе безопаснее для общества.

— От кого?

— Лично от меня. Меня преследуют.

— Кто при вас теперь есть?

— Есть у меня люди, но мне все хуже и хуже, такое ощущение, как будто я в чужой стране, а люди меня оставили, уехали.

— Кто же вас преследует?

— Может быть, целый народ или поколение. Все требуют формы, как в лечении, так и в гражданской жизни.

Дальше в протоколе записано:

«Черты лица его и томный взгляд изображали задумчивость и мрачность души его. Он, не кланяясь, пристально смотрел на окружающих. Из наружного вида и вышеизложенных ответов отставного унтер-офицера из дворян Петра Бестужева присутствующие заметили, что он имеет помешательство в умственных способностях, а потому полагают поместить его в больницу Всех Скорбящих».

Достаточно веские доказательства сумасшествия. Особенно отличны два аргумента: задумчивость и то, что больной не кланяется.

3 августа 1840 года Бестужев был отправлен в сумасшедший дом.

22 августа контора больницы донесла губернатору, что «Петр Бестужев умер от **изнурительной лихорадки**».

Загадочное убийство.

# Юрий Кашкаров

## СЛОВЕСА ЦАРЕЙ И ДНЕЙ

### Повесть

#### *Personae dramatis*

- Князь Иван Андреевич Хворостинин, в иночестве Иоасаф, родился около 1588 г. Умер 28 февраля 1625 г. в Троице-Сергиевом монастыре. Один из первых русских поэтов. Автор повести о Смутном времени — «Словеса Дней и Царей и Святителей Московских, еже есть в России».
- Княгиня Гликерия Хворостинина, в инокинях Геласия, его мать. Погребена в Троице-Сергиевом монастыре 10 марта 1625 г.
- Княгиня Марья Хворостинина, урожд. княжна Голибесовская, его жена.
- Князь Иван Дмитриевич Хворостинин, его двоюродный брат, воевода в Астрахани. Убит в 1612 г. при осаде города шайками атамана Заруцкого.
- Царевич Дмитрий Иванович Угличский, сын царя Ивана IV Грозного, род. 19 октября 1583 г. Погиб в Угличе 15 мая 1591 г.
- Царь Димитрий Иванович Московский — Лжедмитрий I — Юрий, в иночестве Григорий Отрепьев-Нелидов, род. около 1581 г., царь с 10 июня 1605 г. Убит 17 мая 1606 г.
- Лжедмитрий II («Тушинский Вор»), убит кн. П. Урусовым 11 декабря 1610 г.
- Марина-Марианна Юрьевна Мнишек, жена Лжедмитрия I, а затем «Тушинского Вора». Задушена или утоплена в Коломне в 1614 г.
- Царица Анна Алексеевна Колтовская, в схимонахинях Дарья, 4-я жена царя Ивана IV Грозного, разведена около 1572 г. Умерла в Тихвине 5 апреля 1626/7 г.
- Царица Мария Федоровна Нагая, в иночестве Марфа, 7-я жена царя Ивана IV Грозного, мать царевича Димитрия. Умерла 20 июля 1612 г. в Кремле, в Вознесенском монастыре.
- Ее братья — Михаил Федорович (умер в 1612 г.), Григорий Федорович, Андрей Федорович Нагие.
- Борис Федорович Годунов, в схиме Боголеп, род. около 1550 г. Царь Московский с 21 февраля 1598 г. Умер 13 апреля 1605 г.
- Царица Марья Григорьевна Годунова, его жена, дочь Малюты Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского. Задушена 10 июня 1605 г.
- Царь Федор Борисович Годунов, его сын, род в 1589 г. Свержен и задушен 10 июня 1605 г.
- Царевна Ксения Борисовна Годунова, в инокинях Ольга, род. в 1581 г. Умерла в 1622 г. в суздальском Покровском монастыре.
- Царь Василий Иванович Шуйский, в схиме Варлаам, род. в 1553 г. Царь Московский с 19 мая 1606 г. Пострижен в монахи в июле 1610 г. Умер 12 сентября 1612 г. в польском плену.
- Княгиня Екатерина Григорьевна Шуйская, урожд. Скуратова-Бельская, жена кн. Димитрия Ивановича Шуйского, сестра царицы Марьи Годуновой.
- Царь Симеон Бекбулатович (Саин-Булат), крещеный касимовский

- царевич из рода Чингисидов, которого царь Иван Грозный сделал царем в Земщине в 1575 г.
- Густав, принц Шведский, сын короля Эрика XIV. Жених Ксении Годуновой. Умер в Кашине в 1609 г.
- Михаил Игнатьевич Татищев, окольныйчий. Убит толпой в Новгороде в 1609 г.
- Богдан Яковлевич Бельский, окольныйчий и боярин, любимец Ивана Грозного, Сброшен с раската в Казани в 1610 г.
- Михайло Салтыков, боярин в Тушинском лагере, затем один из членов Семибоярщины.
- Михаил Молчанов, московский дворянин, лицо историческое.
- Князь Василий Масальский, один из убийц Федора Годунова.
- Семен Пасынков, коломенский воевода.
- Фетка Муравьев, сын боярский.
- Фома Подщипаев, сын боярский.
- Старец Илларион Бровцын, лицо историческое.
- Юродивый старец Иринарх, преподобный, лицо историческое.
- Инок Александр, автор жития юродивого Иринарха.
- Старец Касьян Босой, лицо полуисторическое.
- Старец Фатей Обобуров, поваренный старец, лицо полуисторическое.
- Старец Феодорит Умнои, лицо вымышленное.
- Авраамий (в миру Аверкий) Палицын, род. в 1550 г. Келарь Троице-Сергиева монастыря. Умер в 1627 г. в ссылке в Соловецком монастыре. Автор воспоминаний о Смуте.
- Князь Семен Харя Иванович Шаховской, поэт и писатель.
- Архимандрит Дионисий Зобнинский, род. в 1570 г., умер в 1633 г.
- Игумен Троице-Сергиева монастыря.
- Афанасий Ощерин, монах Троице-Сергиева монастыря.
- Филипп, игумен Кирило-Белозерского монастыря.
- Феофил, старец Волоколамского монастыря.
- Леонид, старец Спасо-Крыпецкого монастыря.
- Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский, автор книги о Смутном времени. Умер в ноябре 1640 г.
- Царевич Муртаза, в иноках Михаил, лицо полуисторическое.
- Рязанец Гурий Старошершавин, лицо вымышленное.
- Георг Шварцкопф, наемник.
- Капитан Жак Маржерет, наемник, автор воспоминаний.
- Вальтер фон Розен, наемник.
- Князь Артемий Аштон, наемник.
- Анц Локман.
- Пастор Бер.
- Поп Матюшка, «люторский» пастор.
- Князь Роман Рожинский.
- Пан Млоцкий.
- Мартын Стадницкий, один из трех братьев Стадницких, польский шляхтич из окружения Лжедмитрия I.

1

Ночью была метель. Выл ветер. Наутро вышло солнце, задолбила капель. Он открыл оконце под самой крышей, в келью ворвалась прохладная мартовская прель. Над островерхой башней парусами бежали быстрые весенние облака. За Красным прудом, за оврагом на Луковом огороде пели овсянки: покинь сани, возьми воз. Их перебивала призывная барабанная дробь дятла на высокой сушине у самой башни.

Ночью били в колотило — долго, надоедливо. Он не пошел к полунощнице, озяб, не хотел, боялся темноты на крутой лестнице и в мона-

стырском дворе, боялся чужих злых, острых глаз, боялся рязанца с лисьей острой мордочкой. И не лег в гроб, в котором нехотя приучал себя спать. Уснул на лавке.

И видел сон. Будто он в Вейссенштейне, в парке. Стоят в тумане старые липы. Зима, а снега нет. Дорожки уложены мелким белым камнем. Чисто и сухо, как везде в Ливонии.

Он долго идет по длинной аллее, а в конце ее дом с одной дверью и без окон. Над дверью знакомый герб Мнишков — веер из семи страусовых перьев.

Он вошел — попал в зверинец. Пахло зверем, затхлой водой. Окно в мелком переплете во весь потолок. Но все равно сумеречно, темно.

— Герр московит хочет, наверно, полюбоваться на наших замечательных обезьян?

Он присмотрелся к сторожу в зеленом кунтуше, розовых сапогах:

— Стадницкий?

— Ich weiss nicht.

Конечно, это был он, Мартын Стадницкий. Белокурый, кудрявый, одна темная бровь заметно короче другой.

Последний раз — он вспомнил даже во сне — он видел Стадницкого мертвым, в тот самый вечер, когда погиб царь Димитрий. В Чертолье цвели яблони, свистали соловьи, стояло спелое весеннее томление, но воздух уже тогда показался ему напряжен и виноват. Мартын Стадницкий лежал под парсуной Леды с широко раскрытыми голубыми глазами и рассеченной, в запекшейся темной крови грудью. Горбатый францисканец в коричневой рясе и сандалиях на босу ногу читал над Мартыном *Nuns dimittis*. В животе у Леды торчал ржавый стрелецкий бердыш и по ножу в маленьких, цвета густого желтка, Касторе и Поллуксе, копошащихся у ее ног среди пустых скорлупок. Служанка Марыся, плача, собирала с полу пустые бутылки из-под выпитой убицами мальвазии.

— У нас замечательные обезьяны, герр московит, — вкрадчиво повторил служитель. — Совсем как люди.

Обезьяны сидели внизу, в выложенном темным камнем мелком пруду, в черной вонючей воде. Верхний свет был неверный, зыбкий, и, чтобы их разглядеть, надо было долго всматриваться вниз, перегнувшись через каменный парапет.

Первое, что он увидел, был штандарт царя Димитрия — красный, с черным орлом, висевший на стене, в углу, над обезьяньим прудом.

Самец, высокий, в черных ботфортах и черном плаще, в глубокой и широкой шляпе с провисшим павлиньим пером, задумчиво хлопал по воде из одного конца каменного пруда в другой.

«По кругу блуждают нечестивцы, по кругу человека водит бес».

Он не сам себе это сказал, не сам вспомнил, а услышал будто ниоткуда.

Самка сидела в углу под штандартом на каменной высокой скамье, подобрала лапы, ссутулившись, в темном плаще и бархатной шапочке с жемчужной булавкой, совсем как у государыни Марианны. Он хотел разглядеть ее морду, поманил пальцем, вытянулся. Самец остановился, недовольно зарычал. И вдруг направился в его сторону. Он огляделся, позвал:

— Мартын, а Мартын!

Сторожа нигде не было. Только он, большая обезьяна-самец в черном плаще, упрямо лезшая из черного вонючего пруда — достать его, убить, наверно. И печальная самка на каменной скамье.

Пятясь, заставляя себя не бежать, он вышел из зверинца. И быстрым шагом пошел по дорожке — прочь из парка, боясь оглянуться, а сердце колотилось. Было тихо, но вдруг он услышал, будто эхо, как далеко, за липами, стала плакать в своем темном зверинце самка.

На повороте аллеи, у срезанной молнией толстой березы, он не утерпел, посмотрел назад. Самец был совсем близко, настигал — в ботфортах и шляпе с поникшим павлиньим пером. И тут он наконец разглядел: морда у обезьяньего самца была его, князя Ивана Андреевича Хворостинина, а ныне старца Иоасафа — лицо.

Он проснулся и стал вспоминать, как в ночь после убийства царя Дмитрия сидел в погребе, дрожал, боялся. Даже там, в подземелье, было слышно, как шумел ветер и стучал по земле тяжелый град, как по всей Москве лаяли собаки, пока не спали с голоса — их в тот день забыли посадить на цепи, — как близко брехали в заросшем чертополохом, заячьей травой и лебедой старом рву прибежавшие нивесть почему этой ночью в город лисицы, а со стороны Серпуховской дороги слышался протяжный, надсадный волчий вой.

Наутро он вылез из погреба. Порадовался, что стала наконец расти борода. День начинался странный, неожиданно розовый, притихший. В саду скукожилась, пожухла трава, за ночь град побил весь цвет у яблонь и вишен.

Днем пришел Жак Маржерет в тяжелой, не по времени, шубе, пеший, с наклеенной рыжей бородой — прощаться.

— Я ухожу из царства Персефоны, — сказал он с пафосом и потрогал кушак: целы ли золотые. — И, как Улисс, покидающий пещеру Полифема, счастлив.

— Возьми меня с собой, — попросил Иван. — На Москве люд злой, глупый, жить не с кем.

Мать, княгиня Гликерия, заплакала.

— Не волнуйтесь, мадам, — сказал Жак, — дюк Жан принадлежит только вам и вашему сарматскому отечеству.

Он выпил на посошок, съел кринку рыжиков из переславской вотчины и ушел к пастору Беру, с сожалением вспомнив на прощанье:

— А ведь сегодня нас ждали турниры, маскарады. . .

Он, старец Иоасаф, давно уже вывел полууставом — «Словеса Дней и Царей Московских». Чернила высохли, он разрисовывал каждую букву, плакал и все никак не мог начать. Вчера сделал над собою усилие, написал: «Всякий возраст да разумеет, и всякий да приложит ухо слышать. . .» И опять не смог больше. В памяти упрямо всплывало все необязательное, случайное, пустое.

Серебряный лев в природную величину и жареные лебеди на свадебном пиру Дмитрия и Марины. При императоре было молодо, весело, показалось, что начинается новая, нечаянная жизнь. Он впервые напился, ему вдруг стало грустно, что — сирота, и тогда он побил рынд — от своей печали.

Все в прошлом вспоминалось тяжело, тревожно. Труп царя на Торгу, на Красной площади, с надетой на лицо личиной. «А ведь это, возможно, и не он, — говорит степенный пастор Бер. — Впрочем, каждая маска, как верили древние, — отдельная персона».

Царь Василий тащит из истлевшего гроба цепкой желтой костистой рукой багровую парчу мертвецкого кафтана. «Как положил, так и лежит! — раздается в наступившей тишине его дребезжащий умиленный голос. — А орешки, орешки-то в ладошке у чудного отрока, гляньте, хоть сейчас коли и ешь!»

Царь Василий — хитрый, редковолосый, никакой. Четыре года маленький хозяин скрипучего, гнусавого голоса сидел, плел, вязал и разрешал в маленькой Москве, проржавевшей и облупившейся, среди воровства, измен, прелести, людодерства.

Ольха и болота вокруг Иосифова монастыря. И сырость под корягой у пруда, где хоронился в камышах, пока был сыск и били в набат



перед собором. Бил в набат, конечно, презлой старец Феофил; он любил разбойные дела и память о своей опричной службе — там потерял глаз и стал крив набок.

Царевна Аксинья за шитьем в Горицах, теперь уже совсем бледная, с крупной татарской родинкой на смуглой шее. «Только бы батюшкина могилка была присмотрена. Мне бы в Рождественский монастырь, на Неглинную — от родительских гробов близко. И от братика . . . » За окном ее кельи блестит на солнце Шексна, пролетают курчавые, с земли достать, облака.

Побуревшие шатры на высоком глинистом берегу Москвы-реки в Тушине у Восточного монастыря. Наглый, пропойный голос Вора Марина в гусарском наряде, маленькая, как двенадцатилетний мальчик, постаревшая. Вывалившийся розовый язычок ее сына, трехлетнего царевича Ивашки, только что повешенного на Болоте.

Последний черно-желтый снег на Варварском крестце, перемешанный с человеческим калом и конским навозом. Безместные попы бьются на кулачки у Фроловских ворот, играют в зернь, пристают к прохожим.

Слепые лисята в лесу, на большой дороге под Смоленском, поселившиеся, как в норе, в пустом человеческом животе. Вместо темной луны — пожары в лесах. И две совы сидят на опушке носами друг к дружке, будто что-то говорят. А под ними, внизу, воет голодный взъерошенный волк.

У иноземца, князя Артемия Аштона, на лестнице толстая позолоченная баба, держащая над головой черную чашу. На лбу ее написано имя: Тайна, Вавилон Великий, Мать блудникам и земным гнусам. . .

Они теперь сидят, пишут, не уставая, десницами трепетными и недостойными, успокоившиеся и все еще злые, каждый в своей каморке — князь Иван Катырев в переславской вотчине, Авраамий на Соловках, чувствительный дяк Иван — в Новгородском приказе, а может, теперь уже и в Ярославле, нелепый князь Семен Харя — в Тобольске, Дионисий — здесь, у преподобного Сергия, в такой же, как у него, пустой келье, — и пишут, и вспоминают свои обиды, мелкие и большие, прикидывают, что утаить, а что оставить, как оправдаться и как оправдать — или обличить — страну, ближних, время, ибо тогда, в Смуту, Бог попушал, а враг действовал.

На Авдотью-плющиху заезжал князь Иван Катырев по дороге в соседнюю вотчину. Он встретил его под горой у церкви Параскевы, у вновь отстроенного Подольного монастыря. Шел рядом с санями, молчал. Над главами монастырских церквей, чуть они вошли в святые ворота, поднялся вороний грай. Катырев задрал вверх бороду, смотрел на тучи слонявшихся под низкими облаками ворон. Потянул носом сыркой, пахнувший навозом и дымком воздух:

— Скоро весна, Ваня! А реки еще крепки, не пошли!

Увязая в прохладном тающем снегу, они подошли к палатке Годуновых у нового собора, сели на расчищенную скамью под молодыми липами. Катырев тихо заплакал, у него из волосатой ноздри вытянулась длинная прозрачная капля, долго дрожала на слабом ветру, пока он ее не вытер рукавом.

— Эх, Борис, Борис Федорыч! — вздыхал Катырев. — И деточки, деточки. . . Царица Марья, она была крапивного семени, Малютина дочка, зла. А тоже ведь — жалко. Отослали, нехотящую, в вечный покой.

Хворостинин вспомнил Годуновых на кремлевской площади, перед дворцом, окруженных глумливой толпой. Царица Марья, остервенясь, рвала на себе волосы, выла, матерно ругалась, а то ползала на коленях в пыли: молила, хватая подъячих за полы кафтанов. Ее насурмлен-

ные брови потекли, отчего глаза стали больше и страшнее на скуластом старом лице. Царь Федор стоял молча, покорно опустив голову. Жемчужный ворот его рубахи был разорван, на тонкой шее виднелись родинки, точно такие, как у его сестры, царевны Аксиньи. А позже, голодным летом, он видел их простые каменные плиты на Сретенке, за пушечными избами, в бедном Варсонофьевском монастыре, на скудельнице, заросшей высохшей, пожелтевшей полынью и горячей крапивой. И понял тогда, может быть, в первый раз в своей жизни, что вот всякое благолепие — утренняя роса; сколько было в мире прекрасных лиц и могущественных царей, и все — истлели.

Катырев снял шапку, остался в черной тафье на лысом черепе. Он был старше Хворостинина всего лет на десять, а совсем развалился, обрюзг.

— Как живешь, Иван? — спрашивал Катырев. — Хорошо ли над душой промышляешь? В Москве о тебе говорят: совсем заворовался князь Иван, постригся в чернецы.

— Что ж, моя жизнь так, одна вавилонская греза, — отвечал Хворостинин. — Ни в чем не утвержден.

— Пишешь все или остановился?

— Слезы у меня вместо чернил, — пожаловался Хворостинин. И забормотал: — Кабы злость избыть, избыть злость. . .

Катырев на него покосился. Хворостинин говорил, поджимая тонкие, упрямые губы.

— А я все пишу, да с прохладцей, помалу, лень, — сказал Катырев. — Пишу, однако, не по слуху, не по убеждению, а что сам видел. Добрым человекам в поучение, а злым в умиление прийти. А ты, Иван, для чего?

— Хочу свободы от страха. И от надежды. Ну и смерти, наверное, боюсь, а ведь в воскресение мертвых плохо верю.

— Беспокойный ты, — пожалел Катырев. Вздыхнул. — Вон Христос стоял перед Пилатом безгласен, чтоб ликовал Адам. Ни в чем не оправдался. А мы так не можем. Спешим, говорим, оправдываемся в словесах. И все-то грабящими руками, обидливыми очами, клеветливым языком. . .

Он поднялся со скамьи, запахнулся, надел высокую шапку:

— Весною сверху печет, а снизу морозит. Я, Ваня, замерз. Пойду приложусь к преподобному, а там — в сани. Вешний путь — не дорога, когда еще к себе доберусь.

Хворостинин проводил Катырева до саней. Толстый князь продрог, устал, а все умилялся:

— Ветер так тихо веет! Так, пожалуй, скоро и снег растает. А все еще зябко, однако. . . Потом, глядишь, поля зазеленеют. Деревья обложатся в новое лиственное. Подумаешь — чудно, как это вдруг из ничего содевается вся эта небесная красота? А тут мы, со всем нашим, со злым, с нехорошим, все-то колеблемся семя и овамо. . .

«Отчего это у Катырева такая радостная душа?» — не в первый раз удивлялся Хворостинин.

У саней Иван Михайлович его обнял, обшлюнил черную схимонашью куколь:

— Ты меня, дурака, прости!

— Что тебе, князь?

— Что перед царем не отстоял. И в Тайнинском не навестил. Побоялся, грешным делом. А теперь и сам в опале, на Верх больше не зовут. Ленивая у меня душа. Другие говорят — добрая. Нет, ленивая.

Лошади взяли под гору. Хворостинин помахал вслед. Над святыми воротами опять взвились тучи галок, ворон. Он расслышал, как Катырев кричал, обернувшись назад грузным своим, рыхлым телом:

— Употребил, князь Иван, высококий глагол! Напиши все, как было,

без утайки! Какие мы грешные, слабые. У тебя высокий глагол хорошо идет: Слова Царей и Дней!

И прежде чем сани скрылись за монастырской мельницей, Хворостинин успел увидеть, как высокая вавилонская шапка Катывева слетела с круглой его головы и упала, потерялась в пористом сером снегу.

Он шел, сгорбившись, через монастырский двор, а чернец Афанасий Ощерин, пьяница и озорник, кричал ему вслед:

—Тужливая ты кавычка, вот ты кто, опальный князек!

Хворостинин закипел было гневом. «Сколько же у души частей? — спросил он себя. И себе же ответил: — Три — словесная, яростная и желающая».

На крутой деревянной лестнице в башню встретил востроносого монашка в линялой скуфейке. От его хитрых лисьих глаз захолодело под сердцем.

— К себе спешешь, старец Иоасаф? — зашепелявил рязанец. — Хочешь, я тебе кое-что покажу?

—Что у тебя там?

— Так, безделица, князь, твоя могильная плита.

Хворостинин перегнулся через перила, посмотрел вниз, в глубокий колодец между Сушилом и Келарской башней. Там на оттаявшей земле лежал в зеленом старом мху расколотый надгробный камень.

— Вот она, князь, твоя могильная плита! — хихикал рязанец. — Разбита-а-а! Никакой памяти по тебе не останется. Плиту — и ту разобьют!

— А кому она нужна, плита? — спросил Хворостинин.

Рязанец не услышал, скатился вниз по лестнице, грохоча сапогами.

Он затворился в своей келье, раскрыл «Александрию». Но читать ему не дали. Пришел старец Илларион Бровцын.

— Опять ты лицом отемнел! Вон и вода у тебя в бадье стоит открытая. Ты воду-то закрой! Положи две палочки крестом, чтоб нечистый дух ненароком не выкупался, разве трудно.

«На Москве люд глупый, жить не с кем, — тоскливо думал князь Иван. — И в монастыре не лучше. Вот — изгнан, пострижен и все еще в странствии. Куда же теперь деться? В смерть, что ли? Там, говорят, тихий покой, никакого неразумения и вечная мудрость. А как поверить? Авраам, Исаак, Иаков жили в шатрах, обетованного не получили, только издали видели. И радовались, и говорили себе, что вот странники они и пришельцы на земле».

И так велико было в этот пасмурный весенний день желание избавиться от оскорбляющих зол, от цепкого египетского плена земли, что он сел к столу и стал писать духовную память, пытаясь вспомнить, что ему было в прошлой жизни дорого и чем он владел.

То, с чем он пришел в монастырь, Иван еще помнил — охабень, ферязь, кафтан, кунья шуба, шапка, да четыре ковра, да немецкий жеребец, карий, с оправленным мундштуком, да конь ногайский, рыжий, да сани... Все это по обычаю отошло обители, но был еще неприсмотренный и пустой дом в Москве, вотчинные деревни за озером, в Переславле, где сидела теперь его нечаянная жена, рябая тихая женщина из княжон Голибесовских, была серебряная посуда, были лошади, был скот, были дворовые люди, были вещи.

Он старался, припоминал и не мог, потому что забыл, чем владел. И не знал, кому оставить: мать была близко, в Хотькове, в девичьем монастыре, ей теперь не надо; тетки тоже постриглись по дальним монастырям; двоюродных братьев он не жаловал, кроме одного — тезки Ивана, убитого Заруцким при осаде Астрахани; племянники были малы, и он их не знал.

Наконец решился, написал кудрявым своим почерком, отказал деревни жене, а по душе попросил давать сорок алтын в год на пани-

хиды. И отложил бумагу, скучая и не веря, ради недочитанной «Александрии», ради последних часов царя Александра.

«Александр из правителей и вельмож посмотрел и сказал:

— Мои любимые и милые великие цари всего света, вельможи и витязи; всю вселенную покорили мы, богатые и пустые земли, и до рая дошли, где был Адам, праотец наш. Все, что есть на земле прекрасного, видел я. И высоту неба постиг. И глубину моря узнал, но убежать не смог жестокого смертного серпа. Вы, меня видя умирающим, хотите помочь — и не можете. Туда я иду, где от века умершие пребывают, вы же оставайтесь с Богом, до смерти своей меня вспоминая. А увижусь я с вами, когда мертвые из гробов восстанут на том Страшном Суде, на великом торжище.

Сказал Александр и умер — в земле Гесем, в стране Халдейской близ Египта, на реке Ниле, на том месте, где Иосиф Прекрасный сотворил семь житниц фараону-царю».

Прошлый год он прожил на Белоозере, в Кирилове монастыре на покаянии, под надзором крепкого в житии старца. У могил великих Воротынских, куда надо было рано ходить на молитву, затемно, стыли ноги. Было неудобно и неловко на виду у игумена Филиппа притворно биться о холодные кирпичи пола. Он не любил этот придел.

В трапезной — тишина и скука. Три кушанья в перемену — каша, горох, репа, а по праздникам — гольцы в кислых щах и моченая брусника. Старцы пахли чесноком и мятой. Сидели, будто кроткие, — мелкоглазые, презлые. В его келье стоял запах сырой кожи — от переплетов — и выдыхающегося донника. Икона у него была одна — Царица Небесная над рекой жизни.

В соседней келье жил надзиратель, старец Феодорит Умной из арзамасских боярских детей. Он был трепетный старец, доверчивый, добрый. Поучая, стенал, охал, потел, огорчался, жалел. Бранился всегда одинаково — «азарапкой». Других хульных слов не знал, а вернее, забыл. Азарапка-мордвин когда-то давно, в опричнину, завладел, оболгав, его поместьем.

Летом они сживали под горой, под березами, у Ивана Предтечи, церкви, построенной великим князем Василием и Еленой Глинской за дарование наследника. Феодорит вспоминал предостережение Иерусалимского патриарха Марка великому князю: «Если дерзнешь на законпреступное супружество, сын твой удивит мир своей лютостью».

— Патрикей Прусский, — говорил Феодорит, — видел место, где начинается тартар. Я, грешный, тоже видел, а было оно в Александровой слободе.

Царь Иван во тьме лез ночью на колокольню, за ним Афонька Вяземский с фонарем. А там уже был пономарь Малюта, начинал. И вместе они трезвонили в колокола. По шесть часов стояли на службах, а на рассвете шли в трапезную со своими ложкой и блюдом, раздавали нищим, что не доели, а потом садились на лошадей и скакали прочь — убивать и мучить.

В Кирилове царь Иван утопил в болоте Михайлу Воротынского. Ползал в ногах у игумена, плакал: «Помоги моему невоздержанию!» Вышел от игумена и поджарил князя Щенятева, тут же, заживо, в слободе, на большой железной сковородке.

Через сколько-то лет явилась в Москве голосистая, дикого вида птица. Прилетала больше ночью, вопила долго, страшно. И царь Иван помре. Пошел туда, где двенадцать убогих судят царей.

Он рассказывал Феодориту о Москве. Старец там не был лет двадцать с лишком, с тех пор, как удалился от молвы мира. Спрашивал:

— Как же это ты, князь Иван, был при Расстриге, а жившей в нем прелести не видел?

— Молод был. Все не видели, верили. Или ввали. Сам знаешь, как мы ложному шепоту податливы, — нехотя оправдывался Иван. И добавлял, будто про себя: — На Москве сеют рожью, а живут все ложью... И сейчас не могу сказать, был ли он истинный Димитрий или нет.

— Грабежливый московский народ, хитрый, — соглашался, не все, наверное, хорошенько расслышав, Феодорит. Должно быть, вспоминал опричника Азаряпку. — Все-то в ярости, все в злобе, все в тиранстве...

Иван рассказывал Феодориту о пострижении царя Василия. Царя держали за руки, царь в чернецы не хотел, рвался прочь, плевался, а стольник князь Гришка Тюфякин говорил за Василия слова пострижения.

— Тьфу! — негодовал старец. — Вот неистовство! Вот чужого спасения рачители!

— Лжа как ржа, — говорил князь Иван. Сам он из всех прошлых царей ненавидел больше всего именно царя Василия, шубника, шептуна. Совсем его не жалел.

— Недаром в Тавриде, в крымской орде, московское племя считают на торгу дешевым, как коварное и обманчивое.

— Разве? — удивлялся Феодорит.

Иногда он затворялся в келье, писал, веря и не веря, «Умилительную повесть об убийственном и кровопролитном Флорентинском соборе», а на ум приходило другое — Леда с телом цвета живого жемчуга, каменный Аболон-идол, рассказы Мартына Стадницкого и принца Густава о том, как красива и удобна Флоренция, о тамошних розах, парсунах, тисненой коже, голом царе Давыде на главной площади.

— А что, на Страшном Суде потечет душа назад в тело или не потечет? — спрашивал он у старца Феодорита.

— Ленивым чертог будет затворен, — твердо отвечал старец. — Однако надеждой не греши.

Лето было жарким, они выходили за монастырские стены, к озеру, там казалось прохладнее. Смотрели в прозрачную воду, разглядывали облака. Он надкусывал кислых маленьких муравьев, морщился, выплевывал, тосковал.

— Ржа железо ест, моль казнит ризы, а печаль человеку ум отнимает, — говорит Феодорит.

Из-за Сиверского озера, из Горлиц, из девичьего Воскресенского монастыря звонили — тонко, робко: «К нам, к нам, сиротам!» Но никто туда из Кирилова не ездил: старцы стояли на молитве, а детеныши были в поле, жали, косили.

Он там был один раз, старцы отпустили. «Куда ж я от вас убегу?» Пришел пешком; на горе Мауре, в малиннике, его чуть не задавил медведь, еле спасся, убежал. В соборе, на гробах Евфросинии Старицкой и Юлиании, жены царевича Ивана, стояли в глиняном горшке вялые ромашки. В келье Ксении теперь жила древняя старуха-карлица; самой царевны на свете уже не было, умерла прошлой осенью в Суздале.

Он помнил ее здесь много лет тому назад, когда, казакуя с ватагой пана Песоцкого, заехал в Горицы.

— А вот и ты, Ваня! Здравствуй, — сказала она, подняв голову от шитья. Не удивилась. — Хорошие тут места, спокойные.

— Что это у тебя будет? — спросил он.

— Покров на плащаницу, «Не рыдай мене, мати».

Она отвернулась к окну, смотрела на вьющуюся внизу излучину Шексны. По начавшей блекнуть щеке скатилась слеза. Потом, будто очнувшись, спросила:

— Что же там, в Москве, перестали изобретать лжеименитых царей или нет?

— Говорят, царь Димитрий будто бы спасся. Стоял в Тушине, а в этом году перешел в Калугу. И Марина с ним. Я их видел.

— Я этому не верю, — сказала Ксения. — Но зла на него не держу. Как-то он теперь на Суде отвечает? А Марину жалко, маленькая она, с кикимору, злая, длинноволосая, жадная к власти. Не будет ей, видно, покоя до гробовой доски. . .

— Не все покой любят, царевна, — сказал Иван.

Осенью доставили из Москвы на подводах опальных немцев, Анца Локмана и попа Матюшку. Немцы привезли ему послание от князя Семена Шаховского, от Хари, и стихи с убеждением к персидскому шаху Аббасу перейти в православие. И то и другое Иван бросил в огонь, не читая.

За пленниками в старой бане у Свиточной башни он с немцами устроил тайную молельню, служил панихиды — по царю Димитрию, по царю Борису, по пану Песоцкому, некогда утонувшему тут же рядом, на приступе, в проруби.

Он купил в слободе вина на две гривны и напился с ссыльными немцами на поминках. Потом отнял у цыгана медведя, привел в дьяческую избу, бил дьяка Елистрата Красноглазова до крови и медведем драл; подьячие метались в страхе вон из окон. Немцы смеялись и хлопали в ладоши. Не помня как, пришел на монастырский двор, рвал на себе перед собором постылый подрясник, пел:

Сам не знаю, как на свете жити,  
Бывши телом на земле, Богу не грешити.

Пьяный люторский поп Матюшка стоял рядом, покачивался, согласно кивал лысой непокрытой головой:

— Es stimmt genau! Вот оно это самое и есть!

Анц Локман лежал в пустой липовой кадке под колокольней и уже ничего не помнил.

Их поймали, связали, посадили в холодай для протрезвления, даже приковали к скобе. Он очнулся первым, очень себя пожалел, подобрал холодный острый камень и нацарапал вслепую на стене:

Огнепальная погружает жития сего волна.

Проснувшись и протрезвев, поп Матюшка назидательно сказал, везде указательный палец:

— Вещи несут кару за нечестие и получают друг от друга возмездие в установленное время.

Пришел старец Феодорит Умной, дал ему оплеуху:

— Гордостью, князь Иван, не превозносись! С кем, азарапка, связался? С немцами! Ведь они — издавна прельщаемый от дьявола род!

Когда выпал снег, попа Матюшку и Анца Локмана отправили тужить дальше, в Тобольск.

## 2

В апреле начались яркие, теплые, длинные дни. Солнце слепило глаза, в разогретом воздухе замелькали крапивницы. Быстро обмелели ручьи. Леса долго стояли голые, лишь чуть тронутые с исподу прозрачной зеленью кустов и быстрой молодой поросли. На Клементьевском поле парни играли в лапту, он им завидовал, идучи мимо на Луковый огород помогать старцу Неофиту.

Луна росла, росла, выросла, выходила в розовые длинные вечера на полнеба — он неотрывно глядел на ее желтый шар из своей глухой,

крытой тесом башни, а потом шел в полутьме к налою, зажигал свечу и садился переписывать, в который уже раз, житие Никиты Готского, бывшего бесов своими цепями в царьградской темнице. Ничто из мучившего его не рассеивалось дымом даже после сорокового списка жития бесобойца Никиты: «Словеса Царей и Дней» лежали, пылясь, на полке.

Князь Семен Шаховской прислал из Тобольска еще одно послание, жалуясь на кончину третьей жены. И прислал старые вирши на смерть датского королевича Ягана, жениха Ксении Годуновой, — какая-де печаль, что принц умер некрещен.

Приехала из Хотькова мать. Положила у его гроба-постели холщовый мешочек:

— Вот жена твоя Марья прислала. Грибков маленьких, сушеных, да еще рябинки дикой черной!

Тихо села под иконой «Царица Небесная над рекой жизни». Он свечу не зажег, стоял у окна, смотрел на полную луну. Мать у него за спиной, в сумерках, молчала, не шелохнулась. Не оборачиваясь, он ее окликнул:

— Ты что, спишь, что ли?

— Так, немного привалилась, — отозвалась мать. — Темно у тебя.

Ему не хотелось с ней говорить. Засела и давно жила старая обида, с тех самых пор, как царь Василий по ее челобитью отправил его на покаянье в Иосифов монастырь.

— Может, я тебя в старые годы и вправду чем изубытчила, — шевельнулась в сумерках мать. — Ты уж меня прости, не сердись. Давно это было. — И стала, в который раз, оправдываться. — Я как лучше хотела. Ты все с немцами дружбу водил и с Ванькой, окаянным братцем. Боялась, кабы душой не пал, а там ведь мог и пропасть.

— Что же, — с горечью сказал князь Иван, — вот мы теперь с тобой оба и чернецы, вот мы и спаслись.

— Умру я скоро, — пожаловалась мать. — В речах у меня забытье, запность. А то вдруг временами людей худо признаю, обморок в голове, что ли.

— Больного проведайте, покойника проводите, — откликнулся сын. — Все мы смертны.

Мать стала подробно, как ему показалось, с удовольствием перечислять:

— Как помру, дай на мое преставленья нищим калачей, рыбки, квас сычен. Да вели вписать в литию и в синодик. Еще дай в Ростов, в дом Пречистыя Богородицы и великих стратотерпцев Бориса и Глеба чем душу строить и поминать — ризы мои: камку рудожелтую, шелки разные, мои, да черный атлас с золотыми крапинками, да платье, шитое канителью и жемчугом, да кикю с камнями, да мухор-того мерина, на котором к тебе сейчас приехала...

— Я раньше тебя помру, — сказал Иван. Закрыл окно и зажег свечу.

Мать, кряхтя, подошла к свету, взгляделась.

— Ты и впрямь лицом отемнел. Глаза у тебя кровавые. Посуши полынь, смешай головки с белком и прикладывай, кровь от глаз отойдет.

Он вспомнил ее знатной верховой боярыней, полногрудой, крупной женщиной с густо набеленным, будто обсыпанным мукой, лицом, в колымаге, покрытой красным сукном; в ногах у нее вместо скамейки сидит девка Домна, а лошадью правит босоногий Матюшка Лишний в косматом полушубке.

Наутро он провозжал ее в Хотьково. Маленькая, незаметно для него усохшая, она с трудом, охая, влезла на старую монастырскую подводку. На ярком солнце он увидел все ее морщины, постаревшую

черную сгорбленную спину. У него заняло сердце, стало жалко ее старости, их обоих. Он не сдержался, тихо заплакал. Она как будто не заметила его слез. Уже сидя на подводе, забеспокоилась, вспомнив:

— А кому Дратниково пойдет? И Бурцево? Марье? Она у тебя бестолковая, сейчас видно — Голибесовская порода. Крестьянщики мне писали — обесхлебели, обезлошадели под ней. Собрались Суханову пустошь разделить, поп Данила не дал, а она не вступилась.

— Вещелюбива ты, — сказал сын. — Нам с тобой надо теперь всякое житейское попечение оставить. Что Бог даст.

Мать согласилась, попрощалась, но, отъезжая, опять вспомнила:

— А образ, Марья Египетская, возьми себе. У тебя в келье пусто, одна Царица Небесная, вдвоем им будет веселее.

На Вербное воскресенье он рано заснул, но в полночь был разбужен колокольным звоном, а потом и стуком в дверь. Отворил слюдяное оконце и удивился: на дворе было светло, как днем. Воздух и мир внизу были пусты и странно неподвижны.

Он подошел к двери и окликнул, не отпирая:

— Кого Бог послал?

— Бог в помощь, старец Иоасаф от страны индийской, — зашепелявил за дверью рязанец. — Это я, здешний богомолец!

— Что тебе? — спросонья не успев испугаться, спросил Хворостинин.

— Пойдем в Успенский собор, увидишь.

Рязанец шел впереди. Он не видел его лица, только шуплую спину, линияющую скуфейку и седую косичку на затылке.

Монастырский двор был безлюден и светел. Подходя к запертому собору, он услышал внутри шум голосов.

— Нам с тобой туда нельзя, раненько, не пустят, — сказал, отворачиваясь, рязанец. — Ты в щелку взгляни.

Он нагнулся, но было темно, разглядеть ничего не мог. Голосов внутри было много, человек двадцать или тридцать. Он явственно слышал, как один голос через равные промежутки повторял, как канонарх: «Со святыми упокой!» Когда голос умолкал, из собора слышался смех, потом плач.

У него затекла спина. Он хотел уже плюнуть, уйти, но тут заметил, что в соборе появился свет; свет шел быстро, то поверху, то понизу. Дождавшись, когда свет пошел понизу, он плотно прильнул к щели. В соборе стояли цари и царицы — Борис, Федор, Василий, Димитрий, Марья, слепой царь Симеон Бекбулатович, ливонская королевна Марфа, Ксения. А рядом с ними патриарх Иов, его, Хворостинина, отец, князь Андрей Иванович Старко, князь Голибесовский, пан Песоцкий, француз, повар Мнишков.

Над головой неприятно, дико закричала одинокая птица. Свет в щели погас, голоса в соборе разом смолкли. Он отпрянул от щели, выпрямился, хотел размять затекшую поясницу. Закружилась голова. Он огляделся: справа от него стоял обезьяний самец, виденный им во сне, а слева — шуплый рязанец. Он только теперь разглядел, какие у рязанца пронзительные голубые глаза.

— Пойдем, старец Иоасаф, в поле, поищем царевича Муртазу, — прощепелявил рязанец. — Напугаем его твоей обезьяной. . .

Был май, были свадьбы и приготовления к свадьбам. Ему сговорили княжну Марью из Голибесовских, царь Димитрий женился на государыне Марине. В доме у них что ни день были гости, пиры. Мать выходила к гостям с золотой чаркой, к каждому в новой телогрее, од-



на другой наряднее. Двоюродный брат Иван получил воеводство в Астрахани, звал на Волгу, отговаривал от женитьбы.

— Я не своей волей, — оправдывался Хворостинин. — Это все маменька.

— Ты Ваньку, озорника, не слушай, — сердилась княгиня. — На Волге жить — ворами слыть.

Мартын Стадницкий привез в подарок ковер: бледно-розовая девица в кудрявом раю гладит, не глядя, рог белого зверя с длинной бородой, а вокруг, в землянике и незнакомых цветах, резвятся красные обезьяны.

— Это — Единорог из Бестиария, — объяснил Мартын. — Он, как угодно видеть дуксу, с козла. Поймать его можно так: чистая дева должна пойти в лес и там ждать. Она может притвориться спящей, но это, впрочем, не обязательно. Он ее увидит, подойдет, поцелует в грудь и уснет рядом. Сон его — Крестные Муки. Это, конечно, вызывающе, но очень благочестиво.

Жак Маржерет приехал со встречи Марины Мнишек. Привез Ивану в подарок двух рябых попугаев. Маржерет был огорчен: при торжественном въезде Марины отряд его аркебузьеров поставили позади польских гайдуков и улан. Рассказывал, что царь Димитрий велел сделать для Марины корону.

— Насколько мне известно, прежде женщины у вас не короновались, — ворчал он.

Маржерет быстро напился, помрачнел. Княгиня хлопотала вокруг него, советовала:

— Ты бы, Яков, русские обычаи перенимал не вдруг!

Беспокойный старик князь Голибесовский, дядя сироты-невесты княжны Марьи, сидя в красном углу, шамкал, с неодобрением поглядывая на иноземцев и Ивана:

— Горе тому городу, где царь юн, а бояре его рано пьют и едят!

Красногубый, чернобровый Мишка Молчанов рассказывал ливонцу Розену о конце Годуновых, а сам не отводил зеленых, с легкой косиной глаз от полногрудой княгини Гликерьи:

— Царица Марья от страха обмерла — мы ее легко придушили. А Федор никак не давался. Крутили ему руки вчетвертом и так и сяк. Шелефединов выбил ему нечаянно глаз, красивые у него были глаза, большие, черные, как у царевны Аксиньи. Пах ему стрельцы раздавили, а он все рвался. Тут князь Васька Масальский изловчился сзади, накинул мальчишке на шею шелковый шнурок. Вот тем шелковым шнурком мы его и dokonчили. . .

— Вот увидите, — говорил хмельной Маржерет князю Артемию Аштону и его жене, княгине Пенелафе Фоминичне, — нас еще ждут новые метаморфозы и предательства. Старый волк месье Бельский непременно нам отомстит за свою выщипанную мессиром доктором Симоном бороду!

Старик Голибесовский собрался домой. Долго прощался, кланялся в пояс. Сказал матери:

— Ты, княгиня, за князем Иваном смотри строже, кабы не завелись у него бесовские мечтания. Марья у нас последняя, после нее никого Голибесовских больше нет. Хорошо, чтобы муж ее покоил, а не пугал. . . Сама видишь, смутные теперь времена. Москва не Москва стала, что Вавилон, ото всех языков. Вчера на Торгу Петрушка-юрод прорицал. Скоро, говорит, опять будете есть человечье мясо за говяжье, как в позапрошлых годах.

Голибесовский покосился на «Диану на охоте», подаренную князем Артемием Аштоном, плюнул:

— И чего только у вас в дому не висит! Срам, чародейка, блудница, ложная богиня еллинам!

В старом дворцовом саду на Воробьевых горах пировали в неоглядно долгий день, под цветущими яблонями расстелили ковры. В майском мареве темнела за рекой, за зеленым дымом рощиц Москва. Димитрий лежал на персидском ковре, усыпанном яблоневым цветом, закрыв ладонью лицо.

— Старица Елена сулит мне скорую смерть, — говорил Димитрий. — И Маржерет с Розеном предостерегают. Что если взять да всех бояр истребить — для береженья, как отец? .. Нет, не сделаю я этого, мне пчелу и ту раздавить жаль...

«А Федора Годунова?» — подумал князь Иван.

Над ними жужжали пчелы, у реки в ивняке выводил колена соловей.

— Борисов день — соловьиный, — сказал царь. — Тогда, в Угличе, тоже май был теплый, как нынешний. Пятнадцать лет прошло, день в день. Я на яблоневои цвете и поскользнулся, упал на ножик.

«Мечтатель он, или Вор, или, правда, Дмитрий Углицкий?» — недоумевал Хворостинин.

— Не помню, как и почему уцелел, — говорил царь. — Очнулся уже в Галиче, в Рыбной слободе. Рыба у нас там была всякая — и плотва, и ершики, и окуни, и лещи. В огороде — печка: подбросишь березовое полено и коптишь рыбку... С четырнадцати лет стал жить по монастырям, скрываться, мне тогда мою царскую породу открыли... Это меня, думаю, женочка безобразная испортила, ее ко мне мать в Угличе звала для потехи...

«Как же он крепко верит!» — удивлялся Хворостинин.

Ему тоже хотелось верить, что его государь и есть настоящий Димитрий, потому что был он царем милосердным и никого не хотел в своем царстве видеть печальным.

А через два дня обезображенное царское тело в овчине и с маской на лице лежало на подводе у Вознесенского монастыря.

Князь Василий Шуйский разъезжал в толпе на ногайском жеребце, звал:

— Подите потешьтесь над Вором!

Из монастыря выходила к толпе мать, инокиня-царица Марфа, громко кричала: «Прельстил он меня!» Называла расстригой, дьявольским сосудом. А потом, у себя в келье, лежала, простершись под образом, выла:

— Матерь Божья, за что Ты меня так испытуешь!

Потому что тоже не знала, сын он ее или нет.

Прошло полгода. Князь Иван подъезжал с Розеном и Маржеретом к ливонской границе серыми изборскими полями.

— Вот мы и сыграли комедию Теренция. Или Плавта, — сказал Маржерет. — Как я рад, что наконец покидаю отечество этих пренебрегаемых Богом сарматов. Жаль, однако, императора Димитрия. У него были качества истинного государя! Впрочем, мертвым я его так и не видел. Но меня уверял месье Бертран из Казани, что у трупа были длинные волосы и борода. А как мы все хорошо помним, император стригся и ходил безбородым.

— А может, это была трагедия Софокла? — откликнулся Розен. — Прийти в мир молодым, неизвестно откуда, все испытать, стать царем и умереть. Может быть, в этом — знак. Миром должен править тот, кто не свой для мира. Царь Салима Мелхиседек был без отца, без матери, без генеалогии. Так и Димитрий.

«Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, — вспомнил князь Иван. — Когда же настанет совершенное, все, что отчасти, — прекратится».

Инокинья-царица Марфа не знала, ее сын царь Димитрий или нет. Помнила его жестоким, крикливым ребенком. Подрастая, он гонялся летом по двору за курами и гусями, резал им шеи, бил палкой до смерти, смотрел без детского страха, со странным любопытством, как птицы истекали кровью. Зимой лепил из снега мужиков, а вылепив, бежал за детской сабелькой и сек им головы. Прыгал вокруг, радовался, кричал: «А вот что будет Мстиславским! А эдак вот будет Голицыным!»

Печи в старом углицком дворе топили жарко, до дурноты. Царица открывала окно в снежный двор, смотрела на Митенькины забавы, зевала, скучала, ждала чего-то. Боялась, что Митенька вырастет, станет царем, сошлет, не посмотрит, что мать. Он прибежал к ней с розовыми от мороза щеками. Она гладила его голову, гордилась: «Ты у меня царского корня, вот и носом пошел в отца, в Ивана Васильевича». Однако старика мужа царица Марья вспоминать не любила, особенно к ночи. Иногда, переев, видела во сне — братьям рубят головы, а ее постригают; тут же и брачный пир — старый царь женится на английской царевне.

Братья от скуки пили. А напившись, делались злы и нетерпеливы. Михайло Нагой, широколицый, с оспинами, хотел больше кормовых денег, бранил прижимистого Битяговского скаредом, хриstopродавцем, вором. Брат Григорий, когда делался пьян, подозревал царского дьяка: «Ты царевича хочешь зарезать!»

— Мне твой царевич ненадобен, — отвечал Битяговский. — Он государю царю брат, а я государю слуга. А зачем ты ведунов на двор зовешь, юрода Андрюшку, и женка уродливая, Мамелфа, что ни день у вас наверху ворожит?

Младший Нагой, Андрей, мечтал:

— Федор, говорят, слаб, скоро помрет.

Осоловевший Михайло Нагой оживлялся:

— Когда Митяй будет царем, я перво-наперво Москву разорю!

— Он, поди, тебя самого разорит, — лениво отвечала Марья.

Шесть лет она старела в Угличе, скучала среди братьев, ворожей, дураков и дур. А в следующем мае, сыром и холодном, спокойная царица жизнь кончилась — царевич набросился на ножик и умер.

Мертвым она его толком и не видела. В тот день сидела с братом Андреем, кушала белужину, и внизу бабы закричали, что царевича не стало. Царица сбежала во двор, на тело не взглянула, стала бить мамку Василису березовым поленом по голове. Кричала, что царевича зарезал мамкин сын, Осип Волохов. Пробила мамке голову в нескольких местах, устала, велела бить брату Андрею — он как раз тоже спустился во двор.

Ударили в колокола у Спаса. Труп царевича лежал, забытый, лицо выпачкано в мокрой земле и крови. Около него плакали кормилица Арина и постельница Марья. От слободской женки приехал пьяный Михайло Нагой, раскричался, разбил дьячью избу, велел запереть ворота на княжеский двор. Искал, кого сбросить с раската, и опоздал: Битяговских с Качаловым и Осипа Волохова люди миром уже затоптали, а с ними подозревали и убили еще человек до десяти.

Братья мучили свои животы, сидели год на цепи. Потом их разослали по дальним деревням. Царицу Марью постригли в черницы в монастыре на Выксе. Стала она инокиня Марфа. Жила там спокойно, вышивала покровы, баловалась рыбкой, даже забыла, в каком году царевича не стало.

И вдруг кончилось мирное житье. В распутицу — едва не утонула

вместе с санями — привезли Марфу ночью в Москву, во дворец к Борису, спрашивать о чужом человеке в Литовских пределах, назвавшемся именем сына. Тут же в палате была и царица Марья, насурмленная, злая, в кике с яхонтами. Марфе стало обидно, что Малютина дочь — царица. Захотелось ее подразнить, помучить. Стала упрямиться, твердить: «Не знаю, сын он мне или нет. Мертвым Митеньку не видела, смертного его лица. Зашлась тогда в горе, забылась, от слез света белого не узнавала мало что с месяц».

Царица Марья бросилась к ней с шандалом, царапалась, хотела выжечь глаза. Борис еле удержал жену, выбил шандал из рук. Под ними затлел кизилбашский ковер. Царь кричал жене: «Стыдись, Марья! Вот уж истинно крапивное семя, Малютина дочь!»

С тех пор который уже год все царицу-инокиню Марфу шпыняли, таскали, требовали — братья, цари, толпа. Опять ее везли с Выксы в Москву встречать новоявленное детище. Опять брат, Мишка Нагой, был пьян, говорил: «Признай его, чего тебе, нам всем будет лучше». В Тайнинском к ней во вдовью колымагу сел сродник, постельничий Сенька Шапкин, указывал, который ее сын, чтобы зря на чужом плече не вопила.

Царь Димитрий подошел темно-рыж, носом крут, в бородавках. Показался Марфе непохож. Все же она на его плече расплакалась, раскричалась. Плакала не за сына, не от встречи, а за себя, за все свои страхи. И хотелось, конечно, верить, что детище ее и вправду живо.

А другим летом, когда привезли из Углича гроб, смотрела и удивлялась, неужто эта смертная плоть — ее, от ее утробы. Сама не так стара, а от сына — вот уже и кости. И опять растопырилась, расплакалась, раскричалась.

Князь Иван Андреевич Хворостинин, кравчий и чашник убитого императора Димитрия, тоже не знал, был ли его государь истинный царевич Димитрий или нет. На четвертый день после смуты он не выдержал, поехал в Кремль. Там сидел новый царь, Василий — ябедник, миропродавец и разоритель. Царство его открывалось кровопролитно и мятежно.

На кремлевском откосе над Москвой-рекой валялись раздавленные царские борзые. Чернело выбитое дворцовое окно — оттуда Димитрий тряс бердышем и кричал: «Я вам не Борис!» На годуновском дворе складывали на подводу зарезанных польских музыкантов и их инструменты — везти в Чертолье, в открытую скудельную яму. Там, среди убитых, уже лежали царь Димитрий, Мартын Стадницкий, патер Помасский.

Во дворце, куда Иван пришел сам не зная зачем, его увидел Бельский, погнался, повалил: «Вот ты где, щенок! Ты при Расстриге в случае был!» Стал трясти над Иваном редкой бородой, глаза безумные, красные. Собирался бить тяжелым посохом. Неведомо откуда, будто из стены, выполз новый царь, Василий, прикрикнул на Бельского: «Опомнись, Богдан! Негоже старое поминать. Князь Иван нам родня».

Был Шуйский маленький старик, глаза под навислыми сивыми бровями еле видны, будто слепой. Конопатую руку с крупными жилами держал у уха, словно хотел все недослышанное услышать.

Царь сел на лавку, зажмурился.

— Не твоя забота, Богдан Яковлевич, казнить. Все в царской руке — и князь, и опала, и милость, это смотря по тому, как о том государя Бог известит. Мы князя Ивана жалеем, посылаем в Углич с Мишкой Татищевым за нетленными мощами. А ехать им без мест.

Царь Василий пригорюнился. Охнул, перекрестился.

— Зарезан был Димитрий как незлобивый агнец по умыслению лукавого раба.

«Совестью ты, царь Василий, мало изнежен», — подумал Иван. Он смотрел на маленького царя и удивлялся, как это люди так искренне врут. Не он ли, Василий, говорил, что царевич убится сам собой, а потом говорил, что вовсе не убится, но спасся от Борисовых клеветов и жив, и вот он, в Москве, — царь Димитрий.

Шуйский поглядел исподтишка:

— Взгляд у тебя, князь Иван, и впрямь недобрый, потаенный какой-то. Нехороший.

Вдруг царь сполз тяжелым кулем с лавки на пол и захныкал, держа за сердце:

— Предатели! Тати! Воры!

Но тотчас встал. Зевнул.

— Шуку бы сейчас верченую да с ленивой капусткой. Распорядись, князь Иван, принести. Что ж, Богдан Яковлевич, может, ты и прав, надо князя Ивана проучить маленько, по-отечески, а там пусть едет в Углич.

— В монастырь его, на вечное покаяние! — ощерился Бельский.

Иван не дождался посоха по своей спине, бежал. Слышал дребезжащий царский смех: «Беги, беги, далече не убежишь! Про шуку-то не забудь!»

Он зашел в темный собор Вознесенского монастыря и услышал надгробное псалмопение: «Кая житейская сладость пребывает непричастна печали? Где есть мирское пристрастие, где есть привременных мечтание, где есть золото и серебро, где есть рабов множество и молва? Все — персть, все — пепел, все — сень. Ныне житейское лукавое разрешается торжество суеты».

Перед алтарем молча стояли несколько черниц. Одна из них плакала.

— Где же гроб? — спросил Иван у послушницы.

И, еще не дождавшись ответа, понял, что отпевают царя Димитрия. Мать отпевает. Он подошел к царице и спросил:

— Твоего сына отпевают?

Она не ответила, залилась слезами.

— Ее сына, ее! — услышал Иван шепот на ухо. Рядом оказался монашек, остроносый, остроплечий, а глаз его Иван не разглядел. Приехал к себе домой и на воротах прочел прибитый прелестный лист, что царь Димитрий жив.

Углич был запустелый город, совсем деревня. Колокола едва звонили, больших не осталось, сослани по дальним городам. В княжеском дворце жил принц Густав, сын безумного шведского короля Эрика. Иван его навестил, а Татищев не пошел: «Какое мне приобщение с иноверными?»

Густав поил Ивана сладкой тягучей настойкой из Melissa, цвета изумруда. Жаловался, что совсем обрусел, что скучает без старой любовницы Эммы, которую еще царь Борис велел отправить обратно в Данциг. Рассказывал о Флоренции, где долго жил.

— Люди теперь недостаточно верят, — говорил принц Густав, — и не обладают сильным воображением. Потому-то и все искусства стали так зыбки. Восхищаюсь вашей русской способностью делать жизнь искусством. Вы замечательно живо верите в фантазии.

Он показал Ивану свою лабораторию в старой пыточной избе, где занимался извлечением философского ртути — квинтэссенции всех материальных вещей. Недаром Немоевский говорил Ивану в Москве о принце Густаве как о втором Парацельсе.

— Если извлечь ртути из каждого животного, растения и камня и соединить, — Густав уже был нетрезв от своей Melissa, — это по-

может обрести новую молодость. Впрочем, вам, князь, рано беспокоиться.

Они вышли на гульбище. Солнце еще не село, но уже показалась луна.

— У женщин причина всех болезней — луна, — заметил Густав. — Это неоспоримо. Но какого она существа — смерзшийся ли кристалл, либо сгущенное облако, либо особый воздух?

Татищев с подьячими долго не могли отыскать могилу царевича. За временем угличане забыли, показывали разное. Нашли, наконец, вдового попа Федота Огурца. Родню попа Федота после угличкого разоренья отослали в Пелым, самому ему резали язык, да неумело, мог кое-как говорить. Он указал на место в соборе, у алтаря:

— Сильно вправо не берите. Там мой сын положен, попович. Вы его не тревожьте. Умер девяти лет, через неделю, как царевича не стало. Сам его тут клал, около Димитрия Ивановича, потому и помню.

Принц Густав провожал погребальный обоз до последней заставы, за пригородными полями, у темных лесов. Он был в коротком немецком кафтане, сидел в седле нетвердо, а рядом, держась за стремя, шла рыжая мордовка.

— Еще одна из русских фантазий, фюрст, — говорил Густав, указывая плетью на трясшийся на подводе гроб. — В Москве, я вижу, готовят новое моралитэ. А вы уверены, Йоханн, что у вас там, под гробовой парчой, — не попович?

Он посмотрел на небо, на замерцавшие над бледным закатом звезды.

— Боюсь вас огорчить, фюрст, своим пророчеством, но вы отправляетесь в путь под недоброй звездой. Вон там, над елью, Каникула — звезда из созвездия Большого Пса. Вы будете странствовать в мысли и в теле и все будете странны. Впрочем, что вам делать в Московии? А мне — в Европе?

Принц повернул назад, в Углич. Отъехал с десяток сажень, обернулся, крикнул Ивану вдогонку:

— В своих странствиях обязательно побывайте во Флоренции! А в Москве не забудьте передать царевне Ксении поклон от неудачливого жениха.

Иван отстал от обоза. Смотрел на звезду Каникулу, смотрел вслед принцу Густаву, как тот отъехал рысцой, через гречишное поле по тропе назад, в запустелый Углич, круто кренясь в седле с бока на бок, а за ним бежала, едва поспевая, мордовка-любовница, держась за хвост принцева иноходца.

«Я в Москве не высижу, убегу воровать к братцу Ваньке в Астрахань. Или в Литву», — сказал себе Иван и тронул в лес, за огнями, за погребальным обозом, по Ростовской дороге.

В Борисоглебском монастыре под Ростовом гроб поставили в зимнем соборе. Ночь была жаркая. То и дело погромыхивало. Цвела черемуха, в монастырском дворе стоял ее душный, пряный запах. В окрестных прудах в громкой любовной истоме стрекотали лягушки. После полуночи он пришел в собор, отослал гробовых старцев, приподнял парчу, смотрел в гроб. Суставы у мертвеца сильно распались, разошлись в тлении. «Как же телесное естество опять может восстать в первую красоту?» — подумал Иван, ужасаясь своему сомнению. Кто-то совсем близко, за стеной, стал бить молотком по наковальне. Испуганная мышь побежала в алтарь. Иван закрыл мертвеца парчой, вышел на паперть. На ступенях сидел молодой монашек с короткой русой бородой.

— У вас тут кузня? — спросил Иван.

— Старец Иринарх, — ответил инок. — Сердце у него горит. Иногда бьет молча, а иногда кричит: «Я — великая наковальня, о нее разо-

бьется всякая грешная душа». — Вздохнул, позавидовал: — Удивляюсь я на старца, на храбрость его борьбы.

Утром, после панихиды, молодой монах подошел к Хворостинину:

— Я, чернец Александр, тоже о воскресении мертвых некогда колебался, как ты вчера у царевича гроба. И все мечтал неустроенное устроить и несовершенное совершить. Теперь смотрю за старцем, старец искусен и прозрителен. Хочешь провожу?

Иван про себя удивился. Пошел за чернецом.

Старец Иринарх сидел под соборной стеной на цепи, в камере чуть больше собачьей будки. Тут стояла и наковальня. Иван потянулся прилечь, но Иринарх отдернул руки, спрятал под мышки. А потом упал на колени, стал ползать в сухом кале и пыли, куда пускала цепь. Пожаловался:

— Кости сотрясены, плоть к ним прилипла!

Повернулся к князю Ивану задом, забубнил в бороду:

— Не хочу тебя, скверный человек, в твоём доме бесы, не по углам вешаются, а внутри сидят, развалившись.

На коленях он вполз в будку, а оттуда вышел во весь рост, с молотом. Оказался высокий, худой, с красными, как у Бельского, глазами. Иван подался назад, испугался, что Иринарх его зашибет. Старец стал бить молотом по наковальне и петь:

Из глубины воззвал,  
Имя Господне призвал,  
Мужайтесь, не ужасайтесь,  
Грядет беда неумолима,  
В ум человеческий невместима  
За всего мира безумное молчание  
О лжецах преткновенное лгание.

Ивану краесловие юродивого понравилось. И вдруг ему на слух сами собой пришли первые в жизни собственные вирши:

Зрите наши злые нравы,  
Будете душами своими здравы . . .  
Не сыпьте злата перед свиньями,  
Да не осквернят своими ногами.

Он еще раз повторил их про себя, чтобы лучше запомнить. Иринарх будто услышал — бросил молот, сел на корточки и обыкновенным голосом сказал:

— Гусыни лисам проповеди читают.

Ивану стало неприятно, и он пошел от старца прочь. Иринарх пел ему вслед:

Зрение меня устрашает,  
Душа нехорошее предвещает,  
Будешь чернец, прежде смерти умрешь,  
Гроб себе келию обретешь.

Татищев с мощами, подъячими, гробовыми старцами и стрельцами уехал после полудня. Иван выехал к вечеру с нововыезжим черкесом Асаналеем. Инок Александр вышел их проводить до опушки подмонастырского бора.

— Ты старца прости, — сказал Александр. — Устал он. Приходят, любопытствуют. Куда ему с цепи податься? Приковался по обету до смерти.

— Отчего он такой нечистый, в кале? — спросил Иван.

— Что же, — вздохнул Александр, — составы и сосуды плоти — прах и смрад, чего скрывать. Кто, прохладно живя, на небо взойдет? Я тоже хотел преложиться в юродство, да куда мне, не по силам. А как душевное око сохранить нетленным?

У трех берез на одном корню, у часовенки, Александр сел на еловый пенек, перевел дух.

— Тут и прощаемся.

Дурманно пахла лесная фиалка. Недалеко зафыркал еж. Прошелестела в траве гадюка. Из-под цветущего куста калины выбежала зайчиха, за нею заяц, побежали, косые, петляя, между сосен. Ласточки устранивались на ночлег под часовой крышей.

— Ветер до чего кроткий! — говорил будто сам с собой Александр. — Вон ласточки нам проповедали весеннюю тишину. Уже и лето пришло. А в воздухе — смерть и тревога. Не уходят. Я все мечтаю, кабы опять вернулись те времена, когда все звери были праотцу Адаму милы и послушны.

За рдеющими в заходящем солнце стволами сосен показались всадники в лисьих малахаях.

— Разбойники? — насторожился Иван.

— Какое там! — откликнулся Александр. — Царевич Муртаза с мурзами, племянник царя Симеона Бекбулатовича. Догоняют царевичев гроб. Езжай с ними, вместе веселее.

Царь Василий с синклитом встретил мощи в Красном Селе. Плакал, вздыхал, лазил цепкой рукой в гроб, тряс орешками, вынутыми из детской ладони. Царица Марфа причитала, билась, отходила на руках у боярынь и, отдохнув, опять бросалась вопить у гроба.

Ивану покойник показался издали неожиданно свеж, совсем не те истлевшие кости, над которыми он стоял в Борисоглебском соборе. «Наверное, Мишка Татищев подменил. Зарезал какого-нибудь маленького поповича, ему не в диковину».

В Кремль на прославление мощей Иван не поехал, отправился домой. Челядь показалась ему подозрительна — слуги прятались по углам, шептались, охали, в глаза не смотрели. Мать больше молчала, а то вздохнет, будто что-то скажет, — и ни слова. Жена была у дяди Голибесовского — ради его немощей. Иван о ней и не спросил, забыл.

На своей половине он не нашел подаренной Аштоном «Дианы на охоте» и ковра Стадницкого. «Спрятала от греха в чулан», — повинилась мать. К ночи завыл пес Разбой. Выл, не унимаясь, с час и больше. Иван выходил во двор, ласкал его, бил, наконец, велел увести с усадьбы прочь. Вернувшись в дом, поставил перед собой кувшин романаеи, выпил до капли и уснул.

Видел себя во сне совсем маленьким, лет двух, с нянькой, на берегу быстрой реки. Кругом леса, холмы, висит полная луна, скачут обезьяны. На другой стороне реки, напротив того места, где они стоят с нянькой, — не холм даже, а целая гора с плоской вершиной. В гору медленно идет царь Димитрий в овчине и с дудкой и ведет за руку его, маленького Ивана. А он, Иван, глядит на царя Димитрия, на себя на горе и спрашивает няньку: «Где же я, там или тут?»

Нянька наклоняется к нему, маленькому, и отвечает: «А ты, князюшка, и там и тут». И указывает на вдруг посветлевшую вершину плоской горы: «Смотри, Ванюша, кто к нам пожаловал, — маменька!» Там, на большом толстом коричневом борове, сидят в обнимку царица Марина Юрьевна в красном платье и его мать, княгиня Гликерия, в зеленом немецком наряде и собираются тронуть вниз, под гору.

У Ивана-Что-Под-Вязом ударили к полунощнице. Забил в свою колотушку юродивый Алешка, живший в клетке у ворот. Иван проснулся и стал вспоминать детские бархатные сапожки, какие видел на себе во сне. «Должно быть, в старой рухляди, надо спросить мать. Видеть гору — к чему это? К горю, что ли?» Долго, однако, не думал, опять заснул.

Наутро за ним пришли приставы, московские жильцы Темир Пе-



ченегов и Мамлей Бармалеев. Зачитали роспись его винам, княгиня вынесла отреченные книги: «Аристотелевы Врата», латинский требник.

Когда Ивана повезли, мать не выдержала, выбежала, простоволосая, вслед:

— Прости меня, дуру, ради Христа!

Он от нее отвернулся:

— Что ж ты мне вчера не сказала, знала, небось?

— Боялась, что убежишь, — плакала княгиня. — Тебе на исправлении лучше будет. В Иосифове монастыре, там и гробы родительские! Держась за подводу, она шла переулком, вопила над Иваном, как над покойником: «Ох, сироты мы с тобою!»

Он не выдержал, закричал:

— Все-то ты, матушка, врешь! Ты предателя Иуды сестра!

Родительские гробы в Иосифовом монастыре, за церковью Иоанна Предтечи, за старым приделом, заросли татарником, повителью, осотом, лебедой. Там были положены дед, Иван Михайлович Хобородинский, отец, Андрей Старко, дядя Петр.

Монастырь стоял в пустыне: с одной стороны болотистый еловый лес, с другой — низменные поля. В крутых берегах текла маленькая речка Сестра. В селе Спирове, недалеко, — богорадный монастырек для престарелых старцев. А дальше, на много верст, — ни жилья, ни души. Под большим монастырем — пруд, почти озеро, илистый, мутный, в камышах и мощном аире, с гниющими по берегам ветлами и осинами.

Встретил Ивана келарь, старец Феофил:

— Вот ты и сподобился, князюшка, поклониться прародительским гробам. При Расстриге, чай, все было некогда. Место у нас караулистое, не убежишь. Мы тут тебя во всем исправим. А нет, так пристроим на грешную главу клубук, образ древлего благочестия, под ним и умрешь.

Старцы были жадные, кровопивливые, из мелких боярских детей, из престарелых кромешников царя Ивана. Жили на покое, а все в них стояла давняя тревога, прежняя житейская злоба. Ивана поселили рядом с большим поваренным старцем Фатеем Обобуровым. Велели ходить на все службы, дверь кельи для всякого держать открытой. Первое время за ним был учрежден караул из детенышей. Потом, смилостивившись, оставили без сторожей.

Старец Фатей заглядывал к Ивану по несколько раз на дню, любопытствовал:

— Ну, како ты тут, князек, своего жития веятель? Смотри, чтоб уста у тебя были на молитву, а очи на бдение и слезы.

Иногда он располагался надолго, приставал с расспросами:

— Ведомого плута Гришку признал, признал ведь, а?

— А кто ж его не признал? — спрашивал Иван.

— Признать-то признали, бес многих попутал, но и береглись тоже. А ты мира сего прелестного славой прельстился.

Старец облизывал губы, по голосу было слышно, что завидовал. Не отставал:

— Какое же такое там у тебя в Москве было в грехах каение и валяние?

— Намутили на меня много, а я без вины, — отвечал Иван.

Фатей пах гнилой капустой, гремел ключами, сетовал:

— В амбарах у нас большое мышеедство, надо бы поставить людей с колотушками. Эдак совсем обеднеем, с кружкой по миру пойдем.

— С оловянной или с серебряной? — любопытствовал Иван.

Старец будто не слышал. Бубнил свое:

— Ты бы сельцо какое завещал, хоть маленькое, в наследие веч-

ных благ. Глядишь, отец келарь к тебе помягчает, да и огонек засияет повыше на родительских гробах.

Приходил к Ивану из Спирова пьяница и озорник, старец Касьян Босой. Тайно приносил вино и мед: «Вот и нам великое утешение». Вспоминал времена, когда был дядькой царевича Ивана Ивановича, учил мальчика пускать стрелы: «Царевич был лют, ох лют, весь в батюшку, в царя Ивана Васильевича». Рассказывал, как воевал в Ливонских пределах, как добры и понятливы ливонские немки и как громко кричали и метались в Волхов новгородские бабы, когда опричники крушили торг у Ярославова Дворища.

Касьян любил Ивановы рассказы о диковинных странах и зверях.

— А василиски, они каковы? — спрашивал Касьян.

— У василиска, — говорил, веря и не веря, Иван, — лицо и волоса девичьи, от пупа — змеиный хвост и крылаты.

— А крокодил?

— У того хребет, аки гребень, сам весь — уста. Живет лютей зверь в реке Нил.

Когда приходил старец Фатей, Касьян прятал вино, ворчал:

— У, ты, кервер проклятый!

Фатей огрызался:

— Ты в меня, старец, злыми словами не кидай. Лучше за собой гляди, чтоб уста твои располагались на молитву, а очи на бдение и слезы.

Фатей прилеплялся к киоту, громко шептал: «Кадило молитвенное, тимьян благоуханный». А маленькими зоркими глазками шарил по углам, прикидывал, куда Касьян спрятал вино.

— Тебе что, старец, у себя молиться негде, так ты по чужим кельям ходишь? — нетерпеливо спрашивал Касьян.

Но скоро не выдерживал, расслаблялся, вытаскивал из потаенного хранилища вино, приглашал Фатея. Всякий раз, разливая, приговаривал:

— Руси веселие пити, не можем без этого быти.

Лето перешло на другую половину. Давно замолкли птицы. Зори приходили яркие, холодные, но уже к полудню небо заволакивали низкие, с тяжелым свинцовым подметом облака. Над жнивьем закружились черные лохмотья грачиных стай. Заладили обмочливые дожди, состарился монастырский огород. На дворе детеныши шпарили кипятком с крапивой бочки под соленье. У старца Фатея стало много хлопот, заглядывал он к Ивану реже. С вопросами не приставал, делился ожиданиями:

— Бруснику поставили на моченье, и рыжики холодные уже стоят, голубчики. Скоро и живопросольную рыбу привезут. Медвяный квас хорошо бродит. А там из северных деревень повезут к нам тешу, осетров, белужину. На Рождество всем будет утешение.

После Дожинок Касьян Босой пришел с вестью, что Москва со всех сторон обдержана войсками царя Дмитрия.

— Волною морскою покрыл гонителя-мучителя, под землю скрыл спасенных отроков, — прогнусавил он с удовлетворением. — Не добрался царь Иван Васильевич до Шуйских, а зря.

— Ты, отче, веришь, что царь Дмитрий жив? — спросил Иван.

Касьян сразу не ответил. Посмотрел в окошко-бойницу на желтый с красными вкрапинами клен, сказал:

— Вот и ласточки из колодца больше не выпархивают, легли на дно. А ты, князь Иван, все тут сидишь, брюхо греешь. Верю, не верю, что за беда, кабы был моложе, поехал бы казаковать с новыми царевичами. Золото огнем плавится, а человек напастями. Я тебе в Спиrove на винокурне припас мерина, на левый глаз крив, обе ноздри пороты, а бегает рездо. Езжай на Можайск, та дорога лучше и бесстрашнее.

Старец Касьян пошел из Ивановой кельи прочь, распевая: «Съеден был, но не удержан в персях китовых Иона».

## 4

К рассвету монастырские слободы и овраги затянуло туманом. Он писал всю ночь, устал и теперь открыл Постную Триодь — «Гряди, душа моя страстная, плачь о своих деяниях, поминая первое обнажение во Едеме, им же изгнана еси от сладости».

Временами на него находила дрема, книга падала из рук, и он видел себя молодым кравчим на свадебном пиру у царя Димитрия. Вот он ругает старых неуклюжих стольников за обнос не по чину. Вот принесли лебеда под взваром с шафраном. Вот он хочет поднести царице Марине Юрьевне чашу кенарей, а дородная панна Казановская отнимает у него чашу и цыкает: «Не с той стороны подходишь, лайдак!» Он всегда смеялся над широкими юбками панны Казановской, а они пригодились: государыня Марина спряталась под ними и уцелела.

Вот они сидят со слепым царем Симеоном Бекбулатовичем на ковре и едят руками пилав.

— Я твой отец знал, с ним на поход ходил, — говорит старый татарин. — Я твой мать знал, хатун, добрый, красивенький кыз.

Они выходят на высокое крыльцо ветхого царского дворца в Кушалине. Волга покрыта мелкой свинцовой рябью, под низкими холодными облаками тянет к югу последний журавлиный клин. Слепого царя поддерживают под руки мурзы Кулбердыш и Чилибей. Он жадно ловит терпкий осенний воздух ртом, широкими ноздрями. И вздыхает: «Все — темный!»

Его плоское лицо расплывается в плаче, слезы капают из невидящих глаз в крашенную хной бороду. Симеон ищет рукой Иванов локоть, сжимает его:

— Я твой отец знал, кардаш, я твой мать знал, я свой конец не знал!

Вдруг из сада внизу раздается пронзительный, незнакомый Ивану крик. И он видит, как из опавшего куста бузины вылезает обезьянья морда, а потом и вся тварь. Царь Симеон хохочет, хлопает в ладоши:

— Ты мой сестра сына знаешь, царевича Муртазу? Его обезьян. Муртазе с ним весело. Зовет обезьян когда — жена, когда — царь Московский.

В дверь кельи кто-то заскребся.

— Не спишь, старец Иоасаф? Обо всех написал или, может, кого позабыл?

— Опять ты!

— Кто же, кроме нас, старец Иоасаф, по своим грехам бодрствует? — проблеял рязанец. — Я к тебе за адамовой головой...

— Ничего у меня нет, никакой головы.

— Посмотри под лавкой, сразу увидишь. Ротмистра Бобовского голова, со старой осады. У ее летом в пруду нашел. Вчера у тебя был да забыл с собой прихватить.

— Врешь, не был ты у меня никогда.

— Я к тебе часто захоживаю, старец Иоасаф, только ты меня не замечаешь. Все сам с собой да об своем.

Иван взял свечу, заглянул под лавку. Там лежал череп. И он вспомнил, как видел ротмистра Бобовского в Тушинском таборе, зимой, у подложного царька. Ротмистр, пьяный, ехал в санях в обнимку с розовощекой маркитанкой Зосей. Скрипел под полозьями снег, взвизгивала Зося, пушились усы у ротмистра Бобовского, по сторонам скакали черкесы, а поверх бурого медвежьего полога сидели на краю саней

озябшие музыканты с восточными нежными глазами и играли на виолах.

«Смерть наносится, но бессмертье последует», — сказал себе, в который раз желая поверить, Иван и поднял череп с пола. И подумал: «Каков ротмистр Бобовский в бессмертии — тоже ездит в санях, а музыканты играют ему на виолах?»

— Не зябнешь, старец Иоасаф? — спросил за дверью рязанец. — Пойдем на пруды, послушаем, как шумит водичка. Адамову голову сложи в рогожку, зачем ей зря видеть белый свет. Упокоим в Келарском пруду — до Страшного Суда.

Они прошли Подол, потом Луковый огород. На Келарском пруду слушали воду подо льдом, утопили в проруби рогожку с черепом. Пошли дальше, на Клементьевский. В обоих прудах вода стонала, как старая баба, — значит, где-то быть пожару иль смерти.

У часовни на Красном холме протоптанная в снегу дорожка кончилась, но рязанец продолжал идти вперед глубоко по снегу. Иван устал, сел у взъерошенной одинокой елки. В руки стала кидаться стужа, он их грел под мышками. А когда встал, чтоб идти, как ни искал, не мог найти следов рязанца.

— Да где же ты?! — крикнул он громко.

— Я ту-та! Ту-таа! — заблеял рязанец. — Я в поле. Ищу для тебя царевича Муртазу.

Иван посмотрел в сторону Благовещенской рощи. Там на опушке стоял рязанец, а рядом с ним обезьяна в плаще и в ботфортах. И не было к ним никаких следов по снегу. Он охнул, побежал назад, к монастырю, и услышал за собой блеющий смех: «Беги, беги, далеко не убежишь!»

Под Можайском ночью выпал первый снег, а к утру растаял. В Можайске, на Брыкиной горе, на посаде у Лужецкого монастыря он зашел в кабацкую избу, купил на две гривны вина. Сел сам собой за пустой стол и стал думать, куда теперь ехать. За соседними столами кабацкие ярыжки бражничали, играли в карты, в зернь. Лысый полуголый шпынь пел дурным голосом:

Беспечального меня мать породила,  
Гребешком кудрецы расчесывала.

Кто-то положил ему на плечо тяжелую руку. Он поднял голову и увидел Маржерета.

— Далеко собрались, дюк?

Иван обрадовался.

— Так, мыкаюсь, гуляю. Я думал, Яков, ты давно в неметчине, в Литве.

— Задержался в Серпухове у почтенной немецкой вдовы-шинкарки.

Маржерет присел к Ивану за стол. Пододвинул к себе вино, сделал добрый глоток.

— Я тут с Розеном. Еду к себе в Бургонь, в Сен-Жан-де-Лонь. Если, конечно, не помешают события. — Наклонился, зашептал: — За день до моего отъезда из Серпухова у немки ночевал князь Грегуар Шаховской с двумя польскими дворянами. Князь дал ей пригоршню золота. «Это, — говорит, — тебе сегодня, а завтра приедет царь Димитрий, отблагодарит щедрее». Весь день я ждал до вечера, никто не приехал.

Маржерет сделал еще глоток вина, вздохнул:

— Ах, мой друг, мне только тридцать семь лет, а будто прожил два века!

Подошел Вальтер Розен.

— Hilf Gott! Это вы, фюрст?! И в таком маскарде, в сермяге, в бараньей шубе! Удивительная страна! Поехали с нами в Ревель!

Ночами подмораживало. Дороги были тверды, но настоящего снега не было, так, легкая пороша, почти иней. Останавливались они в ямах, постоянных дворах, лошадей не меняли, давали отдых своим. Боялись тараканов, раскладывали по углам хлеб, чтобы те не очень донимали, и засыпали под их шуршанье. Несколько раз ночевали в стогах сжатого, необмолоченного хлеба, прикрытого досками. От застарелых причин Розен долго не мог сидеть на лошади, поэтому делали частые привалы. Розен кутался в песцовую шубу, жаловался:

— Не могу жить без нежных растений — без лаванды, без винограда, без олив.

Он обычно плелся в хвосте, пел:

D Seiligkeiten,  
Vergangen Zeiten . . .

Маржерет мурлыкал свое — о маргаритках, которые стыдятся белых ножек Николетт. На привалах он украдкой считал золото в кушаке. Иван вспоминал, как царь Димитрий говорил: «Подожди, князь Иван, поедешь в чужие земли, посмотришь. В чужих странах люди живут веселее».

Под Новгородом они нашли на дороге замерзшего цыгана с живым медведем. Далеко впереди слышался печальный звон цимбал.

— Какой глухой и унылый звук! — заметил Маржерет. — Вполне соответствует гению здешнего народа.

Маржерет застрелил медведя из аркебузы. Делился опытом:

— Оружие страшно местом: аркебуза в лесу, кинжал в тесноте.

В Новгородской слободе висели на облетевших осинах четыре немца, знакомые доктора медицины — Шварцкопф, Вайскопф, Бюлер и Мюллер. Маржерет сказал с удовлетворением:

— Но мы, по-видимому, живы.

Розен откликнулся:

— Не счастье ли, что мы наконец покидаем владения царя Василия со всеми его почтенными сообщниками в убийствах и предательствах, всеми этими купцами, пирожниками и сапожниками?

В псковских лесах, болотах, пустынях выли волки. Под Псковом они встретили юродивых. Юродивые шли босые, гремели веригами, бились об землю, кричали, что им являлись святая Параскева Пятница и святая Настасья, велели заповедать Христов закон.

— Как утомительны, как неизобретательны эти плешивые гимнософисты! — ворчал Маржерет.

— Маскарад часто подлинен, — серьезно заметил Розен.

— Нет больше истины в Новом Израиле! — кричали юродивые.

— А была ли? — спросил Розен.

Иван все же украдкой перекрестился.

Чем ближе они подъезжали к ливонской границе, тем грустнее ему было. Все чаще вспоминался родительский дом в Москве. Двор крепко огорожен. Ворота к ночи замкнуты, а собаки сторожливы. Ставни на окнах обиты листовым кованым железом. Икона в нише в сенях. Слюдяной фонарь на крыльце. Налево нужник. В верхней горнице бревенчатые стены пахнут пивом. А весь дом осенью пахнет яблоками и укропом.

Вспоминал ночные московские звоны. Вот ударили в колокола на патриаршьем дворе. Потом в Чудове. Потом у Покрова на Рву. Теперь и в Китай-городе. А там и в Белом Городе, и в Замоскворечье.

Вспоминал летний полуденный зной на Яузе. Высокие, заросшие желтым донником берега. Мельницы. Купанье розовотелых девок, их визг и гам. Перстенок с бирюзой, упавший под ракушкой в быструю воду.

За Изборском у часовни Николы в сжатом поле он остановил криво мерина и сказал попутчикам:

— Дальше я с вами не поеду. Не могу. Потяну назад, домой. Такова злая фортуна моего сердца.

— Вы так и умрете рабом жесточайших фараонов, — сказал Розен.

— Возможно, мы еще увидимся, — сказал Маржерет.

Иван долго стоял на виду у Изборской крепости, на холме у большого креста на Труворовом городище. Подошла рыжая собака. Виляла хвостом, ласковая. Он наклонился с коня ее погладить. Она его укусила.

Со стороны Пскова на запад бежали низкие тучи. Видно было, как там и сям они проливались косыми дождями. Потом пошел мокрый снег. Он перевязал тряпицей укушенную руку и поехал на кривом мерине на восток, на Русь, в Смуту.

## 5

Зима начиналась нестройно. Снег то и дело перемежался с дождем. В Псков князь Иван не поехал, повернул на север; в Изборске он слышал, что в Пскове заматня, детей боярских кидают с раската, а за кого стоит город — за царя Василия или царя Димитрия — неизвестно.

Леса вокруг были худые, мелкие, со многими болотами. В первую ночь он не попал на жильё, ночевал в лесу, выбрав место повыше, под суховерхой сосной. Долго не мог заснуть — болела укушенная рыжей собакой рука. Среди ночи поднялся ветер, сбивал с деревьев сухие сучья. «Вот, заспавшийся лешак проснулся, — подумал Иван, а не испугался. — Пусть отбушует. Погуляет и провалится под землю — до весны». Место, однако, показалось ему странно — кто-то близко, подо мхом и вереском ползал, шуршал, не успокаивался. Засыпая, он просил ангела помолиться, не затворять в смерти душу.

Приснился князю Ивану сон. Черный, в снежных пятнах дол, кругом лежит перелогом смерзшаяся земля; там и сям торчат ромашки на черных ножках с обношенными, будто обгорелыми венчиками лепестков. Он идет за кривым меринком, держась за лошадиный хвост, и жалеет: «Как же быстро истлела земная красота!» Из редкого леска подходят к нему двое.

Издали он их не разглядел, принял за людей, а подошли ближе, присмотрелся — один был человек, а другой — обезьяна в немецком кафтане. И тот, кто был человеком, его спрашивает: «Далеко ли путь держишь, князь Иван? Не заблудился бы!» А тот, что обезьяна, говорит: «Поворачивай к нам, во Флоренцию! Наш бог — Абракас. Под его началом триста шестьдесят пять богов. У него голова короля, ноги змей и бич в руках». И, сказав так, обезьяна в кафтане лезет на старую осину, на самую макушку. Человек внизу смеется, кричит обезьяне: «Хорошо тебе там, во Флоренции?» — «Куда как хорошо! — кричит сверху обезьяна. — Бери князя Ивана и лезь ко мне».

Утром он встал, потянулся и чуть не упал в поросшую вереском, засыпанную валежником и сучьями яму. В яме шевелилось что-то живое. Он поворошил длинным суком. Сук сразу отяжелел. Он вытащил сук и увидел — к суку прицепилось с десяток черных змей. Над его головой на суховерхой сосне зашипели в древнем страхе две совы. Он и сам испугался, зашвырнул сук за яму, под необлетевшую старую осину. Листья на ней трепетали, а не падали.

Днем замела поземка. Лед обметал незастывшие воды. Теми же чахлыми лесами он подъехал к Крыпецам и заночевал у кладбищенского сторожа на сеновале. Ночью опять был ветер, под стрехами стоял и охал домовый, на кладбище скрипели ветхие кресты. Среди ночи он проснулся, услышал, что кто-то лезет наверх, на сено. Схватился за нож:

— Дьявол, что ли?

— Дьявола разве не видел? — ответил человеческий голос. — Рога калачом, вместо глаз угли, шерстью рыж.

— А ты видел? — спросил, успокоившись, Иван.

— Самого не видел, а копыта его кобылки — очень даже хорошо.

— Ты кто?

— Старец я, Леванид, из Саввина монастыря. Пришел к своей братии из странствия, да не приняли, прогнали.

— Отчего прогнали?

— Ты, говорят, имя переменял. Ушел в Литву с чернецом Григорием, он тебе там свое имя отдал. Ты, говорят, теперь чернец Григорий, или Гришка Отрепьев, вор и расстрига. Зовись, как хочешь, только места тебе у преподобного Саввы нет.

Наутро они вместе тронулись в Елизаров монастырь. Иван ехал на мерине, а старец Леонид шел рядом, рассказывал:

— Гришка он был или Юшка — не знаю. Отрепьев ли, Нелидов — не знаю. Царевич ли Димитрий или так, гуляющий человек, — не знаю. Сверг он с себя иноческий образ — это я знаю. Сам его видел в скуфье в Крыпецах, а потом в чернецах в Киеве, в Никольском монастыре. Держал он меня в Путивле в цепях, всякий день приходил с кубком ренского. Себя угощал, меня, грешного, поил. Уговаривал: «Назовись Гришкой Отрепьевым, жалко тебе, что ли?» Я ему отвечал твердо: «Чужое имя занимать — грех!» Он опять придет, сядет напротив, покрутит бородавки на щеке, отопьет из кубка: «Ну, как, — говорит, — будешь называться моим ложным именем, не то сейчас тебя предам жестоким пыткам». А я ему опять: «Каким таким именем?» — «Ложное, — говорит, — имя у меня одно — Юшка Отрепьев. Будешь запираешься, убью». — «Что же, — отвечаю, — переселюсь в вечную жизнь с твердым упованием».

Выводил он меня на высокий берег, на крутец, трава там зеленая, верба пылила, птицы пели. «Посмотри, — говорил, — на эту красоту, чего себя лишаешь ради суетного имени. Не все ль равно, как назваться, не в имени дело!» — «А в чем дело?» — спрашиваю. «В славе, чернец, в славе. Будет тебе слава и мне слава. Имени меня царского в малолетстве лишили от страха. В каком только обличье не жил! Так возьми мое ложное имя ради себя и мира...»

— Верить ли ты, старец, что он был царевич Димитрий? — спросил Иван.

— Голоден я, боярин! — заплакал Леонид. — Стар, непамятлив. А то в голову взойдет, стрекочет, будто сверчки.

Иван слез с мерина, накормил чернеца. Леонид ел жадно. Вдруг поперхнулся, побагровел:

— Крошка в горло бросилась.

Поев, он осоловел, попросился отдохнуть:

— Куда нам спешить? Дотемна будем в монастыре.

Он заполз под разлапистую ель, закутался в тряпицы, закрыл глаза — то ли спал, то ли молился.

В верхушках елей шумел ветер. Близо брехнула лисица. Иван сидел на пне, на прогалине, и думал, отчего он едет теперь назад, в тлю, в ложь, в воровство, в зависть, в разбой. «По кругу ходят нечестивцы, по кругу человека водит бес».

Старец Леонид окликнул из-под ели:

— Ты что там делаешь?

— Смотрю на вертеп своего существа, — ответил князь Иван.

— Смотри, смотри! — обрадовался Леонид. — И то сказать, страсти к нам привязаны, как скоты. Чуть не кормлены — мычат, просятся вон. Господь, однако, милостив, сильно не умучит.

— А тебе там тепло? — спросил Иван.

— Куда ж теплее!

— Скажи мне правду, ты — чернец Григорий?

— Старец я, Леонид, Крыпецкого монастыря. А каким именем Судья назовет, когда перед ним предстану, — не знаю.

Старец вылез из-под ели, отряс с себя иглы. У пояса загремела оловянная кружка.

— Вечереет, однако. А до монастыря версты три.

В Елизарове монастыре ночевала сотня стрельцов из Пскова. Они ехали в Тушино к царю Димитрию, надеясь на царскую милость.

— Не тот царь, дак другой, — говорили стрельцы. — Они теперь на своих степенях долго не держатся. Где государь пожалует, а где и сами приищем.

Со стрельцами было несколько детей боярских и князь Артемий Аштон, старый знакомый, честнейшего чина Подвязочный рыцарь. Он ехал в Москву за княгиней Пенелафой забирать ее домой, в английские земли.

— Опасные времена, Джон, — говорил князь Артемий. — Кругом — импостеры, бригааны, антропофаги. Боюсь, съедят мою Пенелафу в каком-нибудь пирожке. А ведь я с нею был счастлив! Расскажу вам, Джон, такой случай. У меня в Пскове была хозяйка — преласковейшая женщина. Добрая, услужливая, набожная. Но однажды угостила меня пирожком, а в пирожке я нашел человеческий ноготь. Оказалось, они с невесткой убили мужика, привозившего снесь из деревни, и положили в ледник под полом. Они убили и лошадь. Но меня, надо отдать ей должное, хозяйка кониной не кормила. Да, князь, человек — преопаснейшая обезьяна.

К ним подошел старец Леонид, упал перед Иваном в ноги.

— Князь, не ходи на прелесть! Сиди в монастыре до безмятежных времен!

— Не могу, — ответил Иван, — у меня там мать, и жена, и имения. — И сказал неправду. О матери если и вспоминал, то с горечью. Нечаянную жену не любил и не вспоминал никогда. Именем больше никаким не дорожил. В живого царя Димитрия верил мало. Что же там? Посмотреть на мать, разъязвить сердце, чаяние небывшей радости и детскую память. Увидеть рябую жену, пожалеть — тиха или прибить с ненужного горя. Встретить царя Димитрия или чужого человека, назвавшегося именем того, кто столько обещал. «Чего я там себе жду? Ничего там для меня нет... Как бы узнать, что — правда и что — неправда».

Он посмотрел перед собой, туда, где стоял на коленях старец Леонид, и увидел — нет Леонида, а сидит на старой гробовой плите обезьяна, бьет оловянной кружкой об камень, прикладывает к камню ухо, будто хочет докричаться до преисподней.

— Ау, старец Леонид, отзовись! Было три Рима, и все три истлели! Пошлем князя Ивана на пепелище, пусть веселится!

Князь Аштон сказал:

— Безмятежных времен в этой стране больше не будет. Вы правы, третий Рим лежит в руинах.

Князь Иван схватил Аштона за плечо.

— Ты кому говоришь — мне или обезьяне?

— Какой обезьяне? — удивился Аштон.

— Не ходи, боярин, в разбойный мир! — услышал Иван плач Леонида. Старец, как прежде, стоял на коленях. — В монастыре тихо. За болотами укромно, спокойно. Схоронимся...

— А каково ваше мирское имя, старец Леонид? — спросил Аштон. — Гришка Отрепьев?



— Не знаю, каким именем меня Судия назовет. А мирское, мимо-текущее — забыл, — повторил Леонид.

— Слава богу, никого тут, кроме нас, нет, — перекрестился Иван. — Никакой твари. Ты меня, старец, не проси, не останусь. Поеду со стрельцами в табор, может, найду царя Димитрия.

— Царь Димитрий — или Григорий Отрепьев — мертв, — твердо сказал Артемий Аштон. — А тот субъект, что стоит табором под Москвой, — *furtum et figmentum\** поданных ничтожного короля Сигизмунда.

— Мера жизни — огонь и горе, — причитал, отходя прочь, старец Леонид. Он едва волочил ноги. Гремел оловянной кружкой, куда Аштон бросил грош. И пел:

Расплатится, растоскуется  
 Душа грешная, беззаконная —  
 Прожила я век, окаянная,  
 Всегда в лености, с нерадением.

В дороге стрельцы делились с князем Иваном хлебом, жалели: — Мать у тебя там и жена! В злом обдержании!

А под Вязьмой украли, пока он спал, все золотые. Сочувствовали Ивану, помогали искать, только ничего ни на ком не нашлось.

Князь Артемий Аштон всегда трапезничал в стороне, сам по себе. Его сума была полна и сала, и копченя. Стрельцы к нему не подступались:

— Не от нашей он стороны, басурман. Обычаи у них другие, поганные. И собака его больно зла, того гляди оттяпнет полруки.

Стрельцы жаловались на псковских воевод, говорили:

— Воеводы наши — нечестивые мытари. Несытые, все-то в мздоимстве, в грабежах. У царя Василия неправедные лизоблюды. А стрельцкие головы — подметчики, поклепчики, воеводины кормильцы. Вот погоди, дойдем до Тушина, возьмем с государем Димитрием Ивановичем Москву, царь нас пожалует, не обделит. Только и милости — царь да Бог.

Боярские дети — Фетка Муравьев, Фома Подщипаев, Мишка Обернибесов ехали в Тушино выпрашивать поместья. Мишка Обернибесов рассказывал:

— Был я на Поле у атамана Ворона Носа, потом у Митьки Беззубцева. С Поля пошел в Тулу с царевичем Петром, государевым племянником. В осадное затопление чуть сам не утоп. Вернулся в Псков восвояси, проведать родимцев. У меня там жена Маланья и детки — Путила, Курбат и Кирик. Скот давно весь прирезали. Хлеб пекут из лебеды, лепешки из коры. Рода я древнего, а без поместья, самим собою подняться нечем.

Фетка Муравьев погулял по Волге, в казаках, воровал, играл в зернь, бражничал. Говорил Ивану:

— Получу поместье и сейчас отдам в монастырь. Сам постригусь у преподобного Сергия, у Троицы. Много было бито, граблено, пора душу спасти. Плоть, князь Иван, она ух какая презлая!

Под Смоленском боярские дети забрали торговый обоз, разграбили. Фетка Муравьев взял себе толстую, большую маркитанку. На стоянках уводил ее в лес, за деревья. Вернувшись, присаживался рядом с князем Иваном, жаловался:

— Ох, князь, плоть наша, до чего она зла! — И смачно плевался в сторону маркитанки. — Погоди же, получу поместье, отдам в монастырь, сам посхимлюсь.

\* Уловка и умысел (лат.) — (Перевод автора).

Стрельцы налетали на уцелевшие от пожаров и разорения деревни, что могли унести, забирали, а остальное бросали в снег, в грязь, топтали лошадьми. Кричали, остервенясь:

— Мы были жжены, мучены, ничего у нас нет. А эти, гляди, как сыто живут! Мы их сейчас с собою сравняем!

Били утварь, секли двери, окна.

Князь Иван ни во что не вступался. Стрельцы ему пеняли:

— Баба ты, и твой басурман — баба. А еще боярин!

— Отчего ваши люди так беспощадны к своим соотечественникам? — спрашивал Аштон.

— От страха, — отвечал князь Иван.

Раз к нему подъехал боярский сын Фома Подщипаев и шепнул, озираясь, на ухо:

— Ты не царь Димитрий?

— Кто тебе такое сказал? — удивился Иван.

— Мишка Молчанов. Ты не бойся, я буду молчать, и ты молчи — до поры.

## 6

В Таборе первым из знакомцев князь Иван увидел Молчанова. К нему Хворостинина привел Фома Подщипаев. Мишка был пьян, ползал у своей палатки на коленях, что-то искал в снегу. Поднял голову, раздвинул в улыбке толстые свежие губы.

— Вот и ты, княже, к нам прилетел!

— Я не из Москвы, — сказал Иван. — С ливонской границы.

— И то добро, — отвечал, ползая в снегу, Молчанов. — Старый друг лучше новых двух.

— Что ты там, Мишка, в сугробе ищешь? — спросил Иван.

— Царя ищем! — загоготал Молчанов. — Ты как, не хочешь быть царем Димитрием? — Он поднялся с колен и показал князю Ивану серьгу с большим изумрудом:

— Нашел.

Хворостинин вспомнил, что видел серьгу среди драгоценностей, присланных принцессой Анной, сестрой короля Сигизмунда. Их показывал ему и царю Димитрию Немоевский, предлагал купить. «Я тебе ее подарю!» — обещал тогда царь Димитрий. А наутро его убили. «Когда же ты, Мишка, успел эту серьгу украсть?» — подумал князь Иван.

На высоком берегу Москвы-реки, на мысу, там, где в нее впадает речонка Выходня, стоял свежерубленный царский дворец. На башнях трепались на слабом ветру красные, с черным орлом, штандарты царя Димитрия. А кругом, вперемежку, сквозные избы, землянки, грязные побуревшие палатки, две-три церкви, казацкие и маркитанские обозы. Целый город. По площади перед дворцом бродили худые злые псы. Торчала на колу голова польского пана в бобровой шапке.

— Пан Меховецкий, — кивнул в сторону головы на колу Молчанов.

На длинных сивых усах Меховецкого застыли сосульки, остекленевшие голубые глаза смотрели на леса за Москвой-рекой, на дальние дымки, туда, где начиналось непрочное царство царя Василия.

Через площадь проехал боярин в красном возке. Потом пьяные ляхи верхами, казаки. Проехал в санях польский пан в обнимку с визгливой маркитанкой.

— Пан Бобовский гуляет, — сказал Молчанов. — Вернулся из Коломны.

Некрещеные татары проскакали следом за мурзой в ватном зеленом халате. Кричали:

— Алла Бисмалла!

Лицо мурзы показалось Ивану знакомо.

— Кто это? — спросил он Молчанова.

— Царевич Муртаза, племянник царя Симеона. Вчера перелетел из Москвы.

Во дворце, ожидая царя, сидели по лавкам в сонной дреме бояре. Хворостинин увидел князя Ивана Катырева-Ростовского, подошел.

— Вот и ты тут, Ваня, — сказал безрадостно Катырев. — Все мы, гляжу, ныне ослабели. Одни от страха, другие от прелести.

Сидевший рядом грузный Михайло Салтыков очнулся от дремы, недобро покосился на Катырева.

— Царство шубника непрочно, — громко, будто оправдываясь, сказал Катырев. И — тише, одному Хворостинину: — А куда податься? Кроме Тушина, некуда.

— Да увидим ли мы царя Димитрия? — зычно, по-хозяйски спросил Молчанов.

— Царь в бане моется, — ответил сидевший на крайней лавке у двери монах. — Отрясает слепоту во купели. Все ждем.

— И ты здесь, старец! — засмеялся Мишка. — Давно ль царю Василию крест целовал?

— Из нужды целовал, со слезами, — отвечал чернец.

— Кто он? — спросил князь Иван у Молчанова.

— Келарь Авраамий от Троицы.

Келарь отвернулся в сторону, пробормотал, а Иван расслышал:

— Молчат ныне древние, велеречат новые.

— Ты что это с Мишкой Молчановым дружишься? — шептал Ивану князь Катырев. — Черно книжник он, крадлив, блядлив.

Иван долго царька не разглядывал, не надо было. Услышал только голос, высокий, с хрипотцой, чужой, понял — значит, не он, не настоящий. Бояре сошлись у трона, заговорили разом.

Молчанов подтолкнул Ивана:

— Назовись, он тебя сейчас узнает. Или соврет. Может, сразу боярство пожалует. Кравчим тебе, как прежде, не быть, я у него кравчий.

Целуя царскую руку, князь Иван разглядел пальцы — в толстых узлах, с темными ногтями, с заусенцами.

— Чем мне тебя, князь, пожаловать? — спросил царек.

И вдруг сморщился чужим, незнакомым Ивану лицом, замотал худой, красной шеей, запричитал:

— Сбежал я в лихую ночь из Москвы, от родной матери, от милых приятелей, ничего не захвативши! Все, что было, роздал! Золота мне не надо, дорога мне дружба, дороги верные слуги.

Царек подошел к окну. Посмотрел на площадь, где торчала на шесте голова пана Меховецкого, и заплакал:

— Да не обладает мною всякое беззаконие! Вот и друга моего, яснoveльможного Меховецкого, с телом насильно разлучили. Ахти мне, вижу себя в обдержании, вижу в тесноте и мучительстве!

— Гордые смиренного всегда грызут, — посочувствовал Нагой.

Царек положил голову дяде на плечо:

— Одна надежда на вас, милые родичи. И на дорогих сердцу друзей. Дайте срок, взойду в Кремль, обниму заточницу-матушку. Того больше не будет, что я в первый год натворил! К мощам — поклонение, к вере — уважение.

Царек вытер слезы, оправил на себе парчовые, похожие на епископские ризы. Снял с пальца перстень с крупным алмазом и подал князю Ивану:

— Жалую тебе, князь, за приезд. Будешь верно служить, ничего не пожалею, последним поделюсь.

— И зачем он вам такой? — спросил, отойдя, князь Иван у Молчанова.

— Какой есть, другого не сыскали, — отвечал Мишка. — Коли тебе не по нраву, ступай в Москву, к царю Василию... Хорош камень! — сказал он с завистью, любуясь подаренным Ивану перстнем.

Вечером Ивана позвали на пир. Он сидел за столом между князем Катыревым и келарем Авраамием.

— Вот и я тут, слабый, — бормотал Катырев, напиваясь ренским. — А давно ль стоял в Успенском соборе, к патриаршим ризам припадал, кричал: «Во всем виноват, честной отец!» И вот опять виноват.

— Ты, князь Иван Андреевич, все смотри и примечай, — шептал Ивану келарь Авраамий. — Не угадать, на чем свершится!

Ростом он был мал, телом крепок, волос на вид будто грязный — светлый, со многой сединой. Его часто подзывали к своему столу поляки, князь Адам Вишневецкий, Тышкевич, ротмистр Бобовский. Он к ним не шел, а полз, до того был согбен. А отходя, украдкой крестился и отплевывался: «Тьфу, оскверненные языки, люторы, римляне».

— Терпи, старец, — утешал Иван, — терпеть надо, за всего мира безумное молчание.

— Витиевато ты говоришь, красиво, — радовался Авраамий. — Я запомню. У меня всякое лыко в строку.

Государыня Марина пришла на пир, похожая, а будто чужая. Он к ней подошел, поцеловал руку в кружевной фламандской перчатке. Увидел, что нос у нее стал острее, а глаза — старше. Она на него взглянула, но глаз не задержала.

— А ты, ксенжен, постарел! — только всего и сказала.

Позади царька стоял большой кованый короб и при коробе каравул — татарин с бердышем.

— Что у него в том коробе? — спросил князь Иван келаря.

— Казна, — ответил Авраамий.

Принесли блины, и чашник, князь Урусов, объявил, что блины прислала королева Ливонская, старица Марфа. Вдруг в сенях послышался шум. Царек в ужасе посмотрел на двери и бросился вон из-за стола.

— Децимвиры идут! — закричал он и пал животом на короб.

Гребя саблями, в палату вошли князь Рожинский, пан Млоцкий и с ними восемь поляков.

— Это подношения! — кричал, лежа на коробе и обхватив его руками, царек. — На церковь подношения, сейчас получил для патриарха Филарета!

Рожинский, сильно хромя на левую ногу, подошел к царьку, взял его за шиворот и стащил с сундука. Рывкнул:

— Я над тобой накудесю, святитель! Костей не сочтешь!

Марина сидела, не шевельнулась. Царек заполз под стол и оттуда подвывал:

— Повергни меня на стогны, где меня и нашли. Не хочу твоей славы! Хочу покоя! Отпусти!

— Я тебе башку сорву, курвин сын! — кричал на царька Рожинский.

Пан Млацкий открыл короб, пропустил в горсти золотые монеты:

— Добре злато!

Бояре смотрели, молчали. Один Михаил Салтыков подал голос:

— Ты, князь Романе, не шибко его бей. Он хотя и тщедушный царек, а полезный.

Рожинский сел на царское место рядом с Мариной, выпил залпом кубок, обвел палату мутным взглядом и сказал:

— Табор сожгу и уйду! Не золото мне дорого, дорого мне рыцарство, дорога слава.

За его спиной пан Млоцкий и пан Валяевский считали золотые монеты — жалованье честному шляхетству.

Наутро в Таборе был рокош, люди пана Тышкевича стреляли людей князя Рожинского, горел в разных местах дворец, а царек тайно утек в Калугу в телеге под дровами.

— Попила литва, попиrowала, порыцарствовала, — радовался Авраамий. — Теперь пора и нам за дело браться.

Иван попросил у него розвальни ехать в переславскую вотчину, проведать мать.

Авраамий, подумав, дал и потом напомнил:

— Не вернешь, не мне будешь должен, преподобному Сергию.

День был тихий, сырой, пасмурный. Мерин бежал легкой рысью по укутанной дороге. В розвальнях на сене было тепло, клонило в сон. Снег еще не слежался. То и дело мелькали заячьи следы на снегу.

Он вспомнил, когда в последний раз травил зайцев. Было это давно, на царской охоте. Они с царем ждали на опушке, когда быстрые приведут зайца, и царь Дмитрий рассказывал, как ехал ночью с Константином Вишневецким в Самбор — скакали гайдуки по обеим сторонам возка, в лесу выли волки на полную луну. Царя Дмитрия удивили соты-окна Самборского замка и горящие площадки на площади. Вышел к Дмитрию будущий тесть, воевода Юрий Мнишек, капли пота блестели на толстом носу. Потом вышла Марина, совсем девочка. Она показалась Дмитрию некрасива, одни глаза были хороши — большие, умные...

«Где она теперь?» — подумал князь Иван. Уезжая из Табора, он видел, как она, пьяная, брела, увязая в снегу, к палатке ротмистра Бобовского.

Мерин громко заржал. Иван очнулся от дремы и увидел близко двух верхами, должно быть, только что выехавших из ельника. Он хотел было ударить кнутом лошадь, чтоб бежала шибче, как вдруг услышал знакомый голос:

— Что, Иван, своих не признал?

К нему подъезжали Мишка Молчанов и князь Василий Масальский. Мишка Молчанов, ловкий, увертливый, еле сдерживал своего ногайца.

— Мы с Васькой едем в Самбор и дальше в Краков, просить королевича Владислава на царство. Хочешь с нами? В прошлых годах я там неплохо пожил. Перстенок-то у тебя с собой?

— Ты ему зубы не заговаривай, — сказал Масальский. — Разве не видишь, никакого оружия на нем нет. Мы его быстро кончим.

Князь Иван увидел, как Васька Масальский стал доставать из голенища нож. Испугаться не успел, только подумал: «Кому под силу принять на себя меру содеянного людьми?»

— Не дрожи, Ваня, — говорил, склабясь, Молчанов. — Это не страшно. Не бойсь, мы тебя в поле не бросим, как нелюди. Отвезем честное тело к матушке, к княгине Гликерии. Ох, и напьюсь я на твоих поминках! А потом погляжу, может, согрею княгиню в ее вдовстве, в новом сиротстве.

— Не время еще, погодите своевольничать! — раздался тонкий голос с верхушки высокой сосны.

Иван посмотрел вверх, подняли головы и Молчанов с Масальским. На сосне сидела обезьяна в бархатном кафтане. Масальский выронил нож в снег, перекрестился. Молчанов закричал в страхе, завыл:

— Сам без вины! Это меня немка в литовских городах испортила! А сам без вины!

Мерин встал на дыбы, чуть не вывалил Ивана из розвальней и понес во всю прыть прочь.

Старый княжий двор стоял за Переславлем, на холме, через овраг от Данилова монастыря. В детстве его привозили сюда из Москвы после Троицы на все лето. Здесь умер отец, князь Андрей Старко. Здесь Иван гонял голубей, ходил с дядькой купаться на Плещеево озеро, здесь Иван научился охотиться. С годами дом на высоком подклете сильно обветшал, потемнел, тын погнил, местами обвалился, и теперь, подъезжая, он порадовался, что мать поставила новые крепкие ворота и изгородь, обшила дом тесом, надстроила верхние терема.

Она встретила его на крыльце, на обледенелых ступеньках, просто-волосая, в одной телогрее. Заплакала. Ее синие глаза заметно посветлели, темные волосы заткала седина. Он поднял ее с колен, поклонился низко, поцеловал.

— Откуда ты, Ваня? — только и спросила.

— Из странствия, — ответил он и протянул ей кольцо, пожалованное Тушинским царьком. — Тебе гостинец. Возьми от греха подальше! Мишка Молчанов за этот перстень чуть меня не зарезал, спасибо обезьяна спасла!

Она надела перстень на безымянный, свободный от колец палец, долго любовалась камнем, будто не слышала слов сына. А потом всплеснула руками:

— Мишка?! Быть того не может! Ты ему, верно, сказал обидное слово. Язык у тебя, Ваня, острый, злой... Обезьяна еще какая-то! Так, твое мечтание. Ох, Ваня, когда ж ты на земле-то жить будешь, да чтоб с людьми...

Они стояли в сенях. Мерцала лампада в нише перед иконой. Чистые стены пахли пивом, а воздух — сухими травами. Мать была тут, рядом, а радости, что дома, у князя Ивана не было. И так с детства, сколько он себя помнил. Он ее ждал, чтоб пришла, обласкала, похвалила. Она приходила, целовала, будто чужого, в щеку холодными губами и за все пеняла: то не так одет, то плохо читал, то был слишком резв, то — не по годам тих. Была княгиня Гликерия молодой женой при старом хвором муже: князь Андрей лежал бессловесен и глух, ничего не разумел, и она в сердцах выговаривала его сыну: «Вы, Хворостинины, — гнилая порода, крошечники, в пыточной вам место, у дыбы, не средь добрых людей». Маленький Иван не понимал, плакал. Лет пяти он стоял с ней на долгой монастырской службе в Даниловом монастыре, томился, разглядывая стенное письмо — архангел Михаил на горе Елеонской водит Богородицу по мукам. Там были вялые желтые тела в огненной реке, одни по пояс, другие до подмышек, третьи по шею, а иные и с головой. Он спросил, за что эти души преданы лютой казни. Мать сказала строго:

— Это те, кого прокляли отец с матерью, за то они и мучаются. Ослушаешься нас с отцом, и мы тебя проклянем.

Он отца не боялся, тот давно лежал нем, а вот матери с тех пор испугался — на много лет.

— У меня гостья, — сказала княгиня Гликерия. — Екатерина Шуйская с выводком. Жены твоей, Марьи, в доме нет. Не понравилось ей у меня, отъехала к Голибесовским, к дяде.

Екатерина Григорьевна Шуйская, сестра удушенной царицы Марьи Годуновой, была скуласта, как сестра, и глаза имела те же, злые, отцовские, Малютины. У окон, поодаль, за вышиваньем сидели пять девиц Шуйских, востроносые, мелкокостные, племянницы царя Василия.

— Государевы невесты, — сказала княгиня Гликерия.

— За какого же царя вы их будете сватать? — спросил Иван.

— А какой прищется, — ответила Шуйская. — Только за другого расстригу, за поядателя человеческих душ не отдам!

Она смолчала с минуту, потом сказала, не утерпела:

— Вон она как взыскалась на воре Гришке, сестрицына кровь! Иван тоже не удержался:

— Как же муж твой, князь Димитрий, и деверь, царь Василий, вору Гришке крест целовали, встречали с хоругвями? Не с их ли ведома сестру твою, царицу Марью, задавили и племянника твоего, Федора?

— Злой ты, Ваня, недобрый! — укорила его мать.

— Бог попускал, а враг действовал, — ответила Шуйская.

— Врешь ты все, княгиня, — сказал Иван.

Выходя из палаты, слышал, как княгиня Катерина, плача, шептала:

— Я-то что, Господи! Я-то что! Это все Васька да муж мой Митька! Горемычная ты, Марья, сестрица моя бедная! Погубили тебя злой смертью!

В верхней горнице, где лежал когда-то отец, печи были натоплены жарко. Он не мог уснуть, сидел, прислонив голову к баяласине, открыл окно, смотрел на запорошенные снегом заросли ольхи у Трубежа, на Ярилину Плешь, на переславские колокольни, на едва белевшиеся за Плещеевым озером стены Никитского монастыря.

Во сне он плыл на плоту по Плещееву озеру, а с ним было двое, человек и обезьяна. Он хотел разглядеть лицо человека, запомнить — и не мог. Взглянул на берег — там стоял Кремль и царев Борисов новый дворец. В окнах сидели царь Димитрий, Тушинский царек, царица Марина Юрьевна, царь Василий. Обезьяна закричала с плота:

— Христос Воскресе, царь Димитрий! Прыгай к нам на плот, да леко уплывем!

— Какой Димитрий вам надобен? — спросили с берега.

— Какой хошь, любого берем! — отвечала обезьяна. — Прыгай!

— А меня?! — попросил царь Василий.

— Тебя возьмет она! — отвечала обезьяна.

Иван увидел, что от Ярилиной Плещи, от их усадьбы идет за царем Василием — а вода ей в озере по щиколотку — огромная позолоченная баба, держа обеими руками над головой черную чашу.

У Голибесовских в вотчине на месте дома темнела едва припорошенная свежим снегом яма. На дворе между замерзшей крапивой и седыми метелками таволги валялись дымившиеся головешки. Из всего поместья уцелела одна изба под старой березой. Он долго стучал в кривую, иссеченную саблями дверь. Открыла Домна, ключница старого князя. Увидев Ивана, заплакала:

— Погорельцы мы! Все литва спалила!

— А ты бы не ворожила в старой ржи! Накликала беду! — закричал старый князь.

Голибесовский сидел на печи, свесив босые грязные ноги. Изба была завалена обгорелым добром. Старик хотел слезть с печи, шарил, ища палку. Устал, махнул рукой:

— Слепой стал, глаза что плоски, а не видят и ложки.

— Где жена моя, Марья? — спросил Иван.

— Люди стали убывать, а земля начала быть пространнее, — прошамкал Голибесовский. — Нету Марьи. Все равно жить негде. Везде пожар. При последних временах оно так и бывает.

— Ты, князь, дячку прости, стар стал, невнятен, испугался, — оправдывалась Домна. — В Москве княгиня Марья. Там царь Ладислав утверждает, так чтоб ваше добро сберечь.

— Зачем тебе Марья? — спросил Голибесовский. — Ты сам себе в тягость. Эх-ва, отдал девуку кромешникам, блудникам, опричному роду! Иван не засиделся, вышел из избы вон. Домна в дверях его крестила, кланялась, плакала. Старый князь кричал ей с печи:

— Домна, кто сей час у нас был? Гришка-вор или еретик Ванька? Эх-ма, век притворный, првременный . . .

Он подъезжал к Москве со стороны села Алексеевского, низким берегом Неглинной. Места кругом были унылые, сиротские: мерзлые камыши, кучихлама и лошадиные остовы у реки, кривые ветлы там и сям, покинутые хутора, ободранные часовенки, разбитые амбары, обуглившиеся бревна. Из серого снега торчали почерневшие печные трубы. Таяло. Со стороны Москвы ветер доносил запах гари, слышны были пальба, гул колоколов.

За Божедомкой, у Напрудного-в-Поле, среди полусгоревших деревянных башен стоял полукругом польский обоз.

«Да это Скородом!» — узнал князь Иван. Сюда он ездил весной с царем Димитрием глядеть, как строят Гуляй-город. Москвичи окрестили поле Адом, сюда привезли тело царя Димитрия или того, кого они убили, — и тут сожгли.

Иван подъехал ближе. И увидел две большие деревянные клетки, стоявшие на телегах. В одной, завернувшись в медвежью полость, храпел боярин в бобровой высокой шапке и овчинной шубе. В углу другой, скрючившись и дрожа, сидел монах в накинутах на рясу бараньем ксжухе.

— Князь Иван, а князь Иван! — позвал монах. Его дребезжащий голос показался Ивану знаком.

— Откуда ты меня знаешь, старец? — спросил Иван.

— Я твой законный государь, как мне тебя не знать! — обиженно сказал чернец.

Иван пригляделся — в клетке сидел царь Василий.

— Сострадай, Иване! — заплакал Шуйский. — С престола сведен, насильством пострижен!

— Кто ж тебя постриг? — спросил Иван.

— Князь Гришка Тюфякин с товарищи, чужого спасения окаянные рачители! Гришка теперь — монах, не я, Гришка обеты говорил.

— Не жаль мне тебя, царь Василий, — сказал Иван. — Я от тебя все принял — гонение, грабление, тиранство.

— Я был незлобивый пастор! — плакал Шуйский.

К клеткам подъехал наемник-немец в кирасе и с мушкетом. Князь Иван его узнал — Георг Шварцкопф был телохранителем царя Димитрия.

— Морген, князь! Давно не виделись! — Указав рукой в стальной перчатке на клетки с Шуйскими, он сказал: — Не правда ли, недурной улов?! Мы уже повесили кучу подложных царевичей — царевича Августа, царевича Ерощку, царевича Петра, царевича Гаврилку, царевича Мартынку. Теперь пришел черед и законного царя. Жаль только, что он больше не царь, а монах Варлаам.

— Куда вы его везете? — спросил Иван.

Шуйский из клетки подал голос:

— Везут меня с братцем Димитрием к оскверненным языкам!

— В Варшаву, в зверинец, — ответил немец. — А вы, князь, — в Москву?

Иван кивнул.

— Не советую, — сказал Шварцкопф. — Metropolis Russiae обратилась в грязь, прах и пепел. Поляки бьют москвитов. Весь город горит. Последние дни мне казалось, что там поселился князь Ада со



своей родней, с муттер унд гросмуттер. Кстати, ваш друг, капитан Якоб Маржерет, — в Кремле. Надеюсь, вы застанете его живым.

— Умру я в поганой Литве, ох, умру! — плакал в своей клетке Шуйский. — Хоть бы мертвым меня домой привезли! Положили бы у Архангела, на той стороне, где опальные князья кладутся. Или в Суздале, к пращурам под бочок, у Рождества. Там гробы холодные, каменные, а все ж свои.

— Ты в воскресение мертвых веруешь, царь Василий? — спросил Иван.

— Верую, — твердо ответил Шуйский и перестал плакать. — На Страшном Суде сначала все друг друга узнают, потом только праведные, а грешные — нет.

— Ну так, значит, мы с тобою больше нигде не встретимся, — сказал князь Иван. — А что, узнает душа свое тело, оставив его некогда тленным?

Шуйский выпрямился во весь свой маленький рост:

— Тебе, князь Иван, ни тела своего, ни души не узнать — ни в сем веке, ни в будущем! Будешь всем странен, будешь в поношение и во стыд!

Князь Иван вздрогнул. Он уже слышал эти слова. Немец Шварцкопф рассмеялся:

— Пророки, инок Варлаам, кончились во времена Артаксеркса!

7

Опять был февраль. Воздух стал сырым, посвежел. Заголубел снег. За печкой ожил сверчок. Старец Иоасаф, в миру князь Иван Андреевич Хворостинин, встал, не помолившись, только попросил ангела помочь перенести утомление наступающего дня.

Минувшей ночью ему снилась царевна Ксения за вышиваньем. Сидела она в Китайгородской башне на Варварском крестце, смотрела из окошка, как царевна Елисава на образе Егория Победоносца. Он вошел, она уронила на колени иглу; золотые нити завились вокруг худых пальцев.

— Холодно у тебя в башне, царевна, — сказал Иван. — Сама сидишь в обдержании, в тесноте, будто Елисава.

Ксения ему кивнула и заплакала:

— Только ты не Георгий Храбрый, а Иван.

Он смутился и спросил ее, как тогда, в Горицах:

— Что у тебя там теперь?

И она ответила, как тогда:

— Покров на плащаницу «Не рыдай Мене, Мати».

Подскочила послушница, карлица, лицо с печеное яблоко, расправила пелену. На плащанице был он, Иван, а над худым его телом склонились женщины — мать, княгиня Гликерия, царевна Ксения, государыня Марина Юрьевна, жена Марья. Он взглянул на царевну удивленно. Она снова заплакала:

— Жалко мне тебя, Ваня, раз ты в воскресение мертвых не веруешь.

Он вышел на крутую, холодную лестницу, послушница кричала ему вслед:

— Ветер будет, ух, ветер будет зол!

На дворе подошел незнакомый чернец, позвал в Иерусалим:

— Вместо веселее пробираться. Да чтоб не увидеть большей печали.

— Кто ты, я тебя не знаю, — отвернулся Иван.

— Старец я, Леонид, Крыпецкого монастыря.

— Мне бы лучше во Флоренцию, — ответил Иван. И проснулся.

Звонили к поздней обедне. Он сошел в монастырский двор. На глубоких, ставших оседать сугробах лежали голубые тени. Было пусто и тихо, слышно было, как за стеной, в Митушинском овраге, вызванивали свистели.

Он хотел пойти в новый собор, но передумал, свернул к палатке Годуновых. На старой ели над годуновскими могилами играли белки. Детеныш прибывал к верху высокой липы скворешню. Иван сел на скамью, ту, на которой прошлый год плакал Жатырев. Сказал тихо, будто говорил с живым человеком:

— Спасибо тебе, царевна. Не забыла.

Подошел вразвалку чернец с татарским лицом, широкие скулы, узкие глаза, волос прямой, черный. Ивану лицо показалось знакомым.

— Я тебя видел, Муртаза, — сказал Иван. — И дядю твоего знал, царя Симеона.

— Какой был радостный земной слава — весь умер, весь истлел. Царь Саин-Булат умер, и царица Настасья умер. Один обезьян живой.

— Что ж, и ты инок?

— Был багатур Муртаза, стал инок Мисаил, Москва все забрал, — равнодушно ответил царевич Муртаза. — Человек как озеро, сколько в него ни бросай, не насытится. Умрет и пылью сыт будет. Тебе тут, мирза, якши?

— Хлеб ем, яко пепел, — вздохнул Иван. — Питье слезами растворяю.

— Сам лежу на монастырской соломе, как собак, коли накормят, коли нет, — откликнулся Муртаза. — Один обезьян остался, а так — все истлел.

Наверху, на липе, детеныш никак не мог прибить скворешню к крепкому стволу, чертыхался.

— Эй, царь Московский! — кликнул Муртаза.

Неведомо откуда взялась большая обезьяна в широкой шляпе, в немецком кафтане, в ботфортах, морда повязана теплым платком. Ловко полезла на дерево. Детеныш закричал, выронил скворешню, сам бросился вниз, в сугроб.

— Мой обезьян, — ласково сказал Муртаза. — Старый стал, злой стал. Холодно ему тут. Дрожит.

Князь Иван вышел из Святых ворот, не крестясь. Забрел на посадский Торг. Пахло горячими калачами, дымком, рыбой, кислыми щами. В Старом капустном ряду его поймал за рукав рязанец:

— Согбенный ты какой, старец Иоасаф, а вроде не стар. Каешься, небось, в своем злом разуме?

— Нашел я царевича Муртазу, помнишь, ты обещал. А сам-то где был? Я тебя давно ищу, с той поры, как мы на Красный Пруд ходили.

— Куда же мне от вас, детей праха, деться? — заблеял рязанец. — Всегда тута, всегда в делах, всегда в хлопотах.

Они шли по рядам, пробовали моченья. Рязанец вился около Ивана то с одного бока, то с другого.

— Обезьяну царевичеву видел? В лицо ей заглядывал? — спросил рязанец, пробуя моченое яблоко.

— Не-е-т, — холодея, ответил Иван.

— А вот бы и заглянул! Чудодейственное сходство! — хихикнул рязанец.

Бросил на землю надкушенное яблоко:

— Я больше редиску люблю, красную, не белую.

И дунул прочь от Ивана, под гору, к Подольному монастырю.

У Хворостинина потемнело в глазах, кровь прилила к вискам. Он остановился перевести дух, а когда опамятовал, побежал за рязанцем, крича:

— Ты мой томитель! Ты мой нападатель! Расточись!

В келье в солнечном столбе, протянувшемся от окна, плясали пылинки. Пел за печью сверчок. Иван все не мог успокоиться, дрожал. Постучал к соседу, старцу Иллариону Бровцыну.

— Старец Илларион, ты крылошанина рязанца знаешь? Чей он?

— Знаю, Гурием зовут. Говорил, Старобершавины они, рязанские дети боярские. Только никакой он не Гурий, а бес. Черт он, а не крылошанин. Для нашего соблазна прислан. Братия за ним еще с польской осады приметила. Смотри, рядом с ним не ходи, а уж коли придется, держись позади, а то след твой испортит бесовскими мечтаниями.

— Боюсь я его, — признался Иван.

— А ты не бойся. Дал нам Бог не духа боязни, но силы и любви. — Старец Илларион протянул Ивану четки: — Возьми, гранатовые. Гранат веселит сердце.

Сердцу доброго веселья не было. Пока он писал «Словеса Царей и Дней», пока припоминал московские грехи, жило в нем злое веселье, жила обида, жила месть. И тогда, если бывал доволен еще одним отличием, клал перо на налой и ходил по келье, напевая кондак — «Конца час помысливши, душа, данный тебе талант не призри».

А в январе, в Неделю о Блудном сыне, кончил писать «Словеса».

И вспомнил пустой Ростов, май, рано зацветшую черемуху. К низкому озерному берегу в молодой осоке подплывали раздувшиеся мертвецы. На кремлевской звоннице висели торговые люди, те, кому нечем было откупиться от честного рыцарства пана Струся. Он сидел с польской ватагой под шумливой березой у Спаса-на-Песках, пил водку, а мимо брели восвояси убежавшие было от поляков горожане. Ивановы товарищи им кричали: «Эй, курвины дети, москали, что, соскучились в лесу по блинам и водке?»

К нему подошел инок Александр из Борисоглебского монастыря. Открестился от поляков, сказал:

— Я теперь знаю, когда будет духовный рай.

— Когда?

— Когда вся земля огнем обновится.

За спиной Александра горело село Богословское на Ишне, в разных концах Великого Ростова занимались новые пожары.

— Ты про все это напиши, князь, — попросил Александр.

— Напишу, — обещал Иван.

Теперь он написал. И усомнился. Все были грешны, и всяк по-своему прав. Никто не хотел принять на себя меру содеянного.

Ему часто стали сниться знакомые мертвецы. Ивашка Заруцкий на колу. Государыня Марина, утопленная в большом банном чане. Снились мертвые Годуновы, мать и сын, в открытых каменных гробах: старые клячи еле тащат скрипучую телегу, кругом лебеда, крапива.

Снился Василий Шуйский в клетке, маленький, мертвый, острый нос, редкая борода клином, точно прирезанный старый петух. Шуйский лежит на руках у огромной бабищи, а Богдан Бельский ей говорит: «Он был добрый пастырь. Снеси ты его, мать, в холодный чулан». Снился царь Димитрий — в маске, в овчине, с дудкой, и на его животе — голова Петра Басманова, русые волосы и борода слиплись в ржавой крови.

Снилась царица Марфа Нагая. Он ее спрашивал: «Как же можно отречься от сына?» А она отвечала: «Омрачением бесовским». И тут же крестилась, плакала, говорила иное: «Не сын он мне, не сын. Грозил злой смертью, я для его угрозы объявить в народе его воровство

явно не смела». — «А кто, Марфа, плакал?» — «Странность и темнота», — отвечала Марфа и отворачивалась.

Снился Мишка Молчанов: нагоняет, грозит длинным ножом, сейчас зарежет, а подскакал — у самого в животе торчит нож. И человек этот уже не Мишка, а Мартын Стадницкий с ножом в животе. Мартын говорит Ивану: «Как же ты забыл, Иван, что человек грешен не по своей вине?»

## 8

Прошло без малого двадцать лет с того мая, когда убили Дмитрия и Мартына, и много всякого было, но тот год так и остался главным в его жизни, тот первый страх и та первая надежда.

После встречи с Шуйским на Скородоме князь Иван в Москве долго не задержался. Да и не было больше Москвы. Стояло несколько каменных церквей, на них день и ночь били в колокола, а остальное — большое, курящееся дымом пожарище: остовы домов, лавок, церквей, амбаров, стен.

Чертолье было сровнено с землей. Он нашел жену Марью в погребке, том, где сам прятался после убийства царя Дмитрия. В погребе негде было повернуться от сволоченного из сгоревших хором добра. Воздух стоял тяжелый, кислый, кругом саж.

— Все спасла, ничего не пропало, — встретила его Марья.

— Уцелела, — с досадой сказал Иван. — Как карась, в грязи валяешься, даром что на золоте ешь. Как же ты тут от тесноты и духа не умерла?

Он велел Марье и бывшей с нею дворовой девке вылезти. Засыпал погреб землей и древесным пеплом. На Никитской налетели два пьяных поляка, хотели отбить женщин, стали было его одолевать, но подоспел Яков Маржерет, уложил одного из мушкета, а другой убежал.

— Вот и увиделись, дюк, — радовался Маржерет. Он проводил их до Наплавного моста через Москву-реку, рассказывал, что служит теперь Гонсевскому. Был доволен, что хорошо поживился при последнем бунте, взял корону и скипетр царя Ивана.

— Я у вас в Москве душу выбросил в окно, пусть подберет, кто хочет.

Бранил поляков за безрассудное расточительство:

— Как можно заряжать мушкеты жемчугом!

У Водяных ворот им встретился пастор Мартин Бер. Опершись о березовый кол, он созерцал равнину, еще недавно бывшую шумным Чертольем. Там и сям дымились недогоревшие головешки.

— Вот как карает Бог Москву за эпикурейское содомитство!

— Я и сам давний почитатель Кальвина, — отозвался Маржерет, — но уж это вы чересчур, пастор!

У Наплавного моста Иван с ним попрощался.

— Теперь навсегда, дюк, — сказал Маржерет. — С меня довольно. Я скопил достаточно, чтобы удалиться под буколическую сень родных лип и каштанов. Буду перечитывать Теренция и Плавта. Примусь, наконец, за Софокла... Из этой жизни, Жан, хорошо уйти, как с пира, не томясь жаждой, но и не упившись.

В Замоскворечье Иван довел женщин до Воронцова поля. Сторговал у пригородных мужиков клячу и сани:

— С Богом, Марья, езжай в Дратниково, там спокойно.

Она было бросилась к нему на шею, прощаться. Он ее отстранил:

— Смотри, слезами меня не запрыскай. Видеть тебя более не хочу. Ты мне не находка.

Следующим летом он казаковал с паном Песецким, ходил аж до Устюжны. Зимовал на Белоозере, подступал с поляками под Кирилов монастырь; стены там оказались крепки. Пан Песоцкий на приступе провалился под лед, утонул.

В Тихвине встретил царицу Анну Колтовскую, четвертую жену царя Ивана. Введенский монастырь был сожжен литовцами, царица скиталась по дворам, просила милостыню. Иван подал ей хлеба:

— Ты, говорят, царица Анна?

Она ему поклонилась:

— Старица я Дарья, а прошлого не было.

Она стояла перед ним на дворе босая. Съела хлеба самую малость, а остальное покрошила птицам. Слетелись воробьи, синицы.

— Темно кругом, — сказала царица. — Омрачились люди в житейских страстях. Отомстил господь царю Ивану и нам с ним. Наслал прах земли, окаянного чернеца Гришку.

— Вздор ты говоришь, — сказал Хворостинин. — Царя Ивана давно нет.

— Иди в чернецы, князь, — сказала на прощанье царица Анна. — Бог даст, избавишься от обстоящей тьмы.

В Угличе городские деревянные стены обвалились, кровли на башнях погнили, ров зарос и во многих местах заплыл. Князь Иван жил там с месяц и больше. Ходил на царевичев двор, разыскал в слободе мордовку, она отвела его на погост, на могилу принца Густава. Креста не было, на еле заметном холмике цвели в густой траве сурепка, полынь, наперстянка. Иван повадился ходить на погост, поминать; напоминаясь, засыпал тут же, в жирной высокой траве. В пьяных снах не видел ничего — одних ползающих в радужном свете муравьев. И только раз, в сумерки, когда, похмельный, проснулся у Густавовой могилки, а может, и не проснулся еще, услышал знакомый голос: «Вот вы и опять здесь, фюрст! В наше последнее свидание я забыл вам рассказать, что Аристей завещал своим ученикам тайну — как сообщать всем металлам прозрачность, а человеку бессмертие. Заморозьте воздух, а потом очищайте до тех пор, пока он не превратится в жидкость...»

К Ивану подошла мордовка, конопатая, лицо блином. Позвала:

— Вставай, князь, земля притянет. Небо вон как вызвездило...

Он шел за мордовкой по мокрой вечерней кладбищенской траве, спотыкаясь о кусты лещины и черной бузины, и опять услышал донесшийся уже издали голос: «Не забудьте: меркурий... ляпис...»

Еще два года князь Иван Хворостинин стратилатствовал в ратях, бился с русскими, бился с казаками, бился с литвою. И по дороге в Москву из Козельска, из отъезжего заставного караула, заехал в Коломну. Там сидел на воеводстве свояк, Семен Пасынков. Вышел встретить Ивана на крыльцо, отечный, одышливый, в заплатанном кафтане:

— У меня воруха Маринка с воренком в башне сидят, может, навестишь? Только прежде в пытошную заглянем. Дружок твой давний, Мишка Молчанов, висеть на дыбе соскучился. Крадлив, блядлив, престник и звездочетец, ан и попался.

Мишка висел на дыбе, закрыв глаза, в забытьи. Семен Пасынков пихнул его дырявым сапогом. Молчанов открыл глаза, узнал:

— Я тебя, Иван, любил, — сказал он с дыбы.

— Потому и хотел убить? — спросил князь Иван.

— Ах ты, Каинов внук! — сплюнул Пасынков.

— Не догулял я! — вздохнул Мишка. И засмеялся неожиданным смехом: — Здорово ты меня, Иван, обезьяной напугал в старые годы!

Хворостинин подъехал к оконцу-бойнице, привстал на стременах, позвал:

— Государыня Марина Юрьевна!

Услышал залиvistый детский плач. Из темной бойницы откликнулись:

— Что тебе, ксенжен?

Иван разглядел длинный нос. Сверкнул камень в серье.

— Ты государя Дмитрия Ивановича любила? — спросил, помолчав, Иван. Ему не ответили.

— Чей это сын у тебя? — опять спросил Иван.

— Царя Дмитрия, — глухо, будто эхо, ответила Марина.

Ветер донес от Оки запахи полевых цветов.

— Хочешь, я младенцу венок сплету? — предложил Иван. — Лето ведь.

— Не надо! — вздохнула в бойнице Марина. — Мы с Ванюшей скоро пойдем на вечное лето.

— За что вы с Ивашкой Заруцким убили моего брата Ваньку? — обиделся князь Иван.

— Татары его ногайские убили, не мы, — сказала Марина. И спросила: — Нет ли при тебе денег, ксенжен? Слышишь, Ванюша с голоса плачет.

Он положил в платок три серебряных рубля, сколько при нем было, привязал платок к сабле, просунул в бойницу.

— Спасибо, ты не жесток, как другие москали, — сказал Маринин голос-эхо.

— Без любви и милости — какой закон, — ответил князь Иван и поехал прочь от Маринкиной башни.

На песчаном берегу Оки он остановил коня, обернулся еще раз взглянуть на Коломенский кремль, на граненую Маринкину башню. Волна с тихим плеском смывала следы конских копыт. «Так и пишем жизнь — на песке», — вздохнул Иван.

## 9

Он опять вернулся в Москву, как всегда возвращался, — с ожиданием и надеждой. Встретила его мать, княгиня Гликерия. Плакала, говорила:

— Вестей от тебя не имела. Боялась, кабы не сошел ты от смуты безвестно. Милостив, однако, Господь, вот ты и опять вернулся из странствий.

— Из странствий, — повторил за нею эхом Иван.

— Не высокоумничай больше, Ваня, — говорила княгиня Гликерия, — живи, как все.

Она к нему пригляделась, пожалела:

— Истощал ты, Ваня!

И тотчас заговорила о своем:

— В монастырь я собралась, устала. Во дворец меня больше не зовут, верховые боярыни ныне Сицкая княгиня, да Безобразова, да татарки, княгини Урусова с Сулешовой. Они мне не в версту, позвали бы, рядом б не села...

— Не надоело тебе жить всеу? — спросил Иван.

— Надоело, — призналась мать. — В монастырь пойду. Хочу поискать красоты небесной, ангельской тишины.

Вспомнила:

— В Братцеве лен хорошо уродился, намяли плавуну двадцать коробей, скоро пришлют в Москву. Лен в Москве стоит в хорошей цене.

Москва отстроилась, а с нею и Чертолье, хотя там и сям оставались обширные пустыри, заросшие иван-чаем и татарником. Мать поставила новые деревянные хоромы, насадила яблоневый сад. Проулок их вы-

прямылся. На месте сгоревшей церкви Николы в Подкопаях поставили каменную. Поправили часы на Спасских воротах, и опять, как прежде, после их боя во всех городских концах начинался треск сторожевых колотушек. Москва была новой — грязной, скучной.

Во дворец князь Иван ездил редко. Опальчивый и мнительный патриарх Филарет, государев отец, его не любил. Когда-то царь Димитрий поведал Ивану, как ему помогли поставиться на царство Романовы из злобы на царя Бориса. На пиру в Тушине Иван раз сказал Филарету:

— Что, Никитич, еще одним царем промышляешь, соблазнив двух законных? Человечья ложь с Богом не царствует.

Филарет Ивановых слов не забыл.

Князь Артемий Аштон прислал из Англии с выезджим иноземцем, капитаном Варнабеем, латинские книги — Бэкона, Филиппа Сиднея, протестантский катехизис. Князь Иван прочитать не смог, велел переплести в кожу и спрятать. А сам читал Максима Грека и, когда переходил — в который раз — до «Страшной и достопамятной повести», начинал тосковать по Флоренции, которой никогда не видел, по «прекраснейшему и лредобрейшему», как писал ученый грек, «из сущих в Италии градов».

Заглядывал к Ивану ротмистр Денис фон Висин. Пили горячее вино с корицей, Иван жаловался:

— На Москве люд глупый, жить не с кем!

Приходил полковник Варнабей, начал было учить Ивана латыни, но учење быстро не пошло, у князя Ивана скоро заболела голова. Помогала кенарей. А за вином хотелось жалеть себя, сетовать:

— Пока в ратях тиранствовал, змей у москвичей души уволок без остатка. Сеют рожью, а живут ложью. Мне бы в Литву отъехать, нарядиться по-гусарски и отъехать.

Приходил родственник, князь Семен Шаховской, прозванием Харя. Дом его стоял недалеко, у Пречистенских ворот, в приходе Богородицы Ржевской. Князь Семен шел в гости пешком, дворовый мужик Епимах вел следом кобылу.

Войдя, князь Семен низко, до полу кланялся, величал Ивана «дуксом». Начинал всегда одинаково:

— Государь ты мой многоподательный! Сенька Шаховской, многогрешный в человецах, челом тебе бьет. Не глаголю — князь, княжеское имя есть высочайшее и прехвальное, я ж за грубость своих дел и чело-веком зваться непотребен, скотского ради моего жития и свинского нрава...

— Пестро говоришь, книжно, — всякий раз останавливал его Хвостинин.

Семен Харя был ряб, невысок, правую руку держал клешней. Любил порассуждать, и все об отвлеченном, а потом, придя домой, записывал по памяти свои словеса и Ивановы ответы: «Отчего повелось инокам не есть мяса?», «Чего ради в церквах на Троицу постилается многолиственное ветвие древес, сиречь береза?», «Как Господь неплодную вселенную явил многоплодной?», «Отчего б персидскому шаху Аббасу не принять святое крещение?». Записав, князь Семен наутро посылал свои епистолы с мужиком Епимахом через улицу, князю Ивану.

Ивана Шаховской слушал, благоговей:

— Не ум у тебя, князь Иван, а вивлиофика!

Ивана Сенькино благоговение раздражало.

— Приобщенья мне с вами никакого нету! — кричал он. — Попрошусь на съезд с литовскими послами, на рубеж, и сбегу в Литву, а там и во Флоренцию.

Шаховской пугался, просил:

— Не отягчай сердца, дукс!

— Уеду! — упрямылся князь Иван. — Оцепенел я с вами умом и сердцем.

— Кто где родился, тому там и Литва, и Ерусалим, и Флоренция, — замечал Шаховской.

— Князь ты или бессловесный скот под фараоном? — кричал Хворостинин.

Шаховской робел, спохватывался:

— Прости, Ваня. Что ж это я, окаянный, тебя поучаю?! Сам денно и ночью плаваю в суетных помышлениях бытия. Грешен во всем. И в женах несчастлив...

В Великую Субботу князь Иван ел телятину и пил мушкатель. Слышал, как наверху, у матери, бездомные монашки пели: «Искупи еси от клятвы законной, бессмертие источил человеком». К ночи он заснул на лавке, уронив голову на стол. Во сне Мартын Стадницкий говорил ему: «Не забывай, человек грешен не по своей вине. Не было никакого искупления».

Проснулся рано, выглянул в окно, солнце играло. Он подумал: «Это мне с похмелья кажется». Во дворец христосоваться не поехал. Дворне, пришедшей просить ради Пасхи кормовых денег, ничего не пожаловал. Разгневался, грозил прибить, кричал, что воскресения мертвым не будет и праздновать нечего. Умылся из лохани, пробовал писать вирши:

... Согрешившего спасл еси Лота,  
Иссуши праведным солнцем греховные болота.

Перечитал, остался недоволен. Опять потянулся за мушкателем. Мать пришла христосоваться, попеняла:

— Опять ты, Иван, в гостях у вина!

Пришел князь Семен, переехал для праздника пол-улицы на кобыле. Застав Ивана хмельным, смутился:

— Празднуешь уже... Надо бы праздновать духовно, не телесно.

— Во гробе все истлеет, — отвечал князь Иван.

В трапезной Кирилова монастыря стояли, слушали чужое покаяние чернецы — соборный старец Феоктист, игумен Филипп, огородный старец Неофит, Феодорит Умной.

Читали вслух патриаршую грамоту и учительный свиток «О восстании мертвых».

Князь Иван стоял в подряснике, без пояса, босоногий. К нему подошел старец Феодорит, подул трижды в лицо, положил руку на голову и спросил:

— Отрицаешься ли ты сатаны? И дел его, и ангелов его, и всей его гордыни?

— Отрицаюсь, — сказал Иван и повторил трижды.

— Дунь и плюнь на него! — велел Феодорит.

Иван дунул и плюнул. Его повернули лицом к востоку. А там на стенном письме червеобразные, бледные, худые бесы сыпались дюжинами с Лествицы Иаковлей.

— Ужаснись, не возвратись, не встретить его ни в ночи, ни во дни, — читал Феодорит. — Иди, сатана, в свой тартар, в томления вечную муку до уготованного тебе Судного Дня!

Князь Иван плохо слушал, смотрел в окно, на желтые мокрые цветы. День был серенький, осенний. Вдруг пробилось солнце, капли на пожухлых листьях замерцали радугой, солнечный столб протянулся через всю трапезную, до Иаковлей Лествицы. Иван смотрел и не верил своим глазам: бесы прыгали с Лествицы прямо в солнечную пыль. А там



барахтались маленькие человечки — цари и мужики, царицы и бабы, попы и иноземцы, чернецы и бояре, поляки и татары, знакомые и незнакомые, родная мать.

— Отрекся ли ты от сатаны? — спросил Феодорит.

— Отрекся, — сказал Иван и опять повторил трижды.

— Сочетаешься ли Христу?

— Сочетаюсь.

Солнечный столб побледнел. Человечки исчезли, но бесы уцелели, бросились на стену и опять стали сыпаться с Лествицы Иаковлей — неустанно и неисчислимо.

— Сочетался ли ты Христу? — спросил Феодорит и опять положил руку на Иванову голову.

— Сочетался.

## 10

Он ждал князя Ивана Михайловича Катырева. Катырев обещал привезти свою «Летописную Книгу» и присланное с Соловков, от старца Авраамия, «Сказание».

День выдался яркий, солнечный, беспокойный, с сильным ветром. «До чего сегодня ветер зол! — удивлялся князь Иван. — Вот и сверчок замолк, захолодал, наверное». Он подбросил в печь поленьев и встал к налою переписать последний столбец «Словес». Быстро устали глаза. Он их закрыл и тотчас стоя задремал.

В дверь кельи постучали мелким, сухим стуком. Он очнулся, спросил:

— Ты, князь Иван Михайлович? — И, не дожидаясь ответа, открыл. За порогом стоял рязанец с черной чашей. В чаше дымилось варево цвета желтого жемчуга.

— Принес тебе уксус мудрых, — сказал незнакомым голосом рязанец.

Иван втащил рязанца в келью, стал трясти за ворот облезлой лисьей шубейки:

— Ты мой расточитель! Ты мой поядатель! Сгинь! Изыди!

— Смотри, не расплескай! — отстранив Ивана, сказал рязанец. Иван удивился его силе.

Рязанец подошел к печи, открыл заслонку, поставил чашу на тлеющие угли. Обернулся к Ивану и сказал:

— Я, князь, за тобой пришел.

Налетел ветер, окошко распахнулось, а потом и дверь. Князь Иван взглянул на рязанца и испугался. Под лисьей шубейкой не было ни плоти, ни одежды, одна черная пустота.

— Кто ты? — спросил, слабея, Иван.

— Абатон, — ответил рязанец, — крылошанин царя Абрaksa.

Иван вспомнил болотистые места за Псковом, мхи, вереск, извивающихся на конце палки черных гадюк и свой сон — обезьяну на осине и человека внизу.

— Так это был ты? — спросил он рязанца.

И тут в распахнутое окно влезла обезьяна в заморском кафтане, в ботфортах, в широкой шляпе. «Ангела наставника, верного хранителя, — забормотал, отступая, князь Иван. — Враг попирает меня и озлобился».

— Эка вспомнил! — захихикал рязанец. — Я тоже ангел, по грехам прародителей ангел! — И приказал обезьяне: — Принеси чашу!

Обезьяна посмотрелась в зеркало, поправила на голове криво сидевшую шляпу, потом вынула из печи чашу и пошла с ней к Ивану, держа перед собою в вытянутых лапах. Отступая, Иван споткнулся о

гроб, упал. Рязанец протянул руку, помог ему встать. Обезьяна была совсем близко, в черной чаше кипело желтое варево. Иван хотел вырваться, убежать, но рязанец держал его крепко, будто заковал в железа.

— Ацетум фончис, князь, — сказал рязанец. — Пей этот уксус мудрых, аргентум вивум. Он разрушает всякое творение и дает новую жизнь — ляпис.

От чаши несло нестерпимым жаром. Иван отвернулся, услышал, как за печью застрекотал сверчок. Он очнулся от охватившей его было слабости, попытался вырваться от рязанца. Свободной рукой ударил обезьяну по голове, сбил шляпу. Закрывавший обезьянью морду платок сполз на волосатую шею. Князь Иван взглянул на обезьяну и увидел свое лицо.

— Никто, никто, токмо сам! — хихикал рязанец.

В недалеком Хотькове, в девичьем монастыре, что стоит при гробах родителей преподобного Сергия, мать князя Ивана Андреевича Хворостинина, княгиня Гликерия, в инокинях Геласия, готовилась к смерти. Перебрала короб с рухлядью, помолилась перед образом Марьи Египетской, стала дописывать духовную память: «Триодь Постная да Цветная, да Охтай Первого Гласа, да рукомоичек, да лоханка, да шапка ходильная, да бабы Ульяны черная сковородка, да два попонишка пестрых, ветхих...»

На звоннице ударили в колокол. Звук был протяжный, длинный. В слюдяное оконце легонько стукнули. Она подошла, открыла. На подоконнике сидела озябшая синица. «Ваня, наверное, умер», — догадалась княгиня. Закрыла оконце и дописала к памяти: «... Да будет, государь пожалует, велит тело мое грешное погresti у Троицы, где сын мой лежит».

Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский ехал под злым февральским солнцем из Троицы в девичий монастырь, в Хотьково, охал на сугробах и раскатах, и тосковал, и не знал, что же он скажет матери старца Иоасафа, инокине Геласии. Плакал, пел ирмос — «Видел брата моего во гробе, бесславна и безобразна».

И еще думал князь Катырев, какой он слабый, хворый и, может быть, скоро сам умрет — вот и ноги опухли.

«Никто не знает ни дня своего, ни часа», — вздыхал князь Иван. И он тоже не знал, потому что жить ему оставалось долго, целых пятнадцать лет.

## Андрей Никитин

### ПОПЫТКА ДИАЛОГА

Князя Ивана Андреевича Хворостинина, героя повести Ю. Кашкарова «Словеса Царей и Дней», читатель встречает на пороге его смерти в стенах Троице-Сергиева монастыря, куда тот постригся под конец жизни. Деятельный участник событий Смутного времени, приближенный (по слухам — любимец) первого Лжедмитрия, он был из тех княжичей и сыновей боярских, кто пошел за дерзким претендентом на трон России и тем самым оказался косвенно (или прямо?) повинен в ее страданиях и бедах.

Впрочем, все не так однозначно, как считается нами с документов той далекой эпохи, с записок очевидцев и современников, пристрастных уже потому, что, описывая события, они пытались найти объяснение не столько виденному, прожитому и пережитому, сколько самим себе; пытались понять, почему им выпало жить так, а не иначе, — так же, как делаем и мы, вчитываясь в слова то лукавой, то искренней исповеди отошедших.

Ну, а поскольку нет и не может быть конечных ответов и оценок, столь же условно определение Хворостинина «героем» повести вдумчивого писателя, который, как мне представляется, вызвал из мрака небытия этот призрак былого, фантом перегоревших страстей, не столько из-за интереса к нему самому, сколько для того, чтобы заставить читателя взглянуть через прошлое на события теперешнего «смутного времени». Поэтому и сам Хворостинин представлен нам лишь в одной своей ипостаси — предсмертной, ибо на всю кипень угадываемой за стенами монастыря жизни смотрит он уже отстраненно, опущенными в колодезь своей памяти глазами, ожидая и страшась неизбежного шага в иной мир.

И вот что примечательно: похоже, страшит его не то, что возврата уже не будет, а то, что шаг этот, как и жизнь его нынешняя, зависит уже не от него, а от кого-то другого, давно уже глумливо за ним наблюдающего. Да и была ли жизнь? А может, одна сумятица, в которой не нашел он ни любви, ни друга, ни цели? Тот, единственный, за кем пошел однажды, в кого поверил, кто так и остался загадкой — то ли истинным Дмитрием, то ли «вором»; убили его или сгинул он так же, как появился, внося в умы людей кровавую и долгую смуту? Кратким был час его торжества, когда радостно всходила звезда Хворостинина, да горек и скор оказался закат. А дальше уже все покатилося как бы само собой. Воспоминания князя мелькают перед ним, словно кадры чужого фильма в пустом просмотровом зале, где на экране грызутся и гибнут неизвестно за что люди, горят города и селенья, за жаркими клятвами следует расчетливая измена, но князя это уже не трогает. И остается только нерешенный вопрос: почему же все так произошло? Кто виноват?

И по мере того, как этот безжалостно-горький, прямо не высказанный вопрос проступает в сознании Хворостинина, перед ним все чаще появляется обезьяна в заморском камзоле, шляпе и ботфортах, но с закрытым лицом, которая ему страшна и притягательна, словно именно в ней коренится разгадка прошедшей жизни. А когда, наконец, падает тряпка, он видит у обезьяны свое, Ивана Андреевича Хворостинина, лицо — лицо русского князя, прожившего беспокойную жизнь напрасно только потому, что поспешил он отказаться от себя, от России, пленившись внешним, вторичным, понадеявшись спасти ее, переделав на иноземный лад.

По-своему Хворостинин был честен, честнее других многих, но, как и они, был «человеком безвременья», надеявшимся избавиться от мерзости прошлого не самоочищением, а всего только маскарадом, попыткой спрятаться за чужой спиной и личиной. В этом и заключалась трагедия его современников, людей, перебегавших из лагеря в лагерь, готовых сменить одежду и веру, но за всем тем остававшихся прежними, как оставались прежними вопросы жизни и смерти России, решение которых они пытались возложить на кого угодно: на «хорошего царя», на бояр, на иноземцев, — лишь бы не решать самим!

Не хочу настаивать, но мне представляется, что в подсознании писателя стояла именно эта задача: на краткой ленте человеческой жизни показать трагедию «умственной смуты» людей, порожденных предшествующей эпохой Ивана IV. Реальный И. А. Хворостинин, о котором мало что известно, вряд ли похож на свой литературный образ. Тот, подлинный, был дважды обвинен в склонности к «католической прелести», т. е. в религиозном свободомыслеии, отбывал дважды монастырское покаяние, потом опять возвращался на государеву службу... И прославился не столько мемуарами, от которых сохранилась лишь небольшая часть, сколько обличительными сочинениями против католиков и протестантов. Ими он доказывал свою благонадежность. Но доказал ли?

Впрочем, историк может спорить с автором о многом: о достоверности изображаемых исторических лиц, о реальности вымышленных эпизодов, которые требуют от читателя знаний много больших, чем тот мог получить на школьных уроках истории, о самом истолковании событий... Только — нужен ли этот спор? Исторические романы и повести пишут вовсе не для того, чтобы восполнять пробелы учебных программ. Они всегда не о прошлом, а о настоящем. Вот и Ю. Кашкаров, как мне представляется, поднимая апокалипсическую тему «смутного времени», обращается к современному читателю с приглашением каждому заглянуть в темный колодезь своего сознания: а не лезет ли оттуда наша собственная обезьяна с прикрытой до поры до времени мордой? Ведь разговор автора с читателем длится много дольше того, как перевернута последняя страница, тем более что восприятие нашего времени через призму событий той далекой российской смуты никак нельзя назвать случайным и беспочвенным.

Схожесть двух трагических столетий в истории России — XVI и XX веков — была замечена очень рано, приобретя к 70-м годам нашего века ощущение исторической закономерности. Стало ясно, что за тоталитарным террором, рождающим кратковременную иллюзию «сильного государства», построенного на человеческих гекатомбах, через какое-то время наступает пора тягостных смут и потрясений. Происходит так потому, что тирана и его подручных сменяют посредственности. Иного и быть не может. В любом своем проявлении тирания — в политике, администрировании, в науке и искусстве — претендует на абсолютную монополию, порождая монополистов, которые не терпят никого равного по силе и таланту, тем самым создавая вокруг себя пустыню. И когда тиран умирает, а вместе с ним гибнет и сам террор, не находя для себя более пищи, его место занимают маленькие серенькие люди, с опаской и вожделием грызущиеся друг с другом, карабкающиеся на пустой трон. А затем оказывается, что тирания страшна даже не количеством отнятых жизней, не разрушением страны, а выведением особой породы холопов, заражающих генофонд нации вирусом бесчеловечности и приспособленчества, вирусом эгоизма и равнодушия, которые укореняются в нисходящей чреде поколений, осуществляя направленную мутацию.

Так судьбы наций и государств оказываются в руках обезьян в заморских камзолах. Они хотят стать иноземцами, потому что завиду-

ют их жизни; они готовы отдать за камзолы, за призрак власти не только народ и страну, но и самих себя — только бы их кормили и наряжали; они искренне верят, что все проблемы будут разрешены пришельцами, на которых так хотят походить...

Разве не так было четыре века назад? Разве не трагедией для России обернулась готовность ее князей и бояр принять сначала Самозванца, а потом и любого чужого короля — за золото, подарки, приемы у чужого престола? Было, все было! И распродажа страны, и бедствия народа, и смута в умах, и шайки удельных «воров»... В России всегда шли замятни и войны, но Смута стала возможна только после «опричного царствования» Ивана IV. И вот что поучительно: она произошла не сразу после смерти тирана. Потребовалось еще двадцать лет стагнации, пока выросли и ринулись управлять государством люди, в генетический код которых уже внедрились вирусы приспособленчества и беспринципности, равнодушия к своей стране и своему народу. Эти люди ждали своего «звездного часа», чтобы сбросить с лавок Боярской Думы, с воеводств засидевшихся стариков, расхватать должности и чины, начать собачью грызню за призрачную власть и реальные доходы, бросив страну на произвол судьбы, на растаскивание ее соседями... Когда это было — сейчас или четыре века назад? Просто тогда были другие масштабы, иное общество, другие силы и формы жизни социальной. Но в иных обличьях проявлялись те же исторические законы, определяющие судьбы государств и отдельного человека. И здесь россиянам был преподан великий урок, который тогда они смогли понять и выполнить: спасти свою страну от разрухи и смуты, от порабощения иноплеменниками, от обезьян в заморских камзолах можно, лишь отказавшись от чужеземной помощи, от льстивых обещаний и бесплатных подачек, опираясь только на собственные силы.

Не буду утверждать, что именно это хотел передать своим читателям Ю. Кашкаров, но его повесть рождает такие мысли, вероятно, единственно возможные в современной российской смуте.

---

---

Борис Евсеев  
ЗООАНТРОПОЛОГИЯ

*Из книги «Актуальная бесконечность»*

\* \* \*

Что она знает о силе посмертной,  
Птица, меня изволившая утром?  
Как она всхлипнет о наших потерях,  
Как помертвеет, как бухнется грудкой?

Тайные тяжбы — свинцовые крохи, —  
Первых пилотов, печаль, обормотство,  
Бурые лунки откинутой крови,  
Как у них, дальних, это зовется?

Как у ней выманить сказку, присладу,  
О нарастающих крыльях, о рае,  
Слабо постукивающим по верх сада?  
Не дотянуться: умрет, умираем...

Я записал ее частящую скуку,  
Краткую, сухонькую тревогу...  
Как ее выучить нашему звуку  
И породниться, целуясь с порога?

\* \* \*

На разодранной паутине,  
На своей високосной перине,  
Жадно-сивый, бухой, с перекирву,  
По ночам он является миру.

Над приютами, рвами, овсами  
Нависает, кончаясь от сапа,  
Насосавшись кровянки и дыма,  
Проклятуший, желанный, любимый...

Это зуд наших помыслов тайных,  
Это зуд наших планов летальных,  
Прободав души оболочку,  
Мозг терзает наш стыло-молочный...

Или, может, это мы сами,  
Рвем себя между явью и снами,  
Нависая над треснутой кружкой  
Со своей землею-подружкой,

Со своей неизбывною спесью,  
С недослышанной звездною вестью,  
С голым ртом и тупой мерзлотою,—  
Побежавшей газком по отстою?...

## ЗООАНТРОПОЛОГИЯ

Коммерции советник,  
Юстиции рачитель,  
Блажной, как Павел Смертник,  
Бучной, как Петр Крушитель,

Как Александр небрежный,  
Слепой, как Николай, —  
Цвиркун, сверчок прибрежный,  
Сверлящий ближний край

Неодолимой ночи,  
Все сыплет нам в окно:  
Уском — стекло песочин,  
Плечом — морей зерно. . .

Цари, царевны, царства,  
Великие князья,  
Сквозь запахи лекарства  
Струятся в зелена.

Без мелюзги, без племса,  
Откинув напрочь сор,  
Плывут к нам из-за леса,  
Словно итог, отбор.

И сладость иерархий  
Заносят на крыле  
В наш душный, тяжкий, жаркий  
Мозг, сохнувший в коре.

Летит Екатерина  
И бархатный Борис,  
Фонарец пилигрима,  
Как душу, целя вниз.

Без сна свистят, кружатся,  
Пространства тормошат,  
Как чижик, петушатся,  
Как небеса, молчат.

На крыльях из вискозы,  
По сто фасет глаза, —  
Съезжают к нам с откоса,  
Чуть торкнув тормоза.

Давно объединивши  
Двух эволюций бег,  
Глядят на наш, на низший  
Виток, приют, ночлег,

Где в смешанном растворе —  
Над коим выть, не петь —  
Мы — только мертвых море,  
Они — живая ветвь. . .

Но те, кто смотрят сверху  
 На землю, сквозь века,  
 Не отличат, наверно,  
 Царицу от сверчка,

Царя от микросхемы,  
 От хаоса — системы,  
 Арапа — от ужа  
 С подсветками в ушах...

Вот потому-то метит  
 Их лунный повелитель:  
 «Коммерции каретник,  
 Пропорций учинитель...»

Сквозь государства, годы,  
 Сквозь бешеный урон  
 Плывут зоонароды  
 Без вызначки ООН.

Плывут, роятся с нами,  
 Хотят нам передать  
 Наклон подлодок Рамы,  
 Христа аэро-стать.

Но нету пониманья!  
 Меж нами мысль и смерти!  
 Без встреч, без целованья  
 Спешим в другую дверь.

На гибельное царство  
 Навек возведены,  
 Вдохнем еще лекарства  
 Сосны и тишины,

Заучим вслух потери,  
 Как учит тайножитель,  
 Монархий эзотерик,  
 Республик помрачитель,

Союзов оглашатель —  
 Два маха, клюв и пух —  
 Законоудержатель,  
 Лишенный Богом рук

Затем, чтоб негде было  
 Их вовсе применить,  
 Затем, что только крылья  
 Поют нам: жив-жить-жить...

\* \* \*

Такая глухая вражда  
 В деревьях, расставленных порознь.  
 За головы их и гроша  
 Не дам я в плакучую пору.



Как главы казнимых держав,  
 Надбив невысокое небо,  
 В трехгранниках тайных дрожат,  
 Предзная, предчувствуя нечто...  
 Бежит через них березняк,  
 Запущенный тихо и косо,  
 Набитый в верховки разъят  
 И крошится вниз хилый космос.  
 Резня впереди и потоп,  
 Ожоги, свищи, перевязки...  
 Мы выйдем в соглас их, состроим —  
 по пятеро, четверо, трое.  
 Всю душу настречу раскроем —  
 И слышим разлад деревянный.

\* \* \*

Для меня устроена эпоха  
 Пакостно, бездарно, грубо, плохо.

Для меня, для исправленья речи  
 Льются рык и шорох человеческий.

Для меня, для выучки ума  
 Жизнь под корень валит дерева.

Для меня, для голода ночного  
 Вызревает плоть хмельного слова.

Для меня, для распрямленья плеч  
 Колет землю смертоносный меч.

Для меня... Но и на краткий миг  
 Я еще к сознанию не приник,  
 Не раскрыл глаза, не сбросил сеть.  
 Я — зародыш, кукла, крик во сне...

\* \* \*

Город дьявола, некрополь!  
 Ты и в снах меня манишь,  
 Над собой самим висишь,  
 Бьешь под грудь, кровишь, казнишь,  
 Прянешь вниз и вновь стоишь,  
 Как на жестких крыльях сокол.

Ледяных очей стекло  
 И зубчатки плеч ограда —  
 Ничего тебе не надо,  
 Все и так тебе дано.

Крест и бор, петля и нож,  
 Глум и «лом», и гул колодца —  
 Все с тобою остается,  
 Все с собою приберешь.

То меняла, то чертог,  
 То вина узорный рог...  
 Леший, что ль, тебя поставил,  
 Пеший, что ль, тебя сволок  
 набок, наземь, под клинок,  
 Под ракиновый кусток?..

Град лукавых, тать, некрополь,  
 В зоб голубленный и в профили!  
 В сон целованный и в чох!  
 Как обманут я тобой,  
 Как обманут сам собой!  
 И твержу все: дьявол, дьявол...  
 А выходит: Бог да Бог!

\* \* \*

«Пересоздам на свой манер  
 Весь рой летающих химер.  
 Перелеплю жуков и птиц,  
 Всех этих жужелиц, синиц.

Вот вам крылатая родня  
 В руке стрекочет у меня.  
 И порывается лететь,  
 Зерно клевать, цвирикать, петь.

И чем не Бог я, хоть урод,  
 Чем не податель суш и вод?  
 А что разорвана губа —  
 Так это все гульба, гульба...»

И тихо мышь скребет крылом,  
 И выпи шевелият веслом,  
 И убегает через верх  
 Щенятых пчел козлиный мех.

Визг, щекот, гуд и тюх, и шварк,  
 И, кажется, все будет так,  
 Как хочет чокнутый кустарь,  
 Как он кульгяпкой тычет в ларь,

Не зная точно, что к чему,  
 И ладит из бревна жену,  
 И точит кралю из полена,  
 Одетую в слезу и в пену.

И мочит шнур, и плавит воск,  
 И разрывает птичий мозг,  
 И брызжет семенем словес,  
 А за спиной смеется бес...

И в лавке пахнет блудом, клеем,  
 Вином и дьявольской затеей  
 Переписать весь свет на тьму.  
 Ну, да об этом — никому!

\* \* \*

До двух часов свистеть  
И снова встать ни с чем.  
Дундук орет в листе,  
Прорвав слои вещей.

Счета струятся вспять,  
Твердеет жар Луны,  
И если свет не свят,  
То все святее мы:

Блажащие впотьмах,  
Накинувшие нить  
На хрупкий крылец взмах,  
На ледяной магнит,

На золотистый круг,  
На нимба ободок,  
Что резко, вперекрут,  
Выносит нас из строк,

И расшибает дух,  
И угрызает кость,  
И вьет на нищету  
Горючий ливень ос...

Но все же усидеть.  
Хоть все и решено.  
Пусть мы крепили ветвь.  
Вдруг прорастет зерно?



## Александр Терехов

### С МАКОВЕЦКОГО ХОЛМА

Меня в Сергиев Посад занес так себе случай. Лихая подружка прижималась коленкой: «Поедемся в Сергиев Посад. Я покажу свои любимые места. А вы мне — свои. Останется время — в Лавру сходим», но мамаша ее не пустила, а я по дождю не решился уехать тотчас и, потрясенно выслушав гостиничные цены (чтоб я верил ушам, тетка дополнительно писала цифры на бумажке), заплатил назло за три дня и три ночи. Стоял среди холодного номера, ждал, пока кран вдоволь отсморкается ржавчиной, даст горячую воду. И колокольня ждала напротив.

Да, я вижу. Да, раз здесь — схожу в Лавру. Дуб повалился, стены дубовые пали — я хочу рассмотреть желудь, из которого росло. Моя дубовая голова сгнила. Нет сил. Хочу почувать насилие святости над собой. Хотя все это так скучно. Все вру, лень и тлен. Не верую.

Но дорог он мне почему-то — Варфоломей Кириллович.

Варфоломей Кириллович — это в скобках, а спереди — Сергей Радонежский, так в мирских книгах. Хоть не ведаем: отца звали Кириллом в миру? Или нарекли в предсмертном монашестве? Вар-фо-ло-мей. Так и липнет к имени «ночь». Нет. Любимей — Сергей.

В первобытных русских закоулках не оставляли монаху даже начальной буквы детского имени. Рождался — другой человек.

Святость непосильна, а раз так, то для встречи нужно видеть его. Не иконный, просеянный Господом и снами, вываренный, обветренный лик. А того, кто похож на меня.

Он умер осенью, 25 сентября. По новому стилю — в октябре. Лег в землю под кров церкви Святой Троицы. Наверное, не думал о своей гробнице, когда тесал бревна для нее. Церковь спалили «поганые» — Едигей, и могила потерялась.

Никон Радонежский, ученик, святой, взялся выстроить каменный Троицкий собор на прежнем месте — Маковце, маковке, макушке — холме, найденном Сергием на всю жизнь и братом Стефаном ненадолго.

Конечно, Никон именно искал. И все искали — лопатили землю. И Сергиев крестник — князь Юрий Дмитриевич Галицко-Звенигородский — примчался на стройку. И благочестивому, но безымянному мужу явился Сергей — найдете. И они нашли гроб. Копали ров и наткнулись. Кругом «ковчег» стояла вода. Но тело «светло соблюдеся» — вода не тронула праха и риз. День — 5 июля 1422 года, радость. Дьявол шепчет: слышь, мощи кормили монастырь, и городу перепало. И князя удельные «с мощами» глядели гордо, вот и организовали попы «открытие мощей» — но этого я уж не слышу, я не трогаю святости.

Сквозь нищих шел — как через пасеку, отмахиваясь: туда! сюда! отстань! пошла отсюда! А за воротами еще лето, и белые круглые цветочки залили дурманом прометанные пути, и слонялось тут обожравшееся голубиное племя, наступая на хвосты закормленным котам. Коты трясли пьяно серыми мордами, сияясь припомнить: «Ах, в каких я отношениях с крылатыми? А когти мне на что? Да погоды ты, как хоть меня звать?» Богомолка кидала с лавки очередной кусок колбасы под усатую морду, и кот вздрагивал: «А это зачем? Что это?!» — и сваливался спать, мучительно вздымая бурчащее брюхо. Семинаристы в черных кителях дарили нищим медь и ходили вприпрыжку, едва сдерживая бег, скованно держа, будто лишние, руки.

Я замкнул очередь у книжной лавки и томился полчаса, огляды-

ваясь на храмы, платочки, попов — провожатые подводили к нашей очереди губастых иноземок, и те бросались фотографировать: я при этом улыбался очень гордо, будучи в очереди самым здоровым.

Колокольня отбила опять четверть часа, я наклонился вперед:

— Мамаша, да скоро откроют?

— Вот отец Иосиф придет...

— С книжками?

Мамаша обернулась, придерживая ладонями щеки: одну фиолетовую, другую — забинтованную:

— Это очередь бесов изгонять.

Я сбежал. Но тут же вернулся.

— И всех желающих принимает?

— Всех. Ну, кто чувствует... Что есть. Есть?

Нет-нет. То есть: вообще ничего нет.

Богу молиться учила Византия, Царьград. В русских небесах просияли греческие святые — полчища, большевики гоготали: семь праздников на дню, когда пахать? У греков ветры теплые, виноград, оливы, смоквы, немного надо — империя издыхала. В святые там брали широко: прославленных по смерти и при жизни, сидевших на полагавшемся лишь святому троне, пострадавших, хотя и не до смерти. Русская земля страшней. В знаменитом труде профессора Е. Голубинского Сергей Радонежский «стоит» двадцать третьим по счету — почти за пятьсот лет! Народ устаивал себя не попусту. Стыдясь ига: с 1326 года по 1447-й вообще ни единая душа не канонизирована.

И Сергей «освятился» не волей собора — «сам собой». Уже при жизни писали — «святой». И чтили посмертно, сразу. И житие Епифаний Премудрый писал, не дожидаясь обретения нетленных мощей. И что спустя полвека объявили «общерусским» печатно — так лишь порядка ради, за ним хлынули святые имена, но, по сердечному счету, он — первый.

Куда ж я бегу, не касаясь Божьих дел? Ну да, хочу увидеть лицо, пойдемте. Мощи открылись, через некоторое время — года два? — великий князь Василий Дмитриевич подарил монастырю покров на мощи. Вышитый шелком портрет святого. Прежде шитья писал иконописец, и его «Сергий» — самый древний. Не забытый и бесплотный. Мастер мог видеть преподобного, и были живы ученики его, могли пихнуть в бок: разве такой? Наверное, и раньше писались иконы — не мог Андрей Рублев не писать отца своей «Троицы», застав его, Сергия, закат, бок о бок всю жизнь проведя среди его ближайших учеников, — обязательно писал, да не все перешагивает пожары, тоску и тлен, — а покров спасся. И в прежней ризнице, на втором этаже, в хранилище награбленного государством, я перешагиваю через ноги дежурных старушек, дремлющих на стульях, как кочевники в седлах...

Вот — в небогатых цветах моей Родины, медном закатном отсвете сосновой коры, голубой проточной сини меж распластанных, как шестикрылые серафимы, цветков, я вижу резкий, почти звериный скульптурный лик. Большие, словно раздавленные, уши. Линия лба, заостренная вверх, — как шлем, купол церкви. Нос — долгий и тонкий. Едва заметный наклон к левому плечу. Широкая разбитая ладонь плотника, огородника, водоноса. И переломленные вниз, к переносице, глаза. Разные: левый от зрителя — сухая птичья зоркость. Правый: большой, скорбящий, со слезой. Облик. Облак. Князя писали грамоты в Царьград: «Облак печали, покрывши мои очи». Сергей Радонежский. Товарищи, переходим в следующий зал! Товарищи.

Пало на холм сорочье перо, дурман-трава, тучи и солнце, Господь и тьма могильной стены — вот краски монастыря. И ты вздыхаешь без

привязи дней у румяных боков надвратной церкви, у льда голубой колокольни, под грозовой синью куполов Успенского и Троицкого соборов, у пятнистой пышно-узорчатой ризницы, облепленной виноградными листьями, да не кистями: не зреет у нас виноград. И Господь для русских людей жил в раю с теплыми морями, в полузабвенном детстве, в хохочуще-отчаянных сказках, где родное не в конце «и я там был...», а в зачине: идет свинья с малыми детками-поросятами по лесу, а навстречу ей серый волк: «Сейчас съем тебя и твоих поросят!» «Не ешь нас, серый волк», — взмолилась свинья, а он: «Как смеешь грубить, свинья харя?!» И Сергия — лучше бы в сказку, на кисельные берега, да вот тянутся все к Троицкому собору — и мне надо туда. Посмотреть на то, что держит. На мощь. Посмотреть на то, что осталось. На мощи. Если смогу.

Я побрел вдоль стен, вокруг монастыря: чего страшного — глянуть на мощи? Хотя: что такое мощи? Кости? Скелет лежит? Коробка? Ларец? Из детских безбожных глубин упрямо лезут куриные косточки в маслянистых остатках лапши.

Как это действует? Как волна: Дей! Ствует...

Часто действует даже явная дрянь: я споткнулся у монастырских ворот — «Кормить голубей в строго отведенном месте!» и стрелка — «Место кормления» — и далее, по стрелке, я нашел земляную выклеванную площадку, похожую на маленький плац; там сидела одна черная по брови старуха, грузная, как надгробие, и дочищала огромные корки хлеба. Дурно и кисло пахло скотным двором, и кругом не было ни единой птицы — я почти побежал оттуда, под гору, искать речку, вымоленную из земли Сергием.

«Как отстоит восток от запада, так трудно постигнуть жизнь блаженного» — и не берусь. Но гляжу на лакированных матрешек, на продажные пуховые платки. Открываю двери за кольцо. Дурею на винтовой лестнице, подымаясь на башню за таракхеньем испанской речи, — как уверовать в смертного, одолевшего «смерти скорни»? На башне постоял, помялся, испанки умелись, и взгляд оторвался от луж, железных люков, автобусной базарной братии, развалин, огородов, заборов, дач. Дальше — холмы, поля, небо... И я вдруг отчетливо почувствовал, поверил, что все это было здесь, так и было, сюда пришел, «вся узы мирьскаго житиа растързав», эта древняя пустошь напитала иконы непонятным полетом, парением — люди немеют... Змеи шипят: «В образе Богоматери выразилась безысходность мироощущения своего времени».

Идолы в мозолях от касаний, а герои не рождаются вновь — для каждого, для нашей любви. Мы — на развалинах; не сыскать, где стояла кровать, прячь голову от уставшего жить кирпича.

Согнул голову и пошел в Троицкий собор — мимо торговой лавки, дремлющих на скамьях увечных, налево — меж двух колонн. Прижался к левой, где икона Богоматери. За спиной собиралась и текла передо мной, минуя алтарь, степенная очередь. Там, за огненным озером свечей, увешанной лампадами, сверкает стальным блеском рака — гроб, под гнущей крышей на высоких узорчатых колоннах. Я подумал про Мавзолей — ни разу не был. Священник стоял сбоку гроба, наверное, «в головах», спиной ко входу, и, откашливаясь, читал молитву, одновременно разбирая ворох записок в руке. Люди ставили свечи, крестились, опускались на колени и, главное, наклонялись и целовали гроб, сверху, затем уходили, отдав священнику записку, — мне не было видно, что же они целуют: стекло? глухую крышку? В темени пятирусный иконостас, писанный с участием Андрея Рублева и Даниила Черного, вовсе не сиял — как на хвалебных открытках. Я пытался разглядеть евангелистов на царских вратах (подлинник украден государством), потом тупо шурился на «Троицу» (подлинник украден

государством), пересчитал апостолов на иконостасе и тронул пальцами бархатный барьер, отделивший меня от очереди. Священник сделал перерыв в молитве, и женщины в платочках неожиданно запели в углу «Радуйся, Сергие» — на мотив, близкий какой-то революционной песне. Иностранки трясли непокрытыми космами, одна старушка просто лежала у гроба, не подымаясь, семинарист стоял камнем. Петь перестали, и из-за спины меня царапнул шепот: «Господи, послушай...» Неловко оглянулся, будто поправить ворот, — женщина смотрела через меня на что-то, ей отвечающее, и шептала негромко про свою семью, про сына — его тянет «к технике», у нее мужа нет, есть «один человек», а вот еще на работе... И она повторяла, упрямивая: «Я так хочу, Господи», несколько раз, чтобы он понял, что в первую очередь. И улыбалась.

Я пошел к киоску: надо купить свечей; а что, интересно, писать на бумажке? И очнулся только у дверей, где изгоняли бесов, — там осталось два человека; я ушел и оттуда, наверх, на высокое гульбище, что тянется вдоль трапезной. И разглядывал дотемна Троицкий собор, палаты митрополита, часовни. Это «Русские Афины» — догадался когда-то Флоренский, — «античный эллинизм». Отчего только русская античность так смурна: у греков солнце печет, и пашни легки на подъем, ждут не дождутся первого ливня, а снега едва пали — и уже их нет, и с любой горы там открывается море: вот оно, беги. Просторы же Руси так невыносимы, что нет сил с места тронуться, с родного.

В этом самом месте, в этих стенах настигли великого князя Василия Васильевича посланцы Шемяки.

Обманули беззаботную стражу, подкрались на санях и понеслись с горы. И люди Василия обмерли — «яко изумлени». А великий князь, ослепивший в свое время брата Шемяки — Василия Косого, побежал в конюшню, да разве сыщется на Руси готовый конь, когда за дело берется судьба! Пономарь втолкнул его в Троицкий собор, одного-одинешенька, запер, а сам вдарил бежать что есть сил. А свора ворвалась и прямо на конях — по лестнице, к соборным вратам: где? Где?! А великий князь, слыша все это, схватил икону явления Богородицы Сергию и сам отпер южные двери. И главный догоняла бросил руку свою ему на плечо: «Пойман еси, великий князь». И заплакал, уже зная все наперед. А Василий кричал, что пострижется в монахи, молил, грянувшись оземь у гроба Сергия-чудотворца: «Не лишите мя зрети образа Божия»...

Его ослепили. Оставив в истории — Темным. В охотничьей суматохе упустили: будущего Ивана III — первого настоящего русского царя — унесли в охапку, скрывали в ком-то, наверное, подвале и ночью вывезли дальше. Античный, твою мать, эллинизм.

Отчаявшись оживить телевизор, я упал животом на кровать. Кусал яблоко, вздыхал: отчего пуста моя жизнь? Лежебока? Но все русские любят диван. Куда ехать, ежели зима долгая, кругом — Сибирь и снега в девять пядей. Нет, беда, что душа моя бронзовая, душа моя медная и стальная не помнит детства, золотого века. Все империи наигрались, собрали солдатиков в коробок, легли спать и умерли, осев мир заревом «классических эпох», — они снятся, и ты любишь золотые сны, ранние царства, микенскую эпоху, ахейских царей, колесницы и костры Троянской войны, нашествия дорийцев. безгласие «темных веков», Пелопоннесские войны, персов, македонцев...

А историю русских я любить не умею. Во мне ее нет. Империя близка, слишком близка, нас еще не разделили века, свет забвения еще не сгладил кровавых и лживых черт. Но пустота моя не только от этого.

Мы отроду не любили нашей истории! Праведная жизнь родилась не лучом Авроры, а пушкой «Авроры», и все века до этого казались пустопорожним топтанием, пьянством, тиранством над бедным человеком, Божьей ложью — бывшее отчего-то вовсе не спешило к историческим неизбежностям, — разве могли мы это простить? Мы запаха земли не знали, но презирали ее вонь. И признали единственное, сгрозившееся нам, — державу. ДЕРЖАВУ. И свыклись, что это — главная ценность. За отстоянную и добытую землю прощалось все. До тех, кто принес кирпичик в Кремлевскую стену, мы снисходили и допускали в свои кууче сны — только рубак и только победителей. Без знаков различия, души и плоти. Только: Дмитрий Донской — победитель на Куликовом поле, Сергей Радонежский — благословил Куликовскую битву, Петр I — победитель при Полтаве, Александр Пушкин — почти декабрист, Николай Гоголь — обличитель царизма. Какую силу можно черпать с этих обглоданных скелетов? Какие золотые сны навеют слова Ключевского, что три великих святых четырнадцатого столетия — митрополит Алексей, Сергей Радонежский, Стефан Пермский — лишь делали «одно общее дело» — «укрепление Русского государства»: и только-то?

Империя, набравшись сил, действительно, не расцвела «классической эпохой», дала куда меньше, чем могла, или мы просмотрели золотой век, или не дождалась; так изнурились борьбой за выживание, что ноги протянули прежде песен и Акрополя, просто спились и легли под забором, — мускулистая, жилистая, стершая зубы лошадь, рожденная слишком рано и надорвавшаяся по малолетству; а дети ее бегают кругом, кто — тоскуя по матери, кто — обожествляя сиротство свое, но сходясь в одном: хочу полюбить, да не знаю — как и не знаю — что.

«Аз есмь Сергие Маковский», — открываю глаза и шепчу поутру, — Аз есмь . . . »

Суд безбожников собрал «дело» на смертного С. Радонежского — полистаем. Обедневшая семья, боярин Кирилл — отец, скатился в нищие из-за поездок в Орду, ратей, нашествия москвичей. Сын, вдобавок «будучи туповатым к учению», вырос «умело приспособляющейся личностью», подмятый покровителями: старшим — митрополитом Алексием, младшим — Дмитрием Донским. По-собачьи преданно служил Москве, забыв ее кровавый ростовский погром, лишивший его семью родного дома. Покорно брался за дела, никак не потребные монаху: ездил мирить князей и даже закрыл церкви в Нижнем Новгороде, приводя в чувство местного князя, но безуспешно. Безуспешно! Настолько забыл свой сан, что отдал на Куликовскую битву двух монахов — ай да игумен! Тут суд немного перебрал, времена были суровые. Епископ Феогност как-то запросил патриарший собор: «Если поп порати человека убьет, можно ли ему потом служить?» Собор сообщил: «Не удержано есть святыми канонами».

Однако продолжим листать «дело». Троице-Сергиевская лавра, конечно, угнетала трудящихся. Игумен, «страдавший нервными галлюцинациями и даже беседовавший с . . . самой Богородицей», конечно, — похвастал да бабушку и схрыстал! Но чепуха это, «следствие психоза».

А есть верный удар — Радонежский не благословлял Куликовской битвы! Все трогательные песенки о напутствии, пророчестве, благословении, отдаче монахов в рать — это придумки троюцких монахов (они и саму-то битву перевирали будь здоров для радости богатых вкладчиков). Летописи, столь внимательные к игумену, что сообщали даже о его хворобах, на сей счет — молчат. В ранних редакциях жития есть главка, что Донской отправился на татар с благословения Сергия и в честь победы выстроил Успенскую церковь на реке Дубенке; но церковь-то выстроена в 1379 году — за год до Куликовской битвы! Выхо-



дит, Сергей если и благословлял, то — битву на реке Воже с мурзой Бегичем в 1378 году. А не историческое Мамаево побоище, и раз так — не было никакой схватки Пересвета с Челубеем! Да и вообще русская хитрая церковь упорствовала на проордынских позициях (это я все читаю, не говорю), а сам Сергей был «главой и идеологом архиерейско-монашеской антивеликокняжеской оппозиции».

Последний оборот имеет в виду печальную историю с Митяем, на ней стоит приостановиться.

Русскую землю делили враждующие Литва и Москва. Митрополит сидел в Москве, литовские князья — «огнепоклонники» — в свою землю его не пускали и грозили патриарху, что если и дальше русской церковью будет командовать Москва, то они свой народ перекрестят в «латинскую веру». Патриарх сдался и послал в Западную Русь отдельного митрополита — Киприана. Но — с хитрым условием: как только умрет московский митрополит Алексей (а дело к этому шло), Киприан опять станет единственным митрополитом «всех Руси», сохранит духовное родство всех русских, что, Бог даст, приведет когда-нибудь к объединению распавшихся половин. Думал ли так патриарх? Или я — по старой хворобе — угадываю во всяком строителя империи?

Но у великого князя Дмитрия не было поводов светло заглядывать в будущие века: удельные князья рвали великокняжеский ярлык из рук, неприязнь к Орде вылилась наконец в «розмирие», обещавшее мало радостей впереди. Литва недолго крепилась «вечным миром» и легко влезала в каждую распрю Руси. При такой ненастной погоде — по смерти наставника и соратника, Алексия, принять поделенного с Литвой митрополита «Киевского и Всея Руси» князь не собирался: мириться с Киприаном, реально зависящим лишь от патриарха чахнувшей в «неустроениях» Византии?

И князь нашел человека для возведения на митрополию — Митяя.

Хотя житие Сергия повествует: почуяв смерть, митрополит Алексей протянул Сергию митрополичий крест, и об этом Сергия молили все (житие подчеркивает: и великие князья тоже молили), но святой отказался, по великому своему смирению, — это, видимо, лишь красивая песня. Князь хотел Митяя.

А кто это — Митяй, не удостоенный в русских письменных глубинах даже полного имени? Любимец князя, голосистый и здоровый коломенский поп. Князь сделал Митяя духовником своим и ближних бояр и доверил ему государственную печать.

Время торопило — Алексей угасал, князь чуть ли не силком притащил Митяя в Спасский монастырь, и постриг в монахи, и начал упрашивать Алексия назвать «архимандрита Михаила» преемником. Алексей уклонялся что было сил: как это, «уного», «новоука» — враз на митрополию? Может, в душе Алексей уже разглядел в приходе Киприана некую правду? Князь не отставал, «много нуди о сем», Алексей кивал на Царьград — пусть решают там. Очередной константинопольский патриарх в смуте гражданской войны не вдавался в тонкости, а «поминки», сопровождавшие русские просьбы, были осязаемы — Митяя утвердили. И Алексей умер, оставив недоумение: благословил или нет?

Митяй сел править, и все презирали его птичьи права, и Митяй понимал, что ветры дуют из Троицкого монастыря, от отстраненного молчания смиренного игумена, и князь это понимал. Старцы верили в правду Киприана.

А тут неожиданно в Москву рванул сам Киприан: вступить торжественно в Москву с богатой свитой на сорока шести конях и одолеть «не желаю» молодого князя! «Еду к сыну своему ко князю ко велико-

му», — подбадривал он себя в дороге письмом к Сергию и Федору (племяннику Сергия), давал им знать: встречайте, пособите, иду напролом.

Воеводы Киприанова «сына» перехватили митрополита под Москвой — раздели, ограбили, бросили ночевать в холодный сарай, свиту раздели до рубах, усадили на дохлых кляч, развернули посольство в сторону Литвы и придали ему хорошей скорости. Захворавший, взбешенный Киприан обрушился письмом опять на Сергия и Федора: да они должны жизнь были положить за митрополита! «Аще быша, вас убили, и вы святы» — это, наверное, единственный упрек Сергию от современника, да какой! Киприан с ходу решает на неслыханное дело: проклинает, отлучает от церкви, предает анафеме великого князя Дмитрия и его бояр, кажется, еще строчка — он и Сергия отлучит! Это тот самый Киприан, который, если верить «Сказанию о Мамаевом побоище», так по-отечески провожал Дмитрия на битву! Митрополит потребовал от всех читателей сего страшного послания переписывать его и рассылать во все концы — пусть все знают! И вряд ли Сергей и Федор посмели его послушаться. В ответ они тут же что-то написали, и это «что-то» успокоило Киприана на их счет: «все познал есмь от слов ваших», но его проклятие гуляло по Руси, хоть и с намеренным коверканьем отдельных «ударных» мест — и князь ведал об этом, но не тронул Сергия.

Митяю же земля жгла ноги, и он упросил князя собрать епископов: они не посмеют при князе «вопить», поставят Митяю в епископы — и так справней будет ехать в Константинополь на утверждение. Епископов собрали, все немо соглашались, лишь суздальский владыка Дионисий, зная за своей спиной Троицкий монастырь, взорвался, восстал и пригрозил за правдой поехать в Константинополь. Делать нечего, князь «повеле» его «удержать». Дионисий молил отпустить: не поеду куда без позволения, пусть хоть Сергей за меня поручится, и Сергей поручился — Дмитрий поверил, устыдившись ручательства Сергия. Дионисия отпустили, и он, ни мгновения не медля, бросился Волгой в Царьград, плюнув на обещание год сидеть тихо и предав своего ручателя. А князь опять удержался — даже от худого слова Сергию.

Митяю пришлось ехать в Царьград архимандритом, он собрал денег, пышную свиту, княжских грамот для заема дополнительных средств — дело предстояло затратное, на прощанье Митяй наобещал Сергию чего-то плохого (благодарить ему радонежского чудотворца, прямо скажем, было не за что) — Сергей бодро пожелал ему «царского града не иметь видети».

Митяй добрался до Черного моря, разойдясь подобру-поздорову с цапнувшим его по пути Мамаем, — и сел на корабль. Корабль достиг турецких берегов и дальше вдоль земли поплыл к Царьграду. Заветный город уже выросал из тумана, а может, и утреннее солнышко высветило его вдаль, когда Митяй «разболелся в корабле и умре на море» — хворь одолела, удушили, утопили: не узнает никто. Корабль как столб замер напротив Царьграда, другие корабли с изумлением обплывали его слева и справа, далекая Русь ждала митрополита, воевала с татарами; предчувствуя «вытекающие последствия», послы пытались придумать, что бы князь велел им при таком обороте, и стали врукопашную выбирать замену Митяю из себя — и не угадали, и это стоило им потом головы. А Митяя, ну что Митяя, — его на лодке свезли в Галату, на латинский берег, и закопали в землю — сына попа села Тешилова, любителя церковного пения, про которого никто не может ничего внятно сказать: мелькнул и пропал — настигла доставучая русская судьба.

Суд безбожников хихикал, что история Митяя задержала канонизацию Сергия и Алексия, — не знаю и знать не хочу. Новый духовник князя, Сергиев племянник Федор, и сам Сергей уговорили Дмитрия пригласить все-таки Киприана — и он пригласил, вся эта история имела еще продолжение на доброе десятилетие.

Святость не в жизни замечательных людей — в том, что мы, неловко улыбаясь, называем «чудом». Почти ничего не знаем об Андрее Рублеве — и почти все, есть иконы. После Сергия осталась лишь Россия — тоже почти все. С Сергием нам повезло, кроме непостижимого, для нас сохранилось еще и житие. Епифаний (прозвище — Премудрый), дьякон при Сергии, повидавший и Царьград, и Восток, по смерти святого (а может — раньше?) записывал для памяти, что знал. Про детство святого расспросил у старцев, послушал рассказы Стефана — старшего брата и человека, что много лет Сергию служил; записи лежали в беспорядке. Епифаний ждал четверть века, надеясь, что сыщется кто-то достойней, — сам писать житие осмелился только перед смертью, в году так 1418-м. Еще лет через тридцать Пахомий Серб выправил житие: сократил, переписал, добавил чудес у обретенных мощей — житие стало любимейшим чтением Руси.

Житие расцвело на переломе писательских привычек: от сухости пересказа «жил-был» — к проповеди, блеску учености, плетению словес, и Епифаний вворачивал: «зверь, рекомый аркуда» — про медведя. Отец послал Сергия искать лошадей, а Епифаний — «на взыскание ключасти». Решето не гнилого хлеба, а «гнилых посмагов». И Сергей в бесконечном, изукрашенном предложении предстал светилом, цветком, звездой, лучом, лилией, кадиллом, яблоком, шиповником, золотом, серебром, камнем, жемчугом, сапфиром, пальмой, кипарисом, кедром, масляной, ароматом, миррой, садом, виноградником, гроздью, огородом, вертоградом, источником, сосудом, алавастром (сосуд такой), городом, стеной, крепостью, сыном, основанием, столбом, венцом, кораблем, ангелом, человеком — итог: тридцать семь наименований.

Предлагаю очень верить житию: к писанию тогда не липла всякая шваль, в писании сплетались Божьи молнии, и шепот земли, и слово — взвешенное, наполненное правдивостью, не подрасчетной корыстным нашим мозгам. И оттого так трогательно смирен воздух жития; не сыщешь райских обещаний за гробом, лишь печальные слова — о книгах жизни и книгах смерти. Оттого так обделен мелочный патриотизм: нас удивляет — Сергей живет, совсем не поминая Орды, и никто из переписчиков в победных веках не посмел «довести» житие в этом смысле! Смирность святого воздуха — мимо нас, она не помышляет о доказательствах. Вот чудо: Сергей видит на небе птиц, блистающий свет, и голос обещает ему: «Так умножится стадо учеников твоих», Сергей скорей кличет Симона — посмотри! Но тот захватил лишь остатки света... И мы бессильны пошлым своим рассудком одолеть, что стоило Епифанию, точно знавшему: житие пишет только он и абсолютно все, что выведет сейчас вот эта его рука, и будет правдой во веки веков, — что стоило этой руке чуть дрогнуть — из благого умысла! — и подправить: дескать, и Симон тот блистающий свет узрел.

Мир жития печален — не знает своей судьбы. Тот же голос добавил Сергию с небес: ученики не пропадут, «если они захотят по стопам твоим идти», — нет обещаний. Умиравший Сергей видит: «Обитель моя эта весьма разрастется, — и опять: — Если... мою заповедь будут хранить». Богородица является Сергию — едва ли не первому из русских святых! — Богородица, чья икона способна принести урожай, укрощать засуху, устрашать вражеские полчища: как же тогда всеильна она лично! А что она говорит? Обитель твоя будет иметь все в достатке, я не покину ее — сейчас и по смерти твоей, — как удержался Епифаний и не написал: ВСЕГДА?!

Есть еще спасительная, плачущая за нас строка в житии: «Благословен Господь, который не даст нам сверх сил искушений!» — это Сергей наставляют так словами апостола Павла — что ж тогда нам? Может, вся мерзость моя лишь от непосильности искушения — сверх сил?

Английский автор Уэллс спросил в Кремле Ленина — моего святого: сколько вы продержитесь? Ленин улыбнулся светло. Как ребенок. «Мне кажется: мы навсегда».

У Епифания бывают неточные слова, «от себя», для кажущейся «пользы» — они приметны, как чужая рука. Землепашец пришел в монастырь посмотреть на святого. Монахи сказали: он в огороде, и подвели к дырке в заборе: хочешь — гляди. Мужик глянул: Сергей мотыжил грядку. Мужик разобиделся: столько слышал про чудотворца, все дела бросил, а вы мне смеха ради тычете на убогого, «сироту», в латаной рясе. Сию веселую байку, гулявшую по монастырю, Епифаний напиткивает нахмуренной, напыщенной силой. Монахи (смиренная братия) предлагают святому вытолкать мужика вшаей (если б Сергей не вступился, так бы и сделали), да это ладно, вы послушайте, как они подходят к святому по такому пустяку: «Не смеем и боимся сказать тебе» — это про смешного-то темного мужика, как про грабеж монастырской ризницы! И кому? Игумену, который таскает им воду, колет дрова, как купленный раб, и только что утирал пот со лба на огороде, а братия чесала языками с мужиком у дыры в заборе, доказывая: это и есть наш чудотворец! Епифанию мнилось: так прилично.

Дальше: Сергей крестьянину поклонился до земли, поцеловал, усадил рядом есть, ободрил, а тут в монастырь вступает некий князь с великим полком, сияющей свитой. Бедного мужика княжеская охрана (послушайте родной язык), «побивачи», далеко швыряет от лица князя (тут Епифанию бы и точку ставить, а он продолжает) «и Сергея». Что ж, Сергей безучастно сопроводил взглядом полет мордой оземь своего собеседника, коему кланялся до земли? И не видит, как тот бежит вокруг толпы, окружившей святого и князя, — они только двое сидят, и Епифаний горд этим, хотя что за величина для Сергея Радонежского «некий князь»? Это уж Епифания придумки. Как и дальнейшее, что мужик постригся в монахи и помер в монастыре, исправляясь покаянием, — и Епифаний даже имени его не помнит, хоть исхитрился разузнать чуть ли не половину из самых первых двенадцати монахов монастыря, — если бы не выдумал того мужика, неужели бы упустил? Епифаний будто не очень верит темному люду: самому-то для веры этого не надо, а поверят ли остальные?

Он знал это про себя и просил: «Не зазрите же ми грубости моей», и я твержу эту мольбу у ворот Лавры — я на земле не местный, я — проживающий, то есть — проезжающий мимо: «Не зазрите же ми...»

В древних русских писаниях, как в античном эпосе, почти нет цвета. Из редко поминаемых любимый — белый. Но много-много блеска. Жизнь Сергея удивительно светла — озарена покоем. Ни разу не закричал, не разрыдался, не отчаялся, и если зверей диких боялся, то — немножко. Мягкий, смиренный свет источают дни его, и святой кажется мягким, лишенным углов и ребер. Разве так?

Сергий Радонежский утверждал власть свободного сердца. Не путаные, говорливые искания истины, а истинная жизнь, которая не от головы, — житие сего не скрывает, не златоуст, не писатель, не книгоучей. И неспроста это безуспешное учение отрока Варфоломея — «не скоро выкнуща писанию», «не точен бысть дружине своей» и даже «не вельми внимаше» — ребята дразнили, учитель серчал — «боле же от учителя томим». И не выучился, а — прозрел. Пошел за лошадьми и увидел черноризца под дубом, горько посетовал: не дается грамота. Принял из рук черноризца белый пшеничный хлеб — просфору, вкусил — и глаза его увидели смысл слов.

Сергий знал «сердечность» своей силы и не стыдился, охотно просил: «Научи мене». Приехал в монастырь греческий епископ, не веривший в русского святого, — епископа за неверие поразила слепота. Что

говорит Сергей, исцелив гостя? «Вам, премудрым учителям, подобает учить нас».

Сила сердца давала свободу и независимость.

И Сергей поэтому неподвижен, «не исходя отнуд места своего»: зачем ему искать Афон, Иерусалим, «царствующий град» — где сердце его, там и столица, он пустынь сделал, «подобную граду».

И то, что кажется нам смирением Сергия, может быть, есть упорная независимость, оборона свободы? Как долго отказывался он стать игуменом — епископ Афанасий не выдержал: «Всем обладаешь, а послушания в тебе нет». И это — от скромности? Когда митрополит Алексий вручил ему митрополичий крест в золоте и камнях, Сергей вслух, вежливо: «Я с юности не носил золота, в старости же особенно хочу в нищете жить», а про себя, тут верю Епифанию, знал: великая это тщета. Ведь не подумал: «не достоин». Разве смирение? Гордая свобода. Только гордый игумен, оставшись без хлеба, не унизился в просьбе, а нанялся к монаху строить сени и за труды попросил именно гнилого хлеба — чтоб не встретить отказ, чтоб утаить нужду свою, и гнилые «посмаги» взял лишь после работы, хоть шатался от голода.

Когда в монастыре завопили недовольные введенным общежитием, а брат Стефан прямо в храме начал «качать права», кому здесь быть игуменом, — смиренный бы не слышал, увещевал бы возлюбленное стадо, тащил бы крест и места родного не бросил, а Сергей после первого же «приступа» Стефана вышел за ворота и ушел, не оглянувшись, искать новую пустынь — даже учеников не пожалев ради сердечной своей свободы... Сколько гордости в этом безмолвном уходе!

И более того: Сергей совершенно свободен именно как смертный, он утверждает независимость даже от собственной святости, от чудес. Люди сами жаждали чудотворца, люди сами выдумывали (или видели) чудеса, а уж потом — вручали их троицкому игумену.

При пострижении в Сергия вселилась благодать и дар святого духа. Он сам сказал об этом? Нет, некие люди почувствовали благоухание. Исцелил бесноватого — но кто ж увидел огонь, полыхнувший с креста святого? Сам бесноватый. И — ни души больше. Огонь причащал святого в алтаре — откуда ведомо? Симон так увидел, а когда рассказал святому, тот запретил об этом болтать. Отец нес больного сына на исцеление Сергию, а принес — мертвое тело. «Что сего лютейший?» — отец ушел за погребальными одеждами, вернулся: святой молился над ожившим сыном. Этот отец и нес во все концы о чудесном воскрешении, а ведь как обстоятельно и разумно увещевал его Сергей: да не мог я воскресить! Мальчик замерз по дороге, а измученный хворобой отец испугался прежде времени, в келье тепло — мальчик отогрелся, только Господь может воскрешать! И, отчаявшись убедить, Сергей снова запрещает: не говорите никому. Кто углядел мужа в блистающих одеждах в алтаре, где Сергей служил литургию? Исаакий да Макарий. И не просто пристали к Сергию: что это мы видели? Они видели, а ему — объяснять! В житии ясно сказано: «Ученики упорствовали». Сергей и объяснил: это — ангел, ангел был. А что он мог другое сказать? И опять взмолился: ну вы хоть не говорите никому! Злитесь на меня, но, хоть убей, не видать здесь никакого смирения, а гордая позиция: человек всесилен свободной душой и смерть одолеет правдой сердца, без крылатых и хвостатых. Вот это — чудо, а не зыбкое «кажись».

О посещении Богородицы мы узнаем также не впрямую от Сергия, рядом ученик Михей: Михей слышал приближение ее, но пал замертво и не слышал, что она говорила, не видал, как выглядела.

Мы же чтим Сергия за одно чудо — Россию. Но и она умерла, не осталась. Теперь, прочитав ее письма, мы только по смерти узнали настоящее имя ее, подлинную жизнь и что жила она с нами — неволь-

ницей. И тогда полюбили, лишь присыпав глиной, — небывалая любовь без встречи. И, гуляя по монастырским стенам, по полоскам света из бойниц, замерев над усыпальницей Годуновых, — единый год смерти, в лучших отечественных традициях, — я бормочу: Господи, но ведь я так люблю ее. Кого?

Одно счастье — яблоки в этот год уродились. Семинарист хрумкал яблоко у своей проходной, девушка в платке держала для него еще целый кулек: ешь сколько хочешь. Наверное, будущие это бабушка и матушка — он яблоко грыз в три движенья и цапал сразу еще одно, и глотающее горло из-под кителя выталкивало снежный подворотничок, я зажмурился: вся моя паршивая солдатчина мазнула мне щеки зеленым крашеным крылом.

Еще одно счастье: как ни мала церквушка, а внутри ахнешь — звезды, Царьград, тучи, золото, море, осень, старик на коленях; нет — старик на ногах, колени — все, что есть у него от ног; я согнулся над белым листком: что ж писать для святого? Заглядывал под соседкину руку — она что-то еще вспоминает и грозит себе пальцем, на листке — имена, имена, имена — с именами что-то краткое, что-то — «Бог»? Нет — «бол», что? Ноют нищие: сын парализованный, на пятнадцатый минут только оставила, десять дней как похоронили, подай мне, сынок, мать науськивает сына на иноземцев: давай! — и он с ходу хватает коленку лапками и вопит: дай! хоть копейку!

Я опять не дошел до мощей. Опередила ночь.

Ну почему невеселый наш Бог? Почему на Руси — хоть перешерсти ее до последней конуры — не сыскать счастливого, если только он не пьян. Юродивые — и те на сковороде. Один в один: рано родились — рано померли, нет лиц — одни нахмуренные ямы. Тянет отодрать заклеенную на зиму балконную дверь и выть на колокольню, когда подумаю, как помирал хотя бы великий князь Дмитрий Иванович, как захлебывался молодой еще мужик; и что посветить ему могло, кроме тихих слов Сергия Радонежского, который для Дмитрия был стариком и по рождению, и при смерти? Что в утешение наскрести? В девять лет уже без отца, вместо оного — митрополит Алексей, затем — Орда, рати, стройка Кремля, «литовщина» — одна, другая; опять Орда, первая государственная казнь на Москве — зарубили мечом последнего тысяцкого Вельяминова, бежавшего и выманенного из Орды; посольство коварных тверичей, захваченное страшным грехом — клятвopеступлением; жуткое проклятие Киприана и суровое молчание старцев, смерть сына; «розмирие» с татарами и Куликовское кровавое побоище, про которое через век запоют, а князю впору плакать — вдогон обиженным Мамаевым людям слали золото и серебро: может, царь смилостивится? Победа? Восемь длинных дней хоронили убитых, а уцелевших, поползших с добычей по домам, в клочья разнесли рязанцы и литовская рать — на юг побрели свежие рабы, и «оскуде бо отнюд вся земля Русская воеводами, и слугами, и всеми воинствы, и о сем велий страх бысть на всей земле» — после «победы!» Через миг — два года — Тохтамыш. Вернулись — Москву еле очистили от мертвых, за восемьдесят тел — один рубль. Всего: триста рублей, а по окраинам — кто их считал... И снова в церквях хана славили раньше князя и — нет проблеска; еще внук Донского, Василий Темный, поедет на суд к «царю»; и только сын его — Иван, которого по глубокому снегу тащили прочь из Троицкого монастыря, остановит татар на Угре — до этого еще целый век. Чем дыхнуть мог великий несчастный князь на краю сырой могилы да что шептать ему мог старый игумен, собираясь скоро вслед? Ни единой счастливой души. Может, лишь... Сергей? Даже не знаю.

Кто-то заметил: Сергей не улыбался совсем. Не так! Улыбался, вспоминая, как «аркуда» — медведь — таскался к хижине без выходных за подкормом и крутил круглой своей башкой, «как некий жестокий заимодавец». Разве не улыбался он, утешая недотепу мужика, не углядевшего в «сироте» чудотворца? Смеялся: ты правильно сказал, это вон они во мне ошибаются! И говорил: никто не уходит печальным отсюда. Это наш божок, и все «у Бога» — плачущие и убогие, а у них — радость и блеск, любовь.

Пока оставим снежные равнины.

В тающей Византии богословы схлестнулись в тридцатилетней распре. Не шутка, богословие не просто «самая главная наука», это — столпы, держащие небо, судьба народа, рок.

«Византийский гуманизм» нащупывал опору в светском знании — науке, укреплялся логикой: вера подтверждается разумом, истина открывается разумом. Если мир — дело Божьих рук, то, постигая миропорядок, человек постигает и Господа. Существование Бога можно доказать себе умом. Гуманисты рвались в «свет» из тесной церкви и тянулись к родственному «латинству». И пали в битве с исихастами.

«Исихиа» — покой; слово, проросшее из египетских пустынь первых христианских веков, от монахов-отшельников. Правда исихастов: мудрость бессильна. Ухищрения разума: добытые знания не подвинут к истине даже на локоть. Но путь есть — внутри каждого. Бог создал тебя своей «энергией», ты — родствен ему, ты и есть — весь мир. Не ищи: все в тебе. Будь один, будь праведен в пустыне, запришь в келье, забейся в угол, склони подбородок на грудь, задержи дыхание — старайся найти душу свою. Ум взойдет к Богу — молчаливой, «умной» молитвой — и возвратится, познав, и тогда сквозь сердце твое пробьется и засияет ослепительный фаворский свет, не призрачный, явный, он «обоживает» — воссоздает изначальный единый мир, золотой век, который сиял апостолам на горе Фавор. Свет доступен святым, он в единстве со всеми — и Богом. Человек при жизни способен отчетливо вкусить сладость торжествующего бессмертия, не надо ждать.

Исихасты покинули пещеры в скалах — стали властью Византии, властью православного мира, наследовавшего эллинизм. Они утвердили: мы — другой мир, останемся им. Иногда говорят, что Византию это погубило. Иногда говорят, что Русь это спасло. Вызванный свет сжег Византию дотла, но согрел Русь, смогшую удержать черные скалы Востока и Запада, готовые сомкнуться. Русь осталась жить, унаследовав от Византии ответственность за большее, чем могла понять, — и что-то от этого в нас?

Мне кажется, в русской душе переплелись воспитанная зимами неподвижность, лень, необоримая даже смертью, и — страх. Страх, в котором корчилась родная земля, а кругом — поганые; единственные «родичи» — Византия, и та — далеко, и ту — скрывает потоп. Одни! И все семейные предания — про то, как пальцы судорожно хватились кромки льда, а река тянула на дно. Смертный бой, неистовая живучесть, недоверие — никто не поможет, — безмерное терпение с верностью дикой свободы: все одно перегрызем и уйдем! Страна действия, а не думания — некогда! — и наивная гордость сироты: а вот и я — как человек, и кафтан приличный, и зуб золотой, пусть — победней, зато правда за нами, мы — спасем, мы — на свету!

Страх во мне, во всех — и в Сергии: днем, на фаворском свету, веселы и кичливы, а ночью беспомощны, как дети, смотрим на голую стenu — никто не придет.

И вечная бредовая идея русских — отвоевать Константинополь назад — это порыв ребенка: найти мать! Спаситься от крошечного одиночества. Умом не разъяснимая животная страсть, не знающая ни зако-

на, ни скучных невозможностей, ни смерти: хочу! Лихорадка, тряская всех: Василий Голицын еще в семнадцатом веке вел полки на Крым, а в секретных бумагах решали: Константинополь! И Петру Алексеевичу с детских лет запала летопись: как брали Царьград, и он мечтал, возя с собой икону Сергия, написанную на гробовой доске святого. И славный Потемкин, ворвавшись наконец в Крым, тут же вкопал столб — «Дорога на Царьград». И великая Екатерина, и грозный Николай, и все потом — все гнули в эту сторону, все шептали: «Балканы, Балканы», про себя повторяя: «Царьград». И последний император — Сталин, даже тот расползся на полмира, а все косился — туда же. И всем не хватило: чуть-чуть. И с корабля видали, и гарнизоны высаживали, а — не вышло. Все равно шепчешь в подушку: зачем Николай давил венгров; Австрия, неблагодарная тварь, всегда нам костью в горле; продержался бы Константинополь еще век, не помер бы так быстро Тамерлан; а там бы Грозный послушал умных людей и не увяз бы в Ливонии, а бросил стрельцов на юг — они бы живо навалили этим Баязидам да Мехмедам. Господи, у нас даже лица бы были другие, когда бы Царьград устоял, — не вышло.

В этом что-то есть. О нас?

Я начинаю мерзнуть по ночам. Просыпаюсь: холодно, слышу голоса, кругом говорят, словно нет стен. Бьет колокол и — внутри колокола. В тучу собираются галки, галдят: куда лететь? Жду утра, пережидая, как болезнь, ночь, — когда отворят Лавру. Мне надо туда. В правый угол Троицкого собора: согнуть спину, истратив свечку на огонь.

Счастлив ли он? Жил да помер. Сквозь плетеные слова мне светится дорожка.

Откуда Епифаний так подробно знает, как «прошлись» по Ростову московские воеводы? Столь равнодушный к мирскому, что даже миротворческие походы святого к князьям помянуть не удосужился, а тут замедляется: так били, так грабили, а этого повесили за ноги, поименно называет грабителей и жертв — а ведь так скуп на имена даже для свидетелей чудес. Событие сие Сергия касается «не прямо», семьи его — вскользь. Дело прошлое, какого же рожна ворошить удельную распрю, да еще ту, где обидчики — москвичи?

Епифаний и сам, я думаю, не сказал бы, почему. Он работал как журналист: опрашивал каждого — «всё о Сергии». Каждый припоминал самое важное «на эту тему». Как обработать сведения, сваленные кучей? В житии святого Епифаний мог оставить лишь «пересечения» — то, в чем свидетели совпали. И рассказ о ростовском погроме объясним: либо монахи из ростовских земель как один нашли нужным вспомнить эту напасть «попутно» Сергию, либо сам святой или брат его Стефан поминали это, и не раз. И Епифаний машинально повторил «длительность» их рассказов, чуть сбившись с внутреннего тока своего труда.

Кровавый средневековый погром, разбой, насилие, смерти — это начальное воспоминание детства сверстников Сергия и самого святого. Страшные картины не ушли из памяти даже спустя десятилетия, как же они тогда сидели в детской душе и возвращались во снах? Нашествие не только развеяло надежды, что семья спасется от нужды, в мальчике оно могло отпечататься горечью: мир вовсе не подсуден добру и не ищет справедливости. И, может быть, потайным стремлением отрока Варфоломея было достичь «золотого века» — справедливости и свободы.

Сергий хотел «устроить жизнь», пусть и хоронился кричать об этом, но желание «устроить» вовсе не ничтожно в сравнении с обещанием отдать себя Богу — они равны, и поэтому Сергий не сразу бежит в монастырь, он соглашается жить с отцом и матерью до их смерти,



хранить их старость, значит, это не было суетным для него. Да и уход сразу двух братьев «в монахи», в пустынь, имел и житейский расчет — наследство, как бы жалко ни было, в этом случае не дробилось и целиком попадало брату Петру. Да и «в монахи» торопились тогда не колченогие, и убогие, как кажется нам. Церковь орда на трогала, и на гибель ей за монастырскими стенами готовили государственных мужей, послов, писателей, разведчиков, ремесленников, учителей, лекарей, а то и ратников (вспомним Пересвета и Ослябю).

«Устроить жизнь». Ведь не зря и в народных снах Сергей не проповедник, а — плотник, в сосновой чистой стружке.

Выбрали пустынь в чаще, но не совсем далеко от людей. У нищего парня, уже — лес, холм, свобода, звание: «Аз есмь Сергие Маковский. . .» Он здесь — Бог и выстраивает прежде всего свою душу и счастье, закаливает волю и выбирает стяг — Святую Троицу. Все, что он хочет, — это «побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира». Он не сбежал от людей — отошел. Чтоб перетягивать на свою сторону.

Появились монахи, и молодой отшельник рад своему притяжению: заработало! Но это — другие люди, они не совпадают с ним совершенно, люди приносят человеческие, необходимые им законы — им нужен игумен. Пастух. Нужна встречающая жертва. Конечно, она убавит полноту первобытного счастья, но продлит его век. Сергей, словно лесной зверь, чутьем постигает это новое для себя. Устроитель побеждает монаха: сотворил людей — надо за них отвечать, покинуть райскую пещеру и тронуть горькое дерево власти, лишиться покоя, блаженства и потом — родного брата. Это он понимал, раз так мучился, решая.

Он любил свое детище, ревновал, боясь подпустить чужого, бросался делать «всё сам»: колол дрова, толоч зерно и молот, вращая жернова, выпекал хлеб и шил обувь, одежду, готовил свечи, просфоры, кутью. Святой — на трудной работе, которую и сам не понимает совершенно, но видит: это — город его, Русь, живущие по сердцу.

Но люди приходили еще — их очень долго было лишь двенадцать, не зря Епифаний повторяет это опять, опять, будто грустно ему оставлять это число. Двенадцать — особое число, свыше — уже все меньше от апостола, все больше от стада. Меньше ведешь — больше собираешь. Меньше слушают — больше просят. Дорожка мостится душой идущего. Дорожкой каждый идет, но только сверху видно, Господу, кто забрал в какую сторону, и Он объявит потом итоги. Святой и грешник определяются лишь углом наклона.

Ученики переросли в братию, и братия едина против одного: дай! Вот в чьи жадные рты летели жирные чудеса. Сергей не чудотворствовал вдруг: «Что я сижу, как пень, дай-ка я скуки ради. . .»

Братия роптала: запрещаешь попрошайничать, а мы голодны. Требуешь от нас — тогда корми. И спасло чудо: в монастырь постучались подводы с горячим хлебом. Но когда? После того, как Сергей нанялся строить сени и сам наелся, хоть и «гнилыми посмагами» (ведь не пухла братия с голоду, раз хватало гнилого хлеба). Его искушали чудом — он не поддался. И всем пытался подсказать: прокормитесь трудом. Но и братия завопила: голодать вместе с ним — она готова, но работать, как он, — нет. И разницу несовпадений Сергию приходилось оплачивать чудом.

Сергий не мог выбрать место совсем без воды. Епифаний ясно пишет: чаща леса «имуща и воду» — воды хватало Сергию, двенадцать учеников не жаловались, а братия «поропташа» да «многажды с досадами глаголааху». Это не красны девицы застонали: далеко по воду ходить, а монахи, суровые «пустынники»! Игумен в монастыре не был завхозом: вода далеко? В другом монастыре она поближе.

Но раз монахи вопили, а он повиновался, выходит, кроме поверхностного, был меж них и тайный союз, выходит, он требовал от них чего-то «сверх», и они в ответ — не стыдились того же.

Сергий соблюдает тайну — вслух: «Просите в молитве своей», а сам таки пошел вымалывать ручей и опять — со свидетелем, монаха прихватил и Богу ясно говорил, зачем ему это: «Пусть узнают все», — и хлынула вода, а он соблюдал приличия: «Не я, Господь даровал! . . »

Когда он ходил тихонько вдоль келий и слышал смех или праздную болтовню, он только — стучал в дверь. Это — невидимые посещения. Он увещевал ими при жизни и по смерти.

Он «посещал» невидимо братию в рясе из самого худого сукна, не просто из сермяги, а из того тряпья, которое подержали в руках и бросили все до одного монаха. А он поднял — и носил. Монашеский подвиг Сергия вообще очень здоров — он не сидел три года в дупле липы и гусениц не ел, и в этой гнилой сермяге ему удовольствия особенно не было — он так разговаривал с братией: «несите бремя друг друга», вот он и нес.

Пускался пешим в дальние дороги: стыдить непокорных князей, устраивать монастыри и церкви, крестить великокняжеских сыновей — жертвуя и жертвуя полнотой одинокого сердца на высоком холме. Необходимость сытных чудес тосклива: ей постоянно нужно чего-то новенького, «поострей»; умрет чудотворец — и ее не станет. Сергий чувствовал, как и всякий, дыхание смерти и, кажется, уже понимал, что заведенная им механика слопает его целиком, она все время соскальзывала, золотой век будто раскисал на нашей глине, и под буксующие колеса надо было бросать себя, и Сергий наверняка уже измерил свою жизнь на куски: чтоб хватило до конца. В силу своих представлений о конце. Спасаться от чуда он бросился к власти.

Монастырь стал «общежитийным» — «все обща иметь». Возникла «киновия» — по-гречески, а по-латыни — «коммуна», «коммунизм» — с этого слова и вы должны что-то угадывать во мгле моего повествования — и напрасно. Сергий видел: неполадки внутри братии от стяжания, устраивать монастыри и церкви, крестить великокняжеских сыновей — неравенства, голода, зависти, праздности. Человек и без того слаб, а уж искушаемый имуществом — троекратно. Поможем слабым: общий труд, общее добро, общая еда — ничто не отвлекает братьев от света. Он в это верил.

Мы как никто представляем, насколько чуждой приходит в душу «киновия». Общежитийные монастыри мелькнули на Руси в полузабытые времена Антония и Феодосия Печерских, но не прижились — это было века назад, уж все позабыли «колхоз». Сергий не отважился сам открыть свою «коммуну», а ждал посланного патриархом креста с мощами мучеников литовских и благословения на «киновию» — как несчастный председатель сельсовета, имея на руках грозные указы, мучается ночами, а сам не начинает, ждет кожного уполномоченного из района.

«Коммуна» устремилась на помощь людям. Люди бросились прочь от нее. Сергий ушел, как только брат крикнул в церкви: «Кто есть игумен на мьсте семь». Ушел — его никто не остановил, и, значит, его изгоняли — монахи не захотели «колхоза». Сергий пытался, как встарь, отойти в сторону и перетянуть к себе, но четыре года прошло, пока он вернулся: значит, если и тужили, то не слишком, если и звали, то не все; значит, жили и обходились, и Сергий, раз увязнув коготком, не погнушался опять прибегнуть к верховной власти — вернулся, когда Алексей пообещал убрать всех недовольных, и Сергий, который запрещал братии руку поднять на темного землелашца, Алексею не возразил — такие дела.

Счастлив он был? Не знаю. Он был очень русским человеком. С очень русской судьбой.

Если я пытаюсь представить, как Алексей просил Сергия стать митрополитом, принять золотой драгоценный крест, мне кажется, оба молчали, исполняя для окружающих красивый, но лишенный смысла для них двоих обряд. Сергий не мог стать митрополитом — нетерпеливо переминался в ожидании Митяй. Сергию не нужна была митрополия — он и в Троицком монастыре был пастырем всей Руси. И он не знал, зачем ему митрополия. Обманувшийся в чуде, во власти, в силах своих, он сам вряд ли понимал, что у него — получилось. Это сверху видней. Внешне они обставили все достойно. Алексей: стань митрополитом, я очень тебя прошу. Сергий: я не достоин, не проси меня, а то уйду в далекую землю.

И он отправился в нее через несколько лет, отдавать последнее. Богородица явилась словно утешить его: «Избранниче мой...» И я хочу, чтоб так оно и было, чтобы блистающего света Богоматери хватило на весь его путь до дальней земли!

Хотя большой вопрос, что она ему сказала на самом деле, она же знала все, что будет потом. Про нас. И промолчала, пожалев?

Смерть восходила от земли — «ноги его костенели день ото дня, будто он по ступеням приближался к Богу», запомните на будущее: ноги уходили первыми, к о с т и с т у п н е й.

За полгода до конца он умолк.

И угас совсем немощным — братия двигала его руками, когда он причащался. Епифаний услышал из умирающих уст краткое напутствие, как без этого, но на самом деле вряд ли они смогли разобрать из немеющего шепота что-то, кроме: похороните на общем кладбище. Он попытался оставить только себе хоть сырую краюху холма Маковец, избежать судьбы, открытой Богородицей, да куда там... Разве сыщется на Руси свободная могила, когда за дело берется... Ну ладно.

Он перестал дышать, и лицо его стало светлым, как снег. В древней литературе мало цвета. Если есть, чаще — белый. И Епифаний вослед нацарапал пером то, о чем Сергий Радонежский за всю жизнь не вспоминал ни разу: об ангелах, о дверях райских открывающихся, о блаженных покаях.

Счастлив ли? По отношению к нему этот вопрос теряет смысл. Сергий прошел по стене меж счастьем и несчастьем. Он хотел уничтожить страх перед ненавистой раздельностью мира, он не брался уничтожить саму раздельность. Он разрушил лживую стену меж жизнью и смертью. Он избежал русской лени и спрятал русский страх. Он показал, что жизнь — это не то, что мы про нее думаем. Но он показал, что и бессмертие — это не то, что мы про него думаем: никакой амброзии и голых баб на весенних качелях.

Он дал нам почти все. И — почти ничего.

Крепко стукались лбами: а уж не при Сергии ли Троицкий «колхоз» стал коллективно стяжать, обойдя в корысти любых «особножителей»? Ловили в архивах какие-то деревеньки и солеварни и ставили рядышком с мнением Киприана «пагуба чернцем селы владети», или это после его смерти «колхоз» размахался и преобразился в крупнейшего землевладельца России, ухватывая села, бортовые деревни, солеварни, хлеба, семгу, шук, лещей, мед-сырец, накопив сорок миллионов рублей серебром к середине 17-го века и сто тысяч крепостных к концу 18-го, прославившись в народе поговоркой: «У Сергиевой лавры сам царь в долгу». Но, во-первых, какая разница, кто хозяйствует, лишь бы земля богатела, а во-вторых: какая разница?

Всего этого, может, в Сергии нет вовсе. Но все это есть во мне. Другого пути к жившему человеку я не ведаю.

Сегодня понял: в комнате пахнет ладаном. Вынес плащ в ванную:

все равно пахнет. Видит ли меня церковь? Скорее: имеет в виду. Прежде надо непременно согнуть спину, затем — окликнуть. В пустом ресторане навстречу подымается официант. Такой же заспанный и всклокоченный, как я. Вместо хлеба подает калачи.

От гостиницы увязался за мной черный щенок-овчаренок, схватывает печенье и носится вокруг — дурак ты дурак! — и мотает ушастью головой на бегу — от радости, и мчитя носом на голубиный табор. Под колокольный звон. Рано, еще не наполнили Лавру стада и пастыри, живут последние цветы, по мокрым дорожкам пробегают семинаристы, ступают парами их будущие «матушки» с румяными, сонными лицами, и так сладко и горько думать, что вот поедут они в забытые города, в развалины, к заждавшимся старушкам, и будут провожать мужей, рожать им деток — и дети не будут воры, — закрывать варенье из вишни и отвечать на низкие поклоны — победа Божьих сил тиха, как последняя болезнь, не палит из пушек.

Задыхаюсь солнцем на площади восставших «русских Афин», первыми возглаждавших бессмертия в заветные времена героев, когда боги спускались на землю и смешивались с людьми. И разверзаются каменные плиты, выпуская на волю золотые сны, и все начинается опять добрым знаменем: инок-пономарь, спавший на паперти, вдруг видит, как сдвинулась и упала гробница Александра Невского и святой князь поднялся на помощь правнуку, и на следующий день — нашли гроб с мощами. И в блистающем сияньи шлемов, упряжи, щитов вступает в Лавру русское воинство, и кони трясут головами, и старец монах и великий воитель-князь сходятся в узкой келье, и их явные голоса заглушаются тайнами, и глаза их говорят больше, чем язык. Князь говорит и думает: за «розмирие» с татарами приходится платить, полчища Мамай двинулись на Русь, а мы не собрались: Рязань, Смоленск, Нижний Новгород, Псков и Новгород — не с нами, нас много меньше, да и в полки набрали всех, кого могли, с рогадинами и дубьем; и ты же, отче, знаешь, что ополчение, может, и устоит, но ведь его высечет до последнего татарская конница. Надо встречать Мамай в Диком Поле, иначе к нему поспеет литовская рать — она и так дышит нам в спину, и все понимают, что ждет нас, нужно укрепить людей — Киприан, проклявший меня, не благословит, Дионисий в Царьграде, архиепископ Новгородский далеко, мне нужно твое слово, они его ждут. Хотя ты знаешь, что нам суждено. Я не могу вынести это один.

В Лавру стучатся гонцы с вестями, игумен шепчет: без числа плетутся, вижу венки мученические, но пока, князь, не твой черед, я сначала говорю тебе то, что должен говорить вслух: Мамай — царь. Ты должен покориться. Хочет он чести — дай. Хочет золота — дай. Князь, отвернувшись, качает головой: все пробовали, да поздно уже, ты ж понимаешь, что дело не в «выходе», не в дани, — меньше платим, и Мамай чувствует: что-то у нас началось. Надо ехать, отче, прости.

Игумен держит его: останься на службу, отпробуй нашего хлеба; а потом кропит святой водой храброе воинство, князя; и страшная тишина накрывает монастырь, когда на чистом месте меж черной ратью монахов и золотой — дружины игумен благословляет князя крестом и говорит только ему: «Иди, не бойся, Бог тебе поможет», князь быстро опускается на колени, игумен припадает к нему и выдыхает: «Ты победишь», и князь неловко что-то смахивает с глаз.

Войско достигает Дона и стоит: перейдем — позиция будет хорошая, но отступать будет некуда, и спешит «борзоходец» с грамотой от Сергия — идите без страха. И на Рождество Богородицы на Куликовом поле сошлись Пересвет с Челубеем, и оба пали.

А в деревянной церкви Святой Троицы монахи молились, и игумен называл тех, кто всегда обнял Куликово поле, они пели заупокойные молитвы, а он называл все новых, всю битву не покидая алта-

ря, принимая смерти на плечи свои, давясь этой тяжестью. Потом вдруг замолчал и пошел к выходу — никто не шелохнулся двинуться за ним, он на пороге вспомнил, что надо сказать всем, сказал: «Мы победили» и ушел, под страшным грузом своим, один.

Мы победили, и пусть святятся эти люди, посмевающие быть русскими наперекор «глубокому безмирию», прощаясь с уходящей во мрак Византией, на краю наконец-то дрогнувшей в «замяне» ненавистной Орды, раздавившей в ничто полторы тысячи наших селений, — обреченные, в крошечном одиночестве болот и лесов, эти великие люди, которые работают до рассвета и уходят, когда мрак не отступил даже на пядь. Они угадали. И народ угадал их, Сергей будто окликнул во тьме: а не меня ли вы ищете? И народ узнал: мы вот такие, мы есть, и от бедной одной лучины разошлись сорок монастырей, а от них — пятьдесят, разошлись собиратели земель, проповедники, просветители, живописцы, строители, хозяева, плотники, ювелиры. Земля нашла опоры: Авраамий Галицкий, Савва Сторожевский, Павел Обнорский, Пахомий Нерехотский, Афанасий Железный Посох, Сергей Муромский, Мефодий Пешношский. Разливался от Троицы свет, преодолевая раздельность людей, уча их бессмертию. Раздвинули скалы Запада и Востока сильными руками: граница начиналась за Можайском, когда маленького сына Василия Темного прятали от злых Шемякиных слуг, а когда умирал Иван III — до Киева оставалось всего пятьдесят верст, и он уже громко выговаривал, что свою «отчину» мы не признаем чужой и, как бы далеко она ни была, мы опять будем все вместе, и думал про Царьград. И сколько имен истлело, а эти — выстояли, и мне так хочется, чтобы они думали тогда о нас.

В соборе я нагнулся в торговое окошко: свечка сколько стоит? Монах размеренно ответил: свечу берите. Денег можете пожертвовать сколько пожелаете. Пальцы опять запнулись в кошельке: сколько? Надо побольше. Ну, вперед, я встал в очередь, просто, будто рядом стою, но за мной уже встали, взяли, мы переступали к мощам под тихое пение. Не надо думать, что делать «там». Но почему, когда наступает пора покупать свечи, кажется: надо подороже? Еще шаг. Смотри, что вокруг. На железном поручне под иконой опять скомканная желтая салфетка с истрепанными от влаги сгибами. Каждый день ее вижу. Чего они не убирают ее? А, догадался, конечно: салфеткой вытирают место на иконе, где хочешь поцеловать. Или вытираешь после себя. За собой. Тут я споткнулся. Сзади сильно зашаркали, и меня попросили отойти в сторону: все пропускали вперед ползущую на раскоряченных ногах увечную — она елозила по плитам толстыми обмотками и трясла свернутой налево головой с едва открывающимися глазами, тетка в синем халате подправляла ее, когда та сбивалась с пути: налево или направо, священник уже искоса посматривал на ее приближение. Я сунул свечку в ближайшую руку: пожалуйста — и пошел на выход. Вдруг она сейчас коснется раки и — вдруг? Что я-то тогда буду делать? Брезгливая тварь санитарного века.

На крыльце зевали два милиционера, один рассказывал: смешно убил кота. Надо дернуть за хвост, но так, чтоб он не успел выгнуться. Так смешно получилось. Только кровь потом не могли отмыть. Он повторял: вспоминаем — угораем.

В Успенском соборе уже отслужили, прихожане выстроились к священнику, а я, прогуливаясь, обнаружил в углу, под исцелованным стеклом, отлакированный коричневый гроб Сергия Радонежского, кое-где, кажется, скрепленный для целости даже жезью. За гробом, боком на батарею, сдержанно сопела в покойном сне некая старушка. Я примерился: гроб на человека небольшого роста, очень узок в ногах. Крышку, наверное, попилили на реликвии.

Из-за чего — страха? лени? — бесшабашно плюют потомки на помертвующую волю? Сколько бумаги измарал Гоголь: «... Чтобы деревня наша по смерти моей сделалась пристанищем всех не вышедших замуж девиц... Чтобы по смерти выстроен был храм, в котором бы производились частые поминки по грешной душе моей... Чтобы тело мое было погребено, если не в церкви, то в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались...»

А получил на Новодевичьем кладбище бюст, плечистый, как танкист-полковник, с издевательской надписью: «От советского правительства». Вот только вдруг и в жизни этих посмертно не оставленных на покой, «используемых», было нечто, предполагавшее посмертную судьбу — каждому свою? Ведь Гоголь — удивительно! — прощаясь с жизнью, напутствие друзьям закончил не как-нибудь, а: «... И человечество двинется вперед» — не смирился, объявил себя подданным, гражданином русской судьбы и, наверное, жаловаться не может, если судьба — взялась за дело. Вы понимаете, о чем я думаю.

Мало что простыл: сиплю и чихаю, так еще кто-то ходит все время за мной, обернусь — да никого нет. Хитро становлюсь вечером на площади у Троицкого собора, чтобы видно было кругом, — за спиной опять шаги, верчусь — все время за спиной. Крадутся и замирают рядом. И никого не видно: ветер скребется когтистыми лапами кленовых листьев да галки лущат желуди так, что ветки стукаются о крышу ризницы, в коей государство хранит награбленное, лишая сна милиционеров.

Другой творец Троицы и ловец света — Андрей Рублев — скрылся. Умудрился пропасть среди Москвы, в надречном холме, где-то на месте разоренной колокольни — на северо-запад от нынешней западной стены, и разные твари безуспешно шарят по земным пазухам с применением «последних средств», глупо считая, что люди остаются за дверьми, которые их скрывают, — будто им некуда больше идти.

Но это я вернулся, прошу простить. Некоторые вещи ужасно прилипчивы. Есть еще одна. Стыдно, но совершенно выбросить в окошко я не смог ее ни разу. В моей простывшей голове Сергей Радонежский никогда не присутствовал в одиночку. Я крадусь за ним, хоронясь за смолистыми соснами, подслушивал в келье, подглядывал чудеса, а за мной, треща ветками, пробирался еще один «товарищ», и, оглядываясь, я с отчаяньем убеждался, что это — Владимир Ленин.

И понимаю, что на самом деле — блажь, призрак. Но моя болезнь помимо рассудка сближает их, подсказывая совершенно бессмысленные сходства: оба среднего роста, рыжеватые, имели единомышленных старших братьев, носили бревна на плече, оба просветили Русь — фаворским и электрическим светом, — оба жили под чужими именами, скрепили землю, шедшую вразнос, умолкли одинаково перед смертью и заслужили судьбу нетленных мощей с очередью для поклонения.

Просто решить: Кремль раздавил Лавру, Империя погибла, как Рим, — избивая христиан, Россия погибла из-за Ленина-дьявола, но ведь кремлевские стены возведены так нам знакомыми работающими святыми руками. И мы напрасно думаем: дьявол — это другой. Дьявол, как и Бог, — во мне: Епифаний верно разглядел его черты — «дьявольские мечтания», дьявол — «мысленный зверь», посторонним он был лишь в русской античности: боги были весильны и молоды, а бесы приходили из леса в «островерхих литовских шапках», и боги не знали будущего на блистающем Маковце и хохотали: «... Дьявол хочет и землю потребити, и море иссушити, не имея власти даже над свиньями», не зная, что их великая «машина», понемногу привыкнув, вдруг бросится пожирать людей, а потом сожрет сама себя и рухнет — без дьявольского, чужого касания, от внутренней хвори.

Ленин, не замечавший поразительно многого, Сергея «учитывал» и по-своему спешил «приложиться к святым мощам». Мощи показали ему на белом полотне, и он обрадовался, не ведая, кого следующего засушит «машина»: «Надо проследить и проверить, чтобы поскорее показали это кино по всей Москве».

Да, море проседает впереди, теперь и вы видите искомый Царьград: башни и крыши на темных скалах, и черные звери бегают вдоль воды — к чему мы так неотвратно плыли.

Плыли — любили его имена, гуляя пальцем по карте: Мраморное море, акрополь, ворота Святого Романа, церковь Марии Паммакаристы, форум, Влахернский дворец, гавань Золотой Рог и совсем близкая — Троя... Но, пока мы добирались, Мехмед Второй привел двести тысяч под зеленым флагом и они два месяца лупили пушками наши блистающие стены, рыли подкопы, сооружали осадные машины, засыпали рвы — город защищало всего семь тысяч (как всегда: раз надо — значит, нет), а Мехмед Второй даже спать не мог от нетерпения, и рисовал схемы штурмов, и, как мы, любовался картой — этот воитель, любитель философии и астрономии, велевший резать рабам животы, чтобы выяснить: кто же съел краденую дыню. В последнюю ночь турки не спали. Они развели столько костров в лагере и на кораблях: биремах и триремах, что защитники обрадовались: пожар! Поняв, стали прощаться друг с другом. Мы все плыли, а город резали три дня, императора зарубили янычары, живые прятались в храме Святой Софии — чудо спасет. Да разве сыщется у нас чудо, когда за дело берется...

Мехмед въехал в прекрасную Святую Софию на белом коне. Посмотрел, даже удивился: так красиво... Пусть здесь будет мечеть.

Мы добрались и стали, и «корабль тот тогда стояше на едином месте и не поступая с места ни семо, ни тамо».

Живу, не сдвигаясь с места, и кажусь себе римским легионером, брошенным умирать в Африке, где нищие дети окружают в лохмотьях иноземные автобусы, туземцы ленивы и голодны, слушают английские песни, едят американские фильмы, стыдятся своих шаманов и любят своих пиратов, — я ненавижу место умирания. Но не так давно выяснилось, что для подлинной своей Родины я — косматый краснознаменный варвар, я — незаконнорожденный, но любил-то ее как родную! Глупость — так не повезло. Все изменилось. Сердце своими ударами давало жизнь, теперь — приближает смерть. И смерть ожидает иная: лечь в зыбучие, загаженные пески. Меня не срзат тихая стрела Артемиды, и Гермес не толкнет к кованым воротам подземного царства Аида, которому приносят в жертву зверей черного цвета. Там пустует всегда однаобитель — смерти, та всегда на земле. Там течет Ахеронт, и Харон переправит на своей ладье на асфоделовый луг, и ты обязательно выйдешь на берега другой реки, и почувствуешь жажду, и напьешься, и весело крикнешь: «Что за вкусная вода? Старик, слышишь? Я — совсем другой!» Старик ответит: «Лета». Господи, но почему я сразу все забыл?

Могли б здесь проститься, не трогать мощей, но дурные помыслы должны открываться исповедникам. Да и на что мы больше годны? Мы — старьевщики, наше дело — собрать кости и очистить помещение. Вытереть пыль с карт далекого города и написать карандашиком, что где было: светило, цветок, звезда, луч, лилия, кадило, яблоко, шиповник, золото, корабль, крепость — слова, которыми премудрый Епифаний кратко записал для памяти свое чудесное путешествие за Сергием вслед. Их не прочтут — на наше место прикочуют легконогие племена с черными собаками, но с похожим на наш языком — и никогда не узнают, что за город здесь погребен.

Ну что ж, берег все ближе, а среди русских святых не было ни одного рабочего. Крестьян — меньше одного процента. Крестьянский сын — один. Убит молнией. Из книжки «О святых вещах» (цена — 13 копеек) узнаете: «Гниение — это естественный, закономерный и полезный процесс». Эти слова высечены на городских воротах.

Пойдя навстречу нетерпеливым пожеланиям трудящихся, 1 марта 1919 года Наркомюст дал указание о вскрытии мошей. А когда покопались вдосталь во всяких там пресловутых Ефросиниях Полоцких, Александрах Невских, Тихонах Задонских, Сергиях Радонежских, посмеялись и распределили, что в помойку, что в музей, — Наркомюст больше не волновал и 20 августа следующего года повелел — «О ликвидации мошей».

Дерево упало, птицы отлетели.

В этом городе странно жили: скоро — сойдем, посмотрим: и газеты вредные выходили, и умники «отъезжали» за рубеж, и деньги любили, и богохульствовали (да еще как!) — однако ж за пятьсот лет ведь ни у одной сволочи не хватило решимости обнажить мощи Сергия! Видели многие: когда осматривали после удара фанатика-сектанта топором; показывали «голову» игуменье Страстного монастыря Евгении Озеровой летом 1869 года; в семнадцатом году уносили на руках от пожара в алтарь и посмотрели, не задело ли?

И вот — дожили. Здесь пахнет колдовством, безумием. Но мне кажется: вожди искренне искали святых. Собравшись на штурм царства небесного, они не могли оставить за спиной «святую засаду». Разбивая раки, они благословлялись на свой манер, доказывая дружине: «Мы победим!» И даже если б из одного гроба поднялся-таки нетленный чудотворец, ровным счетом ничего бы не изменилось — живо накинута бы шинель, запихали в грузовик и повелели бы ему вечерами, внештатно, за пшено, читать антирелигиозные лекции в клубе красных ткачих — у них уже хватало опыта «обращения святых», а какой еще будет! Но народ-то, мне кажется, лукавил: противиться — лень и страшно, однако, позволив комиссарам залезть в священные раки, народ ждал: а вдруг сейчас отсохнут комиссарские руки и огонь небесный испепелит все смутные времена, да и нас заодно, чтоб детям неповадно было? Народ устраивал Господу хитрую ловушку, да и ухнул в нее с потрохами. Разве явится на Руси спасение, когда . . .

Святые разные: кто ушел в глубь земли, кто подбросил вместо себя собачьи кости, мусор, черепки, кто подменился восковой куклой. Сергей, как и жил, не тронулся с места, не унизился, своих не бросил — да это и так было понятно, с самого начала. Его полезли ловить в «лазареву субботу» — день памяти Лазаря, воскрешенного Христом. Христос сказал: иди вон, и Лазарь вышел из склепа, путаясь в погребальных пеленах, — не зря день выбирали, жрали себя без пощады.

Лавру готовили заранее, перешерстили «показательным обыском»: гляньте, товарищи, как монахи жили, — вот рясы дорогого сукна, вот письма от женщин, лекарства и инструменты для лечения венерических заболеваний, порнографические открытки. Обжирались, обпивались, обкуривались, кидали изнасилованных женщин с башен — и это в век санитарии.

Прихожане скопили пять тысяч подписей под прошением — «слезницей» — не троньте Сергия. Дня, когда корабль ткнется в берег, не ведали. Когда прискакала конная милиция и рота курсантов встала на выходах и вокруг, с грузовика попрыгали кинооператоры и потащили прожекторы в собор, Лавра ахнула: сегодня! Толпа шумнула, но бойцов не удалось спровоцировать на «ненужную кровь». «Ненужная кровь» — вот чем мы обогатили эту землю!

В зале духовной академии начальство ожидало духовенства. Пришел наместник и заговорил: «Сергий для русского народа . . . Его чуде-



са...» В общем, посмеялись. Ладно, время, товарищи, кто будет вскрывать? Наместник указал: иеромонах Иона, из бывших моряков. Начальство понимающе ухмыльнулось: а чо не сам?

Наместник ответил на непонятном языке: «По нравственному чувству не могу. Страшусь».

Киношники закончили ставить свет — в соборе стояли «носом в затылок», едва дыша, на площади топталась толпа, ожидая чуда или наконец-то свободы. Монахи подошли к раке с поясными поклонами и уставным кадением. Запели было величание Сергию, но председатель исполкома устал ждть и махнул рукой: «Да хватит. Времени вон сколько было, столько уж величали...» На самом деле времени уже не было, настало 11 апреля 1919 года. Двадцать часов пятьдесят минут. Корабль достиг берега, и мы ступили на голые скалы.

Уеду — что останется? Жил, жевал, пустая кровать шептала телефоны московских подружек, бил орехи стеклянной пепельницей на местной газетке с «разоблачением ритуальных убийств младенцев», хотя если братья писать житие...

Тогда люди не знали: когда родился, сколько лет. Епифаний набросал несколько примет «того» года, приметы налазят друг на друга, сосрятся: с 1313-го по 1322-й. Из любви к круглой цифре жизни — «семьдесят» — мне нравится 1322-й. День памяти апостола Варфоломея, с которого содрали заживо кожу, отмечали 11 июня и 25 августа. Он родился летом. По теплу.

Простыл, шатаюсь по кустам, кашляю с рыдающими звуками, давно не брит, хочу быть «как они», и милостыни уже не спрашивают — ничем не отличен от того, что спит на лавке, постелив книгу под бороду, а проснувшись от колоколов, просит карандаш: «Надо записать. Тут один грех вспомнил».

Никогда не ломал голову: где же Сергей? Есть такая книжка — «Псалтырь», мне кажется, за ней никто не следит: псалмы все время меняются, дописываются разной рукой. Я наткнулся на один: это писал Сергей. Вот, значит, где он.

У меня сводит скулы, когда читаю: единственная женщина, помянутая в житии, — это Богородица. Богородица, и больше не было женщин в жизни Сергия. Забывают про мать. Как трепетала она за него еще с того дня, когда трижды прокричал он в ее чреве, а она стояла в церкви; когда не брал он грудь у нее — постился, не принимал кормилицу; не шла учеба у него; братья переженились, а он захотел в монастырь, ходил печален и думал о грехах, и она до конца так и не была уверена: что в нем? И мучилась тем, что не узнает этого, — его жизнь начнется только после ее смерти, и, кажется, она даже торопилась умереть, чтоб не терзаться неизвестностью, и каждый день молилась за сына, каждым вздохом своим — молилась за сына. И я б треснул Епифания по рукам, когда выводил он, что, простившись с могилами, «вернулся Варфоломей в дом свой, радуясь душою и сердцем», — нет! И у меня есть глубокое личное мнение, чья молитва хранила его, кому молился седой умирающий отрок Варфоломей и кто пришел утешить его и принять слезы.

Вечером разглядывал семинарию, а чья-то рука заперла железную калитку, впустившую меня, — увидал только край черной одежды. Поддергал все двери — закрыто. Не решился стучать. Полез на кирпичный забор и прыгнул на землю фабрики игрушек, подрагивая от холода, читал плакаты: «Крепи трудом могущество Родины», «Коммунизм строить молодым», переправился через грязь и зашарил по деревянно-

му забору, набирая репьев на штаны, нащупал-таки калитку. За ней открылась сырая темь — парк культуры. Как-то сразу ступнул мимо тропы, оказался в каких-то кустах и все оглядывался: кто же крадется следом? Вот черт, днем я вроде вниз по склону шел, а тут вообще — ровно, только плещет вода впереди — никакой воды днем не было. И я вылез к бетонному пруду и постучал ногами, сбивая грязь и листья. За прудом начинался наконец-то спуск, и я бодро устремился дальше, к неясному белесому пятну, предполагая в нем тумбу ограды, и вдруг понял, что это не так, но, в общем, так должно было произойти, и я все равно пошел туда — меж черных стволов криво торчал каменный Ленин с надписью «жидяра» на подножье. Я поднял глаза — в лицо ему брызнули красной краской, и в подземной тьме оно преобразилось: это было лицо забитого насмерть человека, с распухшими, смятыми смертной гримасой губами, разбитым носом, смертной усталостью в глазах и ледяным холодом, уже обдавшем стылостью чело. Шевельнулись листья, и я мигом обернулся: черный щенок сидел под деревом и молчал, даже глаза не блестели на угольной морде, будто их нет. И я понял, что если он сейчас хоть что-то мне скажет...

Утверди шаги мои на путях Твоих... К Тебе взываю я, приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои...

Иеромонах Иона — с красным лицом, слезами на глазах — снимает покровы: зеленый, голубой, черный, темно-синий, малый покров, черный бархатный — с головы. Все покровы шиты серебром и золотом, крестами. Стали видны контуры, напоминающие человеческое тело, перевязанное на груди и у колен узкой синей лентой.

Храни меня как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня... от врагов души моей, окружающих меня... Избавь душу мою от нечестивого... Обнял меня муки смертные и муки смерти опутали меня... В тесноте моей я призвал...

Иеромонах вынимает с игуменом Ананием фигуру. С головы снимают черный мешок, вышитый крестом. Снимают покров. Разматывают желтую ленту. Под ним — фигура в голубом. Голова в черном. С головы снимают шапку. С шеи — бант фиолетовый, затем — голубой. Иеромонах разрезает швы у ног, ножницами распарывает голубой парчовый мешок. Сбоку вынимает вату, и фигура становится толщиной в четыре пальца.

Все... ругаются надо мной... «Он упал на Господа, — пусть избавит его»... Не удаляйся от меня; ибо скорбь близка, а помощника нет.

Снимает мешок. Под ним — полуистлевшая ткань коричневого цвета, снизу — лубок. По снятии шапочки обнаружен человеческий череп. Частью на лубке, частью на весу. Справа виден первый шейный позвонок. Человек среднего роста. При поднимании черепа нижняя челюсть отделяется, в ней семь зубов.

Множество тельцов обступили меня... Раскрыли на меня пасть. Я пролился, как вода: все кости мои рассыпались; сердце мое... растаяло посреди внутренностей... И Ты свел меня к персти земной.

Развертывают истлевшую одежду. Все густо пересыпано мертвой молью, видны рыжего цвета волосы, ременной пояс. Поднимается пыль. Отдельные позвонки, кости таза, правая берцовая, правая бедренная кости целы. Доктор Попов поднимает черепную коробку, вынимает завернутые в провощенную бумагу желтого цвета волосы. Доктор собирает массу моли и показывает присутствующим.

Псы окружили меня... Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий...

От предплечий остались одни истлевшие части. В области лобка

пучок рыжих волос без седины. Череп соответствует по древности костям. Кости найдены все. За исключением ступней.

Одежда была грубого деревенского сукна, вся перевязана крест-накрест ремнем в виде веревки толщиной в обыкновенный карандаш. Все время шла киносъемка. Все присутствующие проходят и смотрят. Протокол прочитан всем присутствующим. Возражений нет.

Но ты, Господи, не удаляйся от меня... Избавь... Душу... От псов одинокую мою... Спаси меня, избавь меня...

\* \* \*

В день отъезда в городе слышны электрички. Собрался до обеда, чтобы не платить за сутки еще. Притащился с сумкой к монаху, сидящему «на экскурсиях». Монах, взясь с самоваром, объяснил: экскурсия стоит сотню рублей, лучше вам подождать еще желающих. Вздохнув, я двинул ему сторублевку. Он тут же указал на меня розовому семинаристу: веди. Семинарист, в одно мгновение лишенный редкой возможности покрасоваться перед девчонками автобусной группы, поплелся вперед, не подымая головы, как на промывание желудка. Только раз оглянулся на небритого идиота, тянущего вслед раздутую сумку.

Я тут же бросил сумку: да за каким чертом мы куда-то идем! Семинарист, оглянувшись, решил, что «здесь», встал ко мне боком и поднял руку:

— Преподобный Сергей Радонежский родился в благочестивой семье боярина Кирилла, мать святого звали Мария, семья...

— Ладно, ладно, — сказал я. — Тебя как звать?

— Андрей, — поперхнулся семинарист.

— Андрей, что лежит в раке в Троицком соборе? Как это выглядит?

— Нетленные мощи.

— Я знаю. Как это выглядит?

— Совершенно сохранившееся тело святого.

Тут я поперхнулся, хотел что-то сказать, а потом махнул рукой и пошел к выходу. Наверное, он прав, так оно и есть.

На вокзале спускался с моста, какая-то девочка пожаловалась маме: «Вот и подходит к концу наше путешествие», — я испуганно обернулся.

Въедливый знаток выскребет у меня пяток несопадений, умолчаний, перетасовок — я знаю про них. Если ты дотошно честен в каждом слове, ты не можешь написать правды. Надо выбрать, что ты хочешь. Что вышло у меня — не знаю.

Подходит к концу наше путешествие, и город вбирается в крематорий вокзала, и касса выдает прах на ладонь — белой, невесомой бумажечкой с сиреневыми цифирками. Непонятно — думать о вечности. Вечность — это что остается без нас. А что такое «мир без меня»? Почни ничего. И почти — все.

Нет света, придется жить еще, искать тех, кто нас хранит, и хорониться от тех, кто нас ищет.



# Виктор Некипелов

## МАЙЕРЛИНГ

*Шумная и скорая волна гласности почему-то обошла стороной, не коснувшись стихов Виктора Некипелова, и это позволяет сегодня прочитать их внимательно, неторопливо, без перестроечного политизированного придыхания. С другой стороны, не настало еще время, когда о людях, оставивших тот или иной след в литературе советского периода, можно было бы говорить, не отталкиваясь от их подчас весьма трагических биографий.*

*О Некипелове с неизменной теплотой вспоминают многие правозащитники, в том числе — А. Д. Сахаров:*

*«Виктор Некипелов — прекрасный поэт, член Московской Хельсинкской группы, ранее судимый за стихи (два года заключения), добивавшийся разрешения на эмиграцию и получивший отказ. Для него готовили другую, более печальную участь! По профессии медик-фармацевт, он был арестован прямо в аптеке. Виктор — семейный человек. Эти сухие данные не вмещают того, что мне страстно хочется передать: трагичность судьбы честного, талантливого, внутренне крайне ранимого и одновременно мужественного, отзывчивого человека».*

*Судьба Виктора Некипелова была predetermined уже тем, что родился он в Харбине, в эмигрантской семье, вернувшейся затем в Россию и, конечно же, подвергшейся репрессиям. Мать свою Виктор видел в последний раз одиннадцатилетним, во время ее ареста. Но, мне думается, не это обстоятельство сыграло решающую роль в дальнейшей жизни Некипелова. Не зря ведь Сахаров пишет: «судимый за стихи». В первый арест Некипелову действительно ничего не могли инкриминировать, кроме обнаруженного при обыске самиздата, то есть речь шла даже не о его собственных крамольных сочинениях, а о стихах других, запрещенных поэтов, которые он осмелился читать и хранить у себя дома. После «экспертизы» в институте Сербского, суда и двухлетнего заключения вполне естественным было последующее, уже активное участие Некипелова в правозащитном движении, так же, впрочем, как и ответная, более жестокая реакция властей.*

*Вдова поэта Нина Некипелова вспоминает: «На следствии В. Некипелову говорили: «Мы вас выпустим, Виктор Александрович, за границу, но сначала мы вас уничтожим как личность. Мы вас выпустим, когда вы уже никому не будете нужны, никому». Они выполнили свое обещание. Когда в 1987 году Некипелова освободили, состояние его здоровья было таким, что он не смог включиться в жизнь. Но одного они все-таки не сумели — им не удалось убить в нем любви к близким и великого человеческого права быть свободным. Умирал он спокойно, как будто действительно уходил в свой Майерлинг, где только любовь, только добро».*

*Нынче достоянием истории стали и диссидентское движение, и последовавшая затем гласность, и связанная с нею эйфория. Лишь у стихов — своя история, своя продолжающаяся судьба. Может быть, это даже хорошо, что не все из них мы прочитали тогда, в конце восьмидесятых, когда пребывали в беспечно невнимательном благодушии. «Реальность жестока. Ты разве не знал, что свобода — великий обман?» — это писал Виктор Некипелов, поднадзорный поэт, для которого ирреальным и несбыточным было обыкновенное подмосковное*

*Алабушево. Свобода — иллюзорна, но фантастический Майерлинг — реален, воспроизводим — в этом несложно убедиться, стоит только прочитать стихи...*

Валентина Гридасова

\* \* \*

Тракт поэзии русской — навеки  
 Окаянный, ухабистый тракт,  
 Где, как скорбные серые вехи, —  
 Полосатые будки стоят.  
 То снегами его заметает,  
 То жарою нещадно палит...  
 Все считает кибитки, считает,  
 Мусля палец, солдат-инвалид.  
 Сколько здесь пролетело их, грешных,  
 От радищевских первых саней!  
 Промелькнуло — то конных, то пеших  
 Дорогих, незабвенных теней!  
 Чу! Опять застонали колеса.  
 Из томительной, призрачной мглы  
 Выступают виденьем белесым,  
 Головами качая, волю.  
 Два в истлевших мундирах скелета  
 Заунывно кричат: «Цоб-цобе!»  
 То по тракту везут Грибоеда  
 На скрипучей черкесской арбе...  
 Так весь день по разбитой дороге,  
 Мимо будки, сквозь зной иль снежок, —  
 То скрипят похоронные дроги,  
 То грохочет опальный возок.  
 И опять, сердобольно сложивши  
 Три обкуренных пальца в щепоть,  
 Торопливо их крестит служивый  
 И бормочет: «Прости вас Господы!»

## МАЙЕРЛИНГ

От навязших словес, от истлевших идей,  
 От обманных, безмускульных книг,  
 Из жестокого царства усталых людей —  
 Я хочу в голубой Майерлинг.

Ты готова к побегу? Идем, я готов,  
 Чтобы прямо из зала кино —  
 Пробежать, взявшись за руки, между рядов  
 И нырнуть головой в полотно!

Услышать за спиною испуганный крик,  
 И свистки, и соленую брань,  
 Но уйти от погони — насквозь, напрямик,  
 В зазеркалье, в хрустальную грань.

Там не знают жестоких и мстительных слов,  
 Не штурмуют высот под «ура»,  
 Там не верят в кумиров, но верят в любовь  
 И в негромкое «брат и сестра».

И в каком-нибудь горном селенье, где снег  
 Оборвал до весны провода,  
 Зазеркальные люди дадут нам ночлег,  
 Не проверив у нас паспорта.

Кто-то доброй рукой нам постели взобьет,  
 Боль-удавка отпустит виски,  
 И друг друга впервые всю ночь напролет  
 Мы сумеем любить без тоски.

И, поверив, что жизнь дорога и чиста,  
 Мы навечно останемся там,  
 А весною не станем чинить провода,  
 Чтоб никто нам не слал телеграмм.

Понемногу залечим рубцы от оков  
 И разгладим морщины у глаз,  
 Будем верить, отринувши голых богов,  
 Лишь молитве, которая в нас.

Будем хворост вязать и по долам бродить,  
 Поклоняться горе и воде,  
 Будем сеять свой хлеб, будем в церковь ходить  
 И учить сыновей доброте.

Но реальность жестока. Ты разве не знал,  
 Что свобода — великий обман?  
 И обратно, в хохочущий зрительный зал  
 Нас с размаху швыряет экран.

Снова в царство неправедных, злобных богов,  
 В непролазную тину и ложь.  
 И какие-то рожи лисиц и хорьков  
 Ухмыляются мерзко из лож.

## АЛАБУШЕВО

Не обижены судьбою,  
 Одарила нас удача:  
 Финский домик под Москвою —  
 То ли ссылка, то ли дача!

Все по чину и по сану,  
 По родимому закону:  
 В уголках — по таракану,  
 В потолках — по микрофону.

А на все четыре розы —  
 Елки, палки, галки, грузди!  
 Если вспять пошли морозы —  
 Значит, нет причин для грусти.

Наслаждаемся природой,  
Крутим пленку с Окуджавой,  
Умиленные заботой  
Нашей матери-державы.

С каждым днем нежнее, ближе  
Узнаю ее натуру!  
Кто-то топает по крыше —  
Проверяет арматуру...

Ну и ладно, жребий брошен!  
Мы живем и в ус не дуем,  
По углам — буры накрошим,  
Потолкам — покажем дулю!

Хоть без очень четкой цели,  
Но живем своим укладом.  
Если сильно дует в щели —  
Затыкаем самиздатом!

Есть вопросы, нет ответа!..  
Спорим, курим, ждем Мессию,  
Чтоб, проникшись высшим светом,  
Вместе с ним спасать Россию.

А она не шьет, не строчит,  
Пьет и пляшет — губы в сале.  
А она совсем не хочет,  
Чтобы мы ее спасали!

## ПЕТРУШКА

Батогами Петрушку секли, батогами!  
Ах ты, тать, твою мать, неумытое рыло!  
Торговал бы в Калашном ряду пирогами,  
Медовухой и сбитнем, и ладно бы было.

Но его, подлеца, как козла на капусту,  
Потянуло к паскудству: к искусству, к искусству!

На крамольные речи, жидовские книжки.  
Загудело в мякинной башке, зазудело,  
Замелькали в глазах Митрофаны да Тришки,  
Мол, давай, пострадай за народное дело!

Попугаем заладил: свободу, свободу!  
А скажи-ка, ему это нужно, народу?

Знам мы этот народ — дурачье, остолопы!  
Как тряпичные куклы в твоём балагане.  
Их учи не учи — алкаши да холопы,  
Только цыкни — и станут ходить вверх ногами!

За веревочку дерни — спюют и попляшут,  
За другую — пойдут, за Отчизну поляжут.  
Им пожрать посытней да в тепле отоспаться...  
Не ходи, дурачок, за других заступаться!

Батогами Петрушку секли, батогами!  
 Смаковали, солью присыпали, стервозы!  
 Натянувши порты, растирал кулаками  
 По тряпичным щекам деревянные слезы.

От обиды и боли едва ли не помер,  
 И казнилса Петрушка, скуля и сопя,  
 Что никто не дознался, никто и не понял,  
 Что Петрушка-то был

только сам за себя!

## КВАРТИРА

А все же свершилось, а все ж подфартило,  
 Хоть долго гоняло по мертвому кругу.  
 Веселое слово: «квартира»...

Квартира!

Какую лизнуть волосатую руку?  
 Кипеть самовару, кухарить гулянке,  
 Плеснем коньячком по обойным цветочкам!  
 Какая усатая фея с Лубянки  
 Махнула, раздобрясь, волшебным платочком?  
 Неважно, что косо, неважно, что криво,  
 Ведь мы понимаем, что это не Рио.  
 Какие-то Камешки — город не видный,  
 Ну, разве что винный, а в общем невинный...  
 Неважно, что взбухли, рельефны и четки,  
 По стенам артерии «скрытой» проводки,  
 Что левые двери — на правой завеске,  
 Зато по-русски, зато по-советски!  
 Ну ладно, не будем чернить и порочить,  
 Не плюнем напрасно в дарящую руку,  
 А если не так что — возьмем топорочек,  
 Подгоним по вкусу, по росту, по духу.  
 Все наше! Навечно! Твердо и добротное.  
 От мира чумного закроемся плотно,  
 Ведь сказано кем-то:

«Мой дом — моя крепость».

И трудно поверить, какая нелепость! —  
 Что нет и не будет у нас передышки,  
 Что это такая же шаткая пристань,  
 Что где-то по следу, зайдясь от одышки,  
 Уже семенит растерявшийся пристав...  
 Что здесь, вот у этой стены, как влитые,  
 Застынут в дремотной тоске понятия...  
 Что это отсюда, из этой квартиры,  
 Однажды сведут к воронку конвоиры...  
 Но это потом, а покуда, покуда —  
 Блестит унитаз, продолжается чудо!  
 К дверям привернули бульдожьей цепочку,  
 Зеркалит жена запотелую раму,  
 А я отправляюсь вприпрыжку на почту —  
 Министру Андропову дать телеграмму.  
 Мол, рады и сыты, спасибо державе,  
 Так, может, дадим передышку облаве?  
 Есть студень и частич и всякое зелье —  
 Прошу не побрезговать —

на новоселье!



## МИНУТНОЕ

Была у нас теплая речка —  
Остыла, покрылась ледком.  
Была у нас тайная свечка —  
Жандармы прошлись сапогом...

Была у нас синяя лодка —  
Подбили, пустили на дно.  
Была у нас горенка — ловко  
Заткали решеткой окно...

Ты плачешь, родная? Не надо!  
Откуда им, жалким, понять,  
Как стали теперь мы богаты,  
Раз нечего больше отнять!

## ПЕРВАЯ КАМЕРА

Она и не пар, и не камень,  
Она и не шар, и не куб,  
То воском плывет под руками,  
То стынет металлом у губ.

Я знаю: другие — заполнясь  
Дыханьем моим и бедой, —  
Скользнут сквозь меня, не запомнясь,  
Несомые черной водой.

Но этой — голодной и нервной,  
Теперь до последнего дня  
Мне снится — как женщине первой,  
Когда-то растлившей меня.

Той рыхлой и доброй солдатке  
С рябым белоглазым лицом,  
Когда-то зазвавшей на святки —  
Попотчевать сладким винцом...

Вот так же и камера эта,  
Где даже и мухи — рабы:  
Ослепнув от вечного света,  
Живут по щелям, как клопы, —

Теперь меня хочет и злится,  
И стыдные шепчет слова.  
Я должен схитрить — раздвоиться,  
Распасться на два существа.

Чтоб эта постыдная смычка  
С прожорой лихой и рябой  
Однажды — не стала привычкой,  
Хотя бы и стала судьбой.

## ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА

*В час вечерний, в час заката  
Каравеллою крылатой  
Проплывает Петроград...  
Н. Г. (последнее стихотворение  
из тюрьмы)*

Какое высокое небо!  
Какая глухая тоска...  
Опять неподвижно и немо  
Висят надо мной облака.  
И в памяти снова и снова,  
Усталую душу садня,  
Всплывают стихи Гумилева,  
Чеканно и нежно звеня.  
Волнующе зыбки и белы,  
Скитальцы зеленых зыбей, —  
Плывут облака-каравеллы  
Над каменной клеткой моей.  
Хоть мачты их гнутся от ветра,  
Натужно гудят брамселя,  
Но даже на полмиллиметра  
Не сдвинется нос корабля.  
В лазурной обманчивой влаге  
Застыли в печальном строю,  
И узкие гордые флаги  
Увязли, как мухи в клею.  
Вот так, уже скоро полвека  
В воздушных скитаясь струях,  
Везут они к отчему берегу  
Поэта опального прах.  
Струится свинцовая Лета,  
Вскипают валы за кормой...  
...И до сих-то пор за сонеты  
Нам родина платит тюрьмой.  
*1974 г., Бутырская тюрьма*

## МОЕ ТЮРЕМНОЕ ИМУЩЕСТВО

Зато с мешками мне не мучиться,  
Не волочить их на спине.  
Мое тюремное имущество —  
Все то, что есть сейчас на мне.

Тут что ни вещь — друзей старания,  
И есть кого припоминать.  
Такого пестрого собрания  
Нарочно было б не собрать!

Такого ладного и ноского,  
Такого теплого вдвойне.  
Вот — брюки Гриши Подъяпольского!  
И — Пети Старчека кашне!

И словно весь я скроен заново,  
Не сразу скажешь: кто есть кто.  
Вот — шапка Тани Великановой,  
Петра Григорьича пальто!

И вновь родные вижу лица я,  
Не устаю благодарить.  
Какая добрая традиция —  
Одежду узникам дарить.

И — словно нету расставания,  
И все они опять со мной.  
Как будто всей честной компанией  
Сидим мы в камере одной!

## Я УШЕЛ ЗА КИТОМ ГОЛУБЫМ

*Моей жене Нине*

Кто-то будет судить и судачить злорадно,  
Кто-то станет болтать, что я призрак и дым.  
Ты ответишь им: нет, он вернется обратно,  
Он ушел за китом голубым.

Еще нет расслоенья на тело и душу,  
Еще мир не расколот на тысячу стран,  
Есть на свете одна нераздельная суша  
И один молодой океан.

Еще люди не знают проклятых вопросов,  
Еще нету у них ни греха, ни суда,  
Еще можно поэту наняться матросом  
И однажды уплыть в Никуда.

Бороздить день и ночь зоревые просторы,  
Слышать пенье сирен, открывать острова,  
Видеть новых созвездий цветные узоры,  
В сердце нежность копить, экономить слова.

Пусть несут паруса, как могучие кони,  
И затянется путь наш на несколько лет.  
Этот кит-великан не уйдет от погони,  
Мы отыщем его фосфорический след.

Проживи свою жизнь без стенований и боли,  
Жди меня, — как всегда, вспоминай молодым.  
Клетки нет. Смерти нет. Есть бескрайняя воля.  
Я ушел за китом голубым.

---

---

# Роберт Штильмарк

## ГОРСТЬ СВЕТА

*Роман-хроника*

### Часть вторая

### ПАДШИЕ АНГЕЛЫ

*... Он увлек бывшего товарища по райскому блаженству в коридор возле кухни, оставил подсвечник, вынул из кармана ключ, открыл стенной шкаф и, приподняв занавеску, показал два больших белых крыла.*

*— Видишь, — сказал он, — я сохранил их. Время от времени, когда я один, я прихожу поглядеть на них, и мне становится легче.*

*Анатолий Франс. «Восстание ангелов»*

### Глава седьмая

## В ОЧИ БЬЕТСЯ КРАСНЫЙ ФЛАГ

### 1

Ноябрьским вечером 1917 года во временный лазарет уездного города Ельца Орловской губернии доставили простреленную в грудь на-вылет восемнадцатилетнюю дочь петроградского инженера Беркутова Катю, всего неделю назад обвенчанную с сыном генерала Григорьева Вадимом.

Часом позже в другую елецкую больницу привезли и Вадима с тяжелым огнестрельным ранением в голову.

Как потом выяснилось, узнав о поступке Кати, он стрелялся из того же револьвера, в том же двойном гостиничном номере, где семья Беркутовых остановилась проездом из Петрограда на юг, к донским степям и белым казачьим формированиям. В Петрограде осталась пустовать богато обставленная квартира под малонадежной охраной дворника. С собой семья взяла только самое необходимое: по твердому убеждению Беркутова, большевики, захватившие власть в Петрограде, не смогут удержать ее дольше двух-трех месяцев, пока народ не опомнится и не восстановит завоеванные в феврале демократические порядки, свободную печать и нормальную хозяйственную жизнь. Тогда можно будет вновь вернуться домой, на Мойку, к родным пенатам. Соглашалась с супругом и Анна Ивановна, и младшая дочь Беркутовых Тоня. Однако Катя думала совсем по-иному.

Унаследовавшая острый отцовский ум аналитического склада и его математическую одаренность, старшая дочь резко расходилась с отцом в политических взглядах...

Катя родилась и выросла среди почти дворцовой роскоши, в Доме Государственного Контроля на Мойке. Дед Иван с материнской стороны — сенатор и глава Государственного Контроля — внушал почтение

и страх огромному числу людей в России. Но в свободные часы он любил заниматься с внуками науками, был мягок и терпелив к их шалостям. Руководила воспитанием девочек строгая бабушка, Катерина Николаевна Беркутова, сноха сенатора. Ее литературные четверги на Мойке пользовались большим успехом.

Своему сыну Георгию Георгиевичу и обоим внукам Катерина Николаевна старалась внушить убеждение, что важнейшим событием отечественной истории было освобождение крестьян и остальные александровские реформы, превосходшие, как она верила, по судьбоносности даже реформы Петра и победу над французами при Александре Первом. Бабушка охотно рассказывала внукам, как народ принял свое раскрепощение, и добавляла, что самой роковой ошибкой революционеров-народовольцев, чтимых ею за личный героизм, была насильственная смерть Царя-Освободителя: российский либерализм и общественный прогресс несовместимы с актами террора и насилия!

Инженер Беркутов и его подраставшие дочери мнений бабушкиных не оспаривали, но более чем холодно относились к царствующему дому. Катины детские представления о нем складывались из неодобренных отцовских реплик при чтении газетных известий да еще из кое-каких личных наблюдений.

В распоряжении вдовствующего сенатора и семьи Беркутовых был хороший сад. Летом, в ясные дни, листва его отражалась в Мойке. А по соседству жил в небольшом дворце, окруженном парковыми липами, один из младших великих князей Романовых. Папа Беркутов решительно запрещал девочкам не только заводить добрососедские отношения с обитателями дворца, но даже бросать тайные взгляды через решетку липового парка. Девочки не всегда соблюдали запрет, и однажды маленькая Катя стала свидетельницей неприятной сцены: после попойки с однополчанами молодой Романов выбежал в парк без мундира, размахивая шашкой, и нанес страшный удар вдоль спины любимому своему бульдогу, когда тот подластился было к хозяину. Великого князя увели, а животное, рассеченное чуть ли не надвое, ухитрились потом сшить. Впоследствии девочки Беркутовы не раз видели эту собаку, слегка напоминавшую пару сросшихся бульдогов-близнецов.

Бабушка Катерина Николаевна запрещала французу, гувернеру девочек, возить или водить их на прогулки по тем улицам, где обычно проезжали царские экипажи. Недоумевающему педагогу бабушка, болезненно морщась и понижая голос, поясняла:

— Знаете, мсье, там вечно что-то взрывается или кто-нибудь в кого-нибудь стреляет... Нет, нет, избегайте этих мест!

В зимние дни папа позволял дочерям почти сказочное удовольствие: в маленькие санки запрягали Неро, могучего папиного сенбернара черной масти. Собака по очереди везла маленьких хозяек в гимназию Шаффэ, на Средний проспект Васильевского острова. Поблизости находилась и известная мужская гимназия К. Мая, где учились братья девочек. Вот тут-то и обрелся ключ к Катиной душе! Младший отпрыск обедневшего баронского рода из Прибалтики Валерий фон Кестнер уже заканчивал гимназию вместе с Вадимом Григорьевым, Катиным другом детства, а его двадцатилетний брат Валентин учился на третьем курсе Восточного факультета Петербургского университета, изучал филологию, самые диковинные языки и готовился к дипломатической деятельности. Братья фон Кестнеры дружили с Вадимом Григорьевым, и Валентин по старой памяти посещал гимназические танцевальные вечера.

На одном из таких танцевальных вечеров высокий, несколько надменный студент Валентин фон Кестнер обратил благосклонное внимание на полненькую, с персиковым цветом лица и темным пушком на

щеках большеглазую девочку, которая бесспорно обещала стать в ближайшем будущем настоящей красавицей в духе итало-испанского романтизма. После первого же разговора с нею оказалось, что бывалый Валентин Кестнер на целых два года ошибся, определяя возраст этой восьмиклассницы: девочке было всего неполных пятнадцать, а фон Кестнеру она показалась умнее, образованнее и физически развитее прочих старших гимназисток Шаффэ...

Выяснилось далее, что, по примеру иных именитых петербуржцев, в частности таких университетских профессоров, как Менделеев и Бекетов, семья фон Кестнеров тоже приобрела себе усадьбу не близ Петербурга, а под Москвою. В чудесной местности Гривна, под Подольском, хорошо дышалось петербуржцам после сырого балтийского климата!

Немало московской родни было и у Кати Беркутовой. Ибо, по ее выражению, восхитившему молодого фон Кестнера, «люди живут в Петербурге, а их родственники — в Москве». Так и случилось, что среди подмосковных куш, а затем на беркутовой даче в Саблине сплелись в один узел судьбы Кати Беркутовой и Валентина фон Кестнера. Роман был тайный, жгучий и роковой, усугубленный плохими вестями с фронтов, прибытием в столицу эшелонов с ранеными, патриотическим «угаром» среди мещанства, купечества и мелкого служивого люда, скоропалительным испечением новых офицеров, ежедневными отъездами на войну или в тыловые части вчерашних гимназистов, партнеров по танцам и чьих-то женихов. Валентину фон Кестнеру не улыбалась офицерская ляпка на фронте; он одновременно с четвертым курсом университета поступил в Николаевское кавалерийское училище и надел сногшибательную форму; но не этим он окончательно завоевал сердце Кати, а тем, что однажды признался девушке в своей тайной революционной деятельности во имя грядущего социализма.

До той поры Катя слышала о революционерах больше от бабушки Катерины Николаевны и от самого деда Ивана, сенатора. Он рассказывал о высокой честности и полном самоотречении этих людей, читал главы о Рахметове из романа «Что делать?». Кое-что Катя узнала от подруг. В квартире у одной из младших гимназисток жандармы учинили ночной обыск, а к утру увели ее папу в тюрьму. Потом стало известно, что его сослали в Сибирь. Вся гимназия открыто выражала девочке сочувствие и старалась облегчить ее горе.

Читала Катя и о самых левых партиях, эсерах и эсдеках, большевиках и меньшевиках, знала, что в Швейцарии выходит революционная газета «Искра», однако мама не желала допускать в дом «нелегальщину». Кате Беркутовой были понаслышке знакомы такие имена, как Маркс, Каутский, Плеханов, Ленин, Лассаль, Жорес, Бланки, Бакунин, Герцен, Нечаев, — иные из них взрослые произносили с уважением, иные — с ужасом (особенно последнюю из перечисленных фамилий, связанную с жестоким убийством товарища, задушенного и утопленного в пруду). Однако ни одного живого революционного деятеля Катя еще в глаза не видела.

Георгий Беркутов ни к какой партии не принадлежал, политикой интересовался мало, но придерживался либеральных взглядов и принципов. Знакомства с «политиканами» не водил, однако настолько презирал существующий самодержавный строй, что наотрез отказывался поступать на государственную службу.

Он был крупным инженером путей сообщения, построил несколько частных железных дорог (в том числе весьма сложные участки Туапсинской), спроектировал и возвел десятки крупных мостов, виадуков, тоннелей, создал даже уникальный проект городской подземной дороги для Санкт-Петербурга. Этот проект был в штыки встречен Святейшим Синодом, ибо тот не мог допустить, чтобы под Исаакиевским или Ка-

занским соборами, Александро-Невской Лаврой и прочими столичными святынями посмело бы ползать сатанинское подобие электрического кита, таская в чреве православный люд... Рассерженный автор проекта, положенного, как водится, под сукно, уехал на Урал достраивать особенно трудный участок горной дороги. Там Георгий Георгиевич поразил самых бывалых дорожников смелым поступком ради спасения многих жизней. На крутом подъеме разорвался пассажирский состав. Три оторвавшихся вагона пошли назад, набирая скорость. Пролетели станцию, откуда дали знать о беде соседям. Георгий Георгиевич бросился к стоящему под парами локомотиву, сам встал за реверс и тронулся навстречу вагонам. На открытом участке он дождался появления впереди вагонов, дал задний ход и стал уходить от мчащегося навстречу состава, чуть притормаживая. Он маневрировал так умело, что удар буферов о буфера был несильным и никто из пассажиров не пострадал, кроме тех, что выбрасывались на ходу.

... Катя была потрясена признанием своего возлюбленного и стала обдумывать некоторые свои прежние наблюдения. Теперь они прояснились, хотя Валентин фон Кестнер смог приоткрыть ей лишь немного, не называя ни имен, ни адресов, ни деталей. Мол, еще на первом курсе сошелся он со знающим и заслуживающим доверия товарищем, стал с его помощью читать, изучил основы революционного марксизма, увлекся Лениным, убедился в его правоте и решил всей дальнейшей жизнью доказать свою преданность ясной и прямой большевистской идее. Партийного билета пока не имеет (таковы соображения вышестоящих лиц), но живет как бы не принадлежа самому себе и считая любое партийное указание приказом, подлежащим безоговорочному выполнению. Внешне, однако, он обязан сохранить и мундир кавалергарда, и ученое звание и идти по дипломатическому пути. Катя знала, что Валентин уже провел несколько месяцев в Японии, будучи в научной командировке, но выполняя, как теперь стало ей ясно, и особые задания своей революционной партии. Теперь Валентину предстояла еще одна поездка, такая же дальняя и ответственная.

«Настоящий Рахметов!» — восхитилась Катя про себя, а вслух произнесла:

— Хорошо, Воль, но... как же я? Об этом ты подумал? Или со счетов революции принято такую мелочь просто списывать?

— Не надо так о революции, Катя!.. Да и дело не в ней... Георгий Георгиевич терпеть меня не может и ни при какой погоде не благословит нас — как это по-железнодорожному? — состыковаться! Твой отец давно прочит тебе в женихи Вадима Григорьевца. Тому это, кстати, тоже весьма по душе!

— Вадим давно догадывается о наших отношениях... И не раз намекал, что готов нам помочь. Знаешь, его сестра Лена лечит сейчас в Ялте перелом ноги: попала недавно в автомобильную катастрофу. Слушай, кажется, я нечаянно набрела на гениальную мысль...

— Отпроситься у родителей в Ялту к Вадимовой сестре? А мне, в роли Демона, лететь тайком к Тамаре, по дороге убрать Вадима черкесской пулей и сделать тебя... царицей ялтинского ми-и-ира?

— Вадим добрый и благородный. И уже не раз намекал, что ради моего раскрепощения готов даже...

— Догадываюсь! Готов подставить собственную выю под ярмо фиктивного бракосочетания! Что ж, это идея...

Несколько дней спустя после этого разговора на ялтинском пляже всеобщее внимание возбудила молодая чета... Красивые, загорелые, они лакомились поздней черешней и абрикосами, играли в крокет, но охотнее всего уезжали на целые дни в горы, верхом. Классический ялтинский проводник-татарин без опаски доверил дипломированному

кавалеристу пару верховых лошадей и вскоре убедился, сколь мало они устают за договорное время!

Владелец коней легко угадывал, что его лошади мирно стоят себе часами где-нибудь в холодке, расседланные и разнузданные, заедают родниковую воду овсяными хлопьями «Геркулес», а спешенные Адам и Ева на полной свободе, в истинно райском окружении, вкушают самые сладостные плоды от древа познания Добра и Зла...

## 2

... Кризис миновал уже на третьей сутки. Катя погрузилась в спасительно долгий сон, будто ушла в некие бездонные морские глубины, куда не доходят ни отсветы, ни отзвуки, ни приливы, ни отливы мыслей, болей, желаний, надежд.

Вынырнув из этих сонных глубин, она медленно повернула голову и поняла, что находится в новой палате: значит, во время сна ее койку осторожно перенесли в другое помещение. Здесь было свежо — видно, только что закрыли форточку после проветривания. Пахло уже зимой — снегом и дымком. За окном розовело небо в облаках, смеркалось, но свет в палатах еще не зажигали. Пить хотелось уж не с такой ненасытимой жаждой, как вначале.

— Вы проснулись? Пора бы вам и подкрепиться...

Соседка. Из ходячих. Крупнолицая, сероглазая, приветливая. Лет на десять постарше Кати. Косынка повязана, как у сестер милосердия, только без креста на лбу.

— Попробуйте куриного бульона. Еще теплый. Сразу окрепнете.

Катя послушно выпила бульон, заела слоеным пирожком — угадала материнскую заботу, но не обрадовалась ей. Зато обрадовалась всему остальному вокруг: вечернему свету в окне, белой двери, остальным пяти койкам в палате. На ближайшей сидела сероглазая собеседница... Она сразу заметила, что сбившаяся повязка режет Кате под мышкой, перебинтовала ее, взбила подушки, помогла раненой тихонько на них опуститься и шепнула:

— Сама была на волосок от этого. Все у вас образуется, милая моя бяляночка-смугляночка! Я умею судьбы угадывать, только не собственную...

Катю все время подсознательно терзал тайный стыд за то, что с нею так возьтятся, так о ней заботятся, когда вся вина — на ней самой! Вокруг так непомерно велика нужда в заботе и уходе. Искалеченные войной — сколько их! Пострадавшие за революцию... Просто обездоленные, увечные, больные... Она, Катя, занимает здесь место одного из них, когда тот или та корчится в муках где-нибудь на полустанке, бредет, спотыкаясь, в поле, изрытом окопами...

Однако женщины с соседних коек поглядывали на Катю скорее сочувственно и без особого насмешливого любопытства. Из обрывков их бесед Катя сообразила, что все они — сестры милосердия, раненные или заболевшие в действующей армии. Значит, Катю сумели определить сюда по ее прежним документам: она в течение года выполняла обязанности медсестры в клинике-госпитале профессора Отта.

На следующий день Катя потихоньку попробовала встать, не дожидаясь врачебного позволения. Сероглазая соседка и тут пособила: она уже поняла, как велико Катино рвение к самостоятельности и что домой она ни за что не вернется. Сероглазую соседку звали Дашей, и было в судьбе ее что-то отдаленно родственное судьбе Катиной. Это позволило обеим стать откровенными друг с другом.

От напуганной Тони-сестрички Даша уже знала почти всю историю, Кате осталось досказать немногое...



... Октябрьский переворот 25-26 октября сего, 1917, года застал Катю в прежней роли сиделки в госпитале Отта. Уже в темноте, всего за несколько часов до взятия Зимнего, ей пришлось пересечь Дворцовую площадь, пустынную и безлюдную, но сплошь заставленную штабелями дров. Защитники дворца возвели из них длинную баррикаду с «амбразурами» для винтовок, пулеметов и пяти-шести трехдюймовок — стволы их, впрочем, глядели в небо. Обороняющие правительство войска скрывались за баррикадой, а наступающие, как говорили, медленно накапливались за ближайшими строениями и во всех дворах — поэтому Катя ни тех, ни других рассмотреть не могла. Но стрельба изредка возникала — по баррикаде стреляли из винтовок, а оттуда время от времени раздавались пулеметные очереди, никого не задевавшие. Бухнуло и орудие, но выстрел был холостым. Тем не менее стрелявшие на баррикаде куда-то спрятались поглубже. Потом, уже дома, кто-то рассказывал, как орудийные расчеты сдались, а их примеру в конце концов последовали георгиевские кавалеры и юнкера. Этим безусым мальчишкам вовсе не улыбалась судьба погибнуть во имя безвластного и обреченного Временного правительства. Дольше всех сопротивлялся Ударный Женский батальон, но разоружили и его, а над безоружными женщинами, как передавали, матросы учинили жестокую расправу, но уже далеко от мест главных событий...

— Вы сказали «расправу», Катя? — странным голосом переспросила соседка. — Мало кто про это правду знает... С обезоруженными женщинами лихо матросики управились. Попробовали бы на винтовочки наши наскочить!..

— Как «наши»?.. Разве и вы тоже из тех ударниц?

— Тс-с-с! Тише! Об этом громко пока не надо... Попозже расскажу. Только сначала вы мне объясните, Катя-смугляночка, почему, сочувствуя большевикам, вы от них все-таки бежите, да вдобавок еще и замуж пошли против воли? Тут я чего-то еще не поняла.

— Жила в петербургской семье, с мамой и папой. Они — против большевиков, непримиримо против! А мой Валентин послан красными за границу, с заданием...

— Пойдите! Валентин — это жених ваш, что ли?

— Да уж считайте — муж! — Катя сильно покраснела.

— Вот оно что! И вас насильно заставили выйти за этого Вадима?

— Нет, Даша, никто насильно меня не заставлял. Просто Валентин должен скоро вернуться в Питер. И там я его дождалась бы. Но после октябрьского переворота начались перемены. Папа решил увезти нас на юг. Вадим же — школьный друг и мой, и Валентина, служит в Министерстве иностранных дел, тоже не захотел сотрудничать с большевиками. Папа прочил его мне в женихи уже давно и пригласил ехать с нами на юг. Тогда я сама предложила ему оказать мне и Валентину дружескую услугу (он и раньше об этом поговаривал) — вступить со мною в юридический брак, чтобы обеспечить мне независимость от родителей. Ведь все мои бумаги у них... Родители сразу дали согласие, нас обвенчали еще в Петрограде, и мы сыграли очень скромную свадьбу, весьма, впрочем, для меня мучительную: я ведь неумелая комедиантка!..

— И добрались сюда, до Ельца? И официальный супруг, небось... перестал церемониться?

— Не совсем так, но... близко. Сами обстоятельства к этому вели. В здешней гостинице нам дали с ним отдельный номер с единственным ложем... Широченное такое, ужас! Днем было мучительно выслушивать папины проекты войны против красных узурпаторов, а ночью еще мучительнее лежать одетой и слушать стихи, мольбы, и даже угрозы самоубийством... Впала в отчаяние и решилась сама на то, чем он только на словах угрожал. Вот и все. Но теперь я поняла, что делать: вер-

нусь в Питер. Устроюсь куда-нибудь на службу, стану дожидаться Валентина. Покаюсь в своей слабости, своей ошибке...

— Уж не очень-то кайтесь! Должен сам понять, каково вам было, если действительно любит вас. А вас не любить просто невозможно! Однако отдадут ли вам документы, деньги какие-нибудь, дорожные вещички необходимые?

— Не знаю. Боюсь, что нет. В особенности именно документы. Они у папы все.

— Я научу вас, как быть. Уйдите отсюда с маршевой ротой, с документами из госпиталя по общему списку. Скорее всего, попадете в действующую армию, куда-нибудь поначалу в запасной полк. Оттуда и выбирайтесь, хлопочите, проситесь в Питер. Покамест вам хоть бы до Москвы добраться — оттуда легче в Питер уедете. Знаете, я даже завидую, у вас цель такая ясная и что опять... Неву и мосты увидите. Это — город моей юности, моего счастья. А уводит судьба все дальше.

— Почему же?

— Уж так, видно, карты легли или кости упали! Была в Ораниенбауме учительницей гимназии, чудесно вышла замуж. И через год — война. Жизнь в письмах и вечном страхе. Стала сестрой милосердия — сами понимаете почему. В прошлом году его не стало. И когда Керенский объявил нынче летом, что создан Ударный Женский батальон смерти для защиты Родины, — я сразу записалась. Командиром была Мария Бочкарева, с Георгиевским крестом и в чине прапорщика. Боевая! Прошли мы под ее командой такую подготовочку, что иному мужику не под силу. Остригли нас. Присягу приняли. Чучело штыком колола... В мишень без промаха садила... И бросил нас Александр Федорович в самое пекло, на Западный фронт. Под Молодечно, чтоб его никогда не видеть! Прямо под германскую шрапнель и пулеметы, безо всякого разума и толка! Половина моих подружек стриженных тогда в землю легла. А я уцелела на той атаке безумной — и даже ранена не была. Только все во мне онемело и сама не рада жизни стала, как подруг закапывала близ местечка Сморгонь...

— А что же дальше?

— Вернули опять батальон под Питер, пополнили. Стояли в Левашове, обучали новобранок. Женщины, девушки — шли и шли к нам, кто с горя, кто со злости на немцев, кто просто скорой смерти искал.

— И образованные вступали?

— Пожалуй, образованных было даже больше, чем фабричных работниц, прислуг, крестьянок. Командовала нами тогда некая Гусева, постройно Бочкаревой.

— А с той что же произошло?

— Выбыла из строя в той атаке... Так и не поправилась, говорят. Но дух ее в батальоне царил. Брала с разбором. Чуть кого в легком поведении заподозрят — сразу в шею. Дисциплина железная была. Вот потому и вызвали батальон в Питер — защищать правительство в Зимнем дворце... Что там случилось, вы сами, Катя, знаете.

— Говорят, только ваш батальон и отверг сдачу?

— Да, отверг. Держались мы до последнего часу. И не ради правительства, а ради нас самих, чтобы от насилия защититься. Я потом доподлинно от одного эсера услышала, как по казармам большевики солдат и матросов агитировали оставить нейтралитет: мол, три сотни баб голыми руками захватите в полное ваше распоряжение! Тут меня пулей в плечо и ранило... Было, верно, уже около полуночи на 26-е число. Весь город уже был у большевиков. Один дворец — как на острове в половодье! Повели меня в какие-то внутренние покои. Тут я сразу поняла, что правительству придет конец буквально в считанные минуты! Никакой реальной защиты у него уже не было — даже во внутренних покоях Зимнего агитаторы стали открыто уговаривать охрану не допус-

кать кровопролития и сдаться «народным силам». Провожать меня взялась какая-то сердобольная тетушка средних лет, говорила, что горничная. Тайком шепнула мне, что почти вся мужская дворцовая прислуга уже сбежала, а свои форменные ливреи, расшитые костюмы и прочую лакейскую справу отдала агитаторам. Облачившись в эту форменную дворцовую одежду, те свободно входили во дворец через бесчисленные запасные входы и выходы. Это я и сама заметила, догадалась еще до ранения . . .

— А как вы вышли в город? Ведь Зимний был оцеплен?

— Меня провожая спросила, хватит ли сил моих поискать спасения в городе? А то, мол, поймают стриженую ударницу, — несдобровать ей у большевиков. Отвечаю, что на ногах пока держаться могу, а первую перевязку мне подружки сделали, — ранение было сквозное, крови много ушло. Повыше, чем у вас, Катя . . . Так вот, с этой временной повязкой, пропитанной кровью и уже кое-где заскорузлой, довела она меня дворцовыми закоулками до Певческого моста. Там, за Мойкой, во дворе бывшего Придворного певческого корпуса, жила сестричка моего мужа, пианистка при одном из хоров . . . Она очень сочувственно ко мне отнеслась — раненой, окровавленной, стриженной и абсолютно одинокой в этом новом мире . . . Выхлопотала мне какие-то документы, и вместе с ранеными сестрами милосердия очутилась я в лазарете. А там оказался врач-хирург . . . Тот самый, кто вас позавчера перевязывал. Живет он на юге, где-то в Чернигове . . . Вот почему мне, верно, не скоро придется опять увидеть невские берега . . . А вам, Катя, он пособит и с документами, и с направлением в Питер!

### 3

В нетопленном доме Министерства иностранных дел отвели комнату новой переводчице Екатерине Георгиевне Беркутовой-Григорьевой, 18 лет, недавно выписанной из елецкого эвакогоспиталя после перенесенного пулевого ранения. Бывшую сестрицу милосердия охотно приняли на должность переводчицы и машинистки. Заполняя опросный лист для вновь поступающих, она в графе «происхождение» указала: «Дворянка», однако беседовавший с ней пом. наркома Евгений Дмитриевич Поливанов посоветовал ей зачеркнуть это слово и написать: «Из трудовой интеллигенции».

— Это будет понятно, — сказал Евгений Дмитриевич, — и никому не бросится в глаза . . .

Он бегло проверил ее знание французского, английского и немецкого. Остался весьма доволен и против соответствующей графы собственноручно подтвердил: знание трех языков отличное. В дальнейшей беседе он, уже вполне деловым тоном, посулил Кате быстрое повышение по должностным ступеням, интереснейшую жизнь «у самой плиты дипломатической кухни» и подчеркнул государственную важность Катиной работы под его непосредственным, поливановским, руководством, присовокупив, что саботаж интеллигенции все еще создает большие помехи в работе наркомата. Спросил, нет ли у Кати знакомых молодых людей, лояльных к большевистскому руководству и готовых пойти на работу в Наркоминдел.

Так как еще при вступлении в новую должность Катя упоминала о своем близком знакомстве с Валентином Кестнером, Поливанов расспросил и о нем, проявив немалую проницательность насчет Катиного отношения к этому товарищу. Поливанов сделал вид, что вполне осведомлен о заданиях, выполняемых Кестнером в Японии, и заметил, что в Токио ему сейчас нелегко приходится, ибо его родной брат Валерий

враждебно относится к большевикам, равно как и весь штат русского посольства в японской столице. Все они продолжают считать свергнутое временное правительство единственной законной властью в России...

— Впрочем,— добавил он,— Валентин Кестнер — человек не только весьма хорошо знающий Японию, но и весьма надежный. Советское правительство ему полностью доверяет. Скоро он вернется в Петроград.

... Ей впервые пришлось жить одной, зарабатывать на хлеб и самостоятельно хозяйничать, поначалу без посуды, утвари, мягкой мебели и с одной сменой белья. Купить что-либо в магазинах уже было нельзя, а для черного рынка не было денег. Меблировку ее комнаты составляли стол, табуретка и осто́в железной кровати. Все прочее прежний жилец употребил на нужды отопительные.

Для первого ночлега Катя выбрала стол. Поверх набросила свое пальто, укрывалась платьем. Мерзла отчаянно, но давала себе приказ не унывать.

Вскоре, по указанию внимательного Евгения Дмитриевича, устройством Катиного быта занялся заведующий хозяйственной частью НКВД. На первый случай он выделил новой переводчице четверть сажени березовых дров для голландской печи, кушетку с постельными принадлежностями, самовар с трубой, набор разнокалиберной чайной посуды, пакет угля и пять сырых картофелин.

— Лучины для самовара наколите себе пожарным топориком во дворе, где сложены доски,— сказал заведующий, когда Катя расписалась в получении всех этих благ.

Дома она вполне успешно справилась с самоваром — помнила манипуляции прислуги на даче в Саблине, где любила подбрасывать в самоварную топку сосновые шишки. Нашлась для Катиной комнаты и печка «буржуйка». Ее трубу вывели в отдушину голландской печи, которая поглотила бы весь дровяной паек за трое суток. А на новой «буржуйке» Катя научилась варить обеды из пайковой крупы и подмороженных овощей. Когда электричество выключали, Катя ухитрялась даже читать в отблеске красноватого пламени своей печурки.

Катини обязанности в советском ведомстве иностранных дел еще даже точно не определились, как посыпались на нее со всех сторон всевозможные задания, поручения и распоряжения. Отделам не хватало грамотных машинисток — Катю сажали за «Ундервуды» и «Ремингтоны», благо, был у нее некоторый опыт перепечатки папиных объяснительных к его проектам. Ей случилось просиживать за машинкой до глубокой ночи, осовело тыкать озябшими пальцами мимо клавишей, править грубые ошибки новых начальников, менять неуклюжие обороты, а подчас еще и оспаривать сущность документа, если он не соответствовал Катиной революционной принципиальности. К ее мнению стали прислушиваться весьма ответственные товарищи, ей стали поручать редактирование документов государственного значения, и в один прекрасный день Кате было сделано официальное предложение отправиться в Брест-Литовск в качестве правительственного переводчика на мирных переговорах с немцами. Она попросила несколько дней на размышление и призналась, что намерена дожидаться в Петрограде возвращения из Японии Валентина Кестнера.

Пожелание ее, что называется, учли, командировку в Брест-Литовск отложили, но отнюдь не поскупились на новые общественные поручения в самом Петрограде. Катю включили в число вооруженных добровольных помощников ВЧК. Она стала участвовать в ночных обысках и арестах, прямодушная, неподкупная, ненавидящая и безжалостная.

Однажды совсем молодой матрос, участник такой вооруженной

дружины, во время обыска в доме табачного фабриканта машинально взял папироску из открытой пачки, брошенной хозяином на столе. Матрос еще и зажигалкой чиркнуть не успел, как остальные участники группы накинулись на него с руганью и упреками. Яростней всех налетела на матроса неумолимая Катя:

— Как вы смеете, товарищ матрос, пачкать руки об эту мразь? Что могут подумать о нас, революционерах, вот эти... элементы?

Был случай, когда обыск учиняли в доме старых знакомых бабушки Катерины Николаевны. Сама бабушка доехала с семейством Георгия Георгиевича до Москвы и там осталась в родственной семье Волконских, старых москвичей, отговаривавших бабушку ехать на юг, в гущу военных событий. А бабушкины петроградские друзья — семья знаменитого адвоката, уже арестованного, — попали под подозрение петроградских чекистов: по их данным, адвокат собирал деньги и драгоценности в фонд освобождения царского семейства.

Чекисты и их помощники вели обыск с обычной революционной суровостью, молча, уже чисто профессиональными приемами, наметанным глазом. Вскрывались укромные домашние тайнички, просматривались девицы дневники, прощупывались книжные переплеты, исследовались каблучки. Две красивые хозяйские дочери, поднятые среди ночи из постели, обретали дар речи и способность к сопротивлению.

— Скажите, наконец, что вы ищете? — настаивали они. — Зачем портить книги и обувь?

В ответ Катя разразилась гневной тирадой о тихих омурах мешчанства, где гнездятся черти контрреволюции, но тут ее остановил голос хозяйки дома, матери обеих девиц:

— Боже мой! Да вы ли это, мадемуазель Беркутова? Катенька... Я... простите... глазам своим поверить не могу!

Начальник искомса глянул на помощницу. Смутится ли? Скажется ли в ней прежняя буржуазная закваска в виде сочувствия классово близкой ей семье? Не дрогнет ли в исполнении революционного долга, не протянет ли руку помощи врагам революции? Или, наоборот, останется тверда, и самой ей понадобится его товарищеская поддержка, чтобы смогла выстоять в столь сложных обстоятельствах?

Хозяйка дома рискнула перейти на французский язык.

— Ма шер Катрин, как объяснить ваше участие в этом беззаконии? Где ваши родители? Живы ли они? Что могло заставить вас...

— Извольте говорить по-русски, гражданка! — сухо отвечала Катя. — Вы спрашиваете, где мои родители? Отвечаю: этого я не знаю и знать не хочу, потому что они бежали из революционного Петрограда. А мое участие в защите революции объясняется очень просто: я — на стороне пролетарской диктатуры, служу ей и ненавижу ее врагов... Товарищ начальник! Мне необходимо сказать вам несколько слов наедине.

Старший чекист вывел Катю в коридор. Прикрывая дверь, она отчетливо различила брошенное ей вслед: «Проклятая перебежчица!»

За дверью начальник похвалил ее за реакцию на попытку врагов склонить прежнюю знакомую на свою сторону.

— Давно вы их знаете, товарищ Беркутова? Главу этой семьи мы уже прощупываем на допросах. А что представляют собою жена и дочери?

— Знаю давно, но поверхностно. Ручаться за их лояльность советской власти не могу. Пожалуй, скорее наоборот, судя по репликам.

— Да, дышат ненавистью. Аж спина их взгляды чувствует — вот вот прожгут... Но обыск кончен. Либо прятчут далеко, либо в другом месте собранное держат. Ну, пошли оформлять акт...

Все это как будто должно было только укрепить Катину репута-

цию в группе содействия ЧК и на службе, однако она вернулась в ту ночь к себе в смутном состоянии духа. . .

Следующие дни были напряженными на службе. Новый германский императорский посол граф фон Мирбах пригласил на деловой ужин группу советских дипломатов. Кате пришлось не только переводить беседу с ними, но и сидеть рядом с Мирбахом за изысканным столом. Свобода и безупречность ее манер, безошибочное знание всех тонкостей вечернего застолья при скромнейшем наряде и весьма давнем маникюре многое открыли наблюдательному дипломату. . . Евгений Дмитриевич Поливанов, кажется, не пришел в восторг от того обстоятельства, что посол все время находил поводы беседовать с переводчицей, а не с ним непосредственно, хотя по-немецки он кое-как изъяснялся.

Через два дня наркоминдельцы дали ответный ужин Мирбаху, причем первый заместитель наркома поручил лично Кате позаботиться о сервировке стола и убранстве покоя. Он намекнул также некоторым ответственным товарищам проконсультироваться с Катей по части «хорошего тона» и иных застольных условностей. Граф держался за ужином с так называемой «подкупающей простотой»: Он шутил, говорил намеками, осторожно и умело подчеркивал роль своей державы и ее коронованного главы в установлении новых отношений между двумя столь долго воевавшими друг с другом странами и немаловажность заслуг своего правительства и военного командования перед новыми властями в России. Впрочем, он тут же обращал свои слова в застольную шутку, будто, мол, лучшие качества российских прежних дипломатов достались в наследие дипломатам нынешним, и поэтому присутствующие здесь советские господа в чудесном своем гостеприимстве ничуть не отличаются от бывших светских господ.

Разгадал он и всю прелестную госпожи переводчицы. В ее революционном фанатизме он ощутил отголоски недавно познанного нищезанства, возможно, уже отброшенного, но наложившего отпечаток на стиль и вкус. . . Поэтому он несколько раз, сияя лучезарной улыбкой, обращался к переводчице не иначе как «Майн гнедигесс юберфрейлейн!» . . .

Это было сверхметко, и Кате ничего не оставалось, как расточать любезные улыбки и парировать тончайшую отравленную стрелу ответными остротами, например, что оценить заслуги графа и его правительства перед миром будущего сможет лишь победоносный германский пролетариат. . .

Катин начальник на этот раз решил проводить свою переводчицу домой после всех этих дипломатических пикировок и тостов. Катя чуть-чуть выпила вина, ей было весело и совсем не приходило в голову, что ответственный товарищ, тоже изрядно вкусивший от даров Вакха, может писать на ее счет некоторые надежды. . . За порогом Катиного жилища он проявил их довольно грубо, недвусмысленно и страстно. Катя отвечала столь же решительными контрмерами. Дверь отлетела в коридор, Евгений Дмитриевич проследовал туда же, шапка его описала воздушную параболу, а дверь покоя захлопнулась и замок щелкнул нарочито громко.

На другой день Катю вызвал к себе доселе неизвестный ей начальник. . . Лет тридцать-сорок спустя Катя назвала бы его завкадрами, но в те времена — весной 1918 года — она такого слова еще не ведала.

Неизвестный начальник имел вид несколько сонный, как бы отрешенный от сегодняшнего дня с его будничными событиями ради того, чтобы слушать некую ему одному звучащую музыку столь тонкого тембра, что иным ушам она оставалась неуловима. Начальник предложил Кате сесть и минут пять прислушивался к внепространственной

музыке сфер. Потом он задал несколько вопросов о Катиной работе, иностранных связях и родительском доме. При этом он раскрыл опросный лист, заполненный Катей в первый день работы в Наркоминделе.

Она спокойно отвечала, что связей иностранных не имеет, рассказала про отца, мать и свой фиктивный брак, теперь расторгнутый ею в одностороннем порядке по праву свободного советского человека.

Начальник долго взвешивал Катини ответы и наконец спросил несколько зловещим тоном:

— По какой причине скрыли свое дворянское происхождение?

— Я ничего ни от кого не скрывала. Написала в опросном листе то, что продиктовал мне Евгений Дмитриевич Поливанов, мой руководитель.

Склонив голову набок, начальник, не мигая, глядел в Катини глаза добрых пять минут. Затем осведомился, будто невзначай, принимала ли она участие в работе оперативных дружин, помогавших ВЧК. Катя подтвердила.

— Случалось ли вам при оперативных заданиях встречать в числе классово чуждых элементов своих бывших друзей?

Задав этот вопрос, начальник снова прислушался к одному ему звучащей музыке. Он даже не обратил никакого внимания на недоуменные Катини междометия и полупроглоченные от негодования попытки что-то объяснить, оправдаться...

И тут ее озарила догадка: оскорбленный ночным происшествием, Евгений Дмитриевич приходил сюда с доносом. Ведь он один знал подробности недавнего обыска в адвокатской семье.

Катя гордо откинула голову и поднялась со стула.

— Ну-с, дорогой товарищ, с меня хватит этого спектакля! Мы с вами поговорим об этом... в другом месте!

Чтобы хоть как-нибудь дать выход своим чувствам, она со всего маху такхватила кулаком по столу начальника, что даже чернильный прибор слегка подпрыгнул. Сонное выражение начальнического лица не только не оживилось, но, напротив, обрело еще большее спокойствие. Перед Катей восседало прямо-таки изваяние Будды, только не в японском, а скорее в прибалтийском, точнее, латышском варианте. А Катини бешенство нарастало, но тоже было ледяным, стылым, вроде сполохов полярного сияния. Ее лицо было бледно, глаза сверкали холодным гневом, горячие токи сердца удерживались где-то в глубине, не затмевали разума. Отчеканивая слова, она повторила:

— Я протестую против этого издевательского допроса. Вызываю вас к народному комиссару, чтобы вас привлекли к ответу за поддержку интриги, за содействие гнусному доносчику. Вы ответите за все вместе с ним!..

Дверью хлопнула так, что весь коридор содрогнулся. Но сил вернуться в свой отдел не было. Да и служебное время истекало: вызов к начальнику состоялся во второй половине дня, когда автор доноса доспел сочинить его, а начальник — прочитать. В отделе осталось пальто, но в воздухе пахло сырой приморской весной, и Катя решила добежать до своего жилья в одном платье.

Она удивилась, что в двери торчит ключ. Ее собственный был в сумочке, всегда при ней. Запасной находился у соседки. Она, уже не чая ничего доброго после только что пережитого разговора, открыла дверь, ожидая встретить в комнате либо оперативника, либо самого доносчика, намеренного повторить вчерашнее покушение...

... Ярко-желтый чемодан с наклейками японских отелей стоял на табуретке открытым. На столе красовались экзотические яства в рядных коробках и бутылках. А на Катиной кушетке, прикрытый шинелью, спал Валентин Кестнер!

\* \* \*

Мартовским утром 1918 года у владивостокской пристани Добровольного Флота в заливе Золотой Рог дал первый гудок к отвалу японский пассажирский пароход «Такара-мару».

К отплытию этого судна очень торопилась чета петроградских молодоженов, Валентин и Екатерина Кестнеры. Они немного задержались, сдавая коридорному свой номер в гостинице «Тихий Океан» на Светлянской, и не сразу дозвались извозчика. Потом этот возница неверно свернул с Алеутской улицы — не прямо к пристаням, а пораньше, к вокзалу, и долго путался в проездах между складскими зданиями, угодил в тупик, снова разворачивался и заставил молодых людей изрядно поволноваться.

Подъехали они уже ко второму гудку. Утишая сердцебиение, поднялись по чисто промытому трапу, получили от холодно-вежливого вахтенного ключ от своей двухместной каюты, а вместе с ним и приглашение в салон, к завтраку. Их соседями за столиком оказались генерал Адамович с супругой. И у тех было позади десять тысяч железнодорожных верст от самого Петербурга. Они направлялись в служебную командировку в Цуругу, им совершенно неизвестную.

Из первого разговора за завтраком Катя вынесла впечатление, что супруги Адамовичи несколько настороженно изучают своих российских земляков, стараются разгадать за общими фразами настоящие цели и мысли собеседников. Собственно, то же самое делают и они с Валентином, однако Кате непривычно уклоняться и отмалчиваться от естественных в дороге вопросов, Валентин же как всегда сосредоточен и вроде бы соревнуется с генералом в многозначительно-молчаливой сдержанности. . . Блюда на «Такара-мару» оказались из американских продуктов — добротные, обильные и безвкусные.

Среди отплывающих и провожающих оказалось много местных, дальневосточных японцев и корейцев. Перед самым отплытием с борта судна и на его палубу с берега полетели длинные, пестрые ленточки бумажного серпантина. Пассажиры на борту и провожающие на берегу держали эти ленточки за концы, пока пароход, осторожно работая винтом, тихо отдалялся от причала. Ленточки рвались, концы их, свисая с борта и пирса, падали в бурлящую хлябь. И та медленно, неотвратимо ширилась. . .

Всего через час пароход был уже в заливе Петра Великого, лег на курс зюйд-зюйд-ост, и за кормовыми надстройками, суживаясь и утрачивая четкость красок и очертаний, истаявала последняя полоска суши на зыбкой грани между серыми облаками и белыми барашками.

Потом и вовсе не осталось там, на горизонте, никакой тверди, и только сизые тучи, медленно поднимавшиеся в зенит с норда, были еще нашенскими, русскими тучами, напитанными испарениями талого снега с родных низин и таежных сопок.

\* \* \*

Небольшой порт Цуруга в заливе Вакаса на северном берегу самого большого из японских островов, Хонсю, благополучно принял судно «Такара-мару» в ночную штилевую погоду.

При высадке пассажиров на береговой причал парходная прислуга: стюард, две горничные, официанты из классных салонов и даже часть подвахтенных матросов — выстроилась перед судовым трапом, низко кланяясь и претендуя на доброхотные даяния. Валентин Кестнер заранее шепнул Кате об этих феодальных пережитках в островной империи и предусмотрительно запасся мелкой монетой. Поэтому проводы с «Такара-мару» обошлись им недорого. Напротив же, чета Ада-



мович, застигнутая врасплох, совала направо и налево бумажные банкноты, хоть и не крупного достоинства, но в изрядном количестве! Буквально заступавшие им дорогу пароходные служащие удостоили их за это княжеского титула.

Порт и городок встретили вновь прибывших скупыми огнями. Тем не менее Катю поразила толпа рикш, предлагавшая свои услуги на площади, примыкавшей к порту. Легкие тележки рикш, рассчитанные на одного седока, выглядели довольно заманчиво (высокие, велосипедного типа колеса, удобное сиденье с подножкой), если бы не живой, худощавый, измученного вида человек в упряжи! Поэтому обе русские четы предпочли на первый раз автомобиль «Форд», чтобы доставить чемоданы и собственные персоны на железнодорожную станцию.

Поезд на Токио отходил через час, шофер взял иностранцам билеты в какой-то особенный туристический вагон. Большого смысла это не имело: в ночной темноте обещанные рекламой пейзажи были все равно невидимы, но японец-шофер заверил приезжих, что уже на рассвете их ждет необыкновенное зрелище далекого Фудзи-сан в розовых лучах зари. А это видит не каждый турист!

Фудзи-сан, или, почтительно, «Господин Фудзи», — более привычное для японцев наименование знаменитого потухшего вулкана, священной горы, известной европейцам из учебников географии под названием «Фудзияма».

«Туристический» вагон оказался в самом хвосте состава и несколько походил на оранжерею или теплицу, почти сплошь стеклянную. Даже звездное небо приоткрывалось едущим. Разместились удобно, в четырех мягких креслах, лицом друг к другу. Локомотив плавно взял с места и сразу развил такую скорость, к которой русские у себя не привыкли.

Наружные фонари, красные, зеленые и фиолетовые железнодорожные сигналы, редкие мягкие огни из полупрозрачных окон японских жилищ, рождаясь из тьмы и в нее уходя, прочерчивали цветные золотистые нити в густой, уже чуть синеющей мгле... Ритм быстрого движения убаюкал утомленного пароходной бессонницей генерала Адамовича. Уснул в кресле и Валентин Кестнер, совершавший этот путь едва ли не в восьмой раз. А обе дамы, взволнованные новизною и необычностью страны, дремать не могли и тихо переговаривались между собой.

— Вы, наверное, не впервые за границей? — спросила старшая дама. — Ваш парижский прононс, вероятно, там и обретен вами?

— Нет, как раз языки мы учили дома, с немкой-бонной и гувернером-французом. Английский выучила в гимназии Шаффэ и на курсах «Альянс-франсэз» как второй язык... В Европе только несколько совершенствовалась, когда жила там с родителями в юности. Три раза они брали меня с собой во Францию, Германию, Италию... Начало этой войны застало нас в Швейцарии. Ведь папа совсем не интересовался политикой и привез нас в Цюрих в июле 14-го...

— Да, в июле 14-го никто не знал, что война уже на носу... Как же вы воротились в Россию?

— Кружным путем. Отношение к нам после начала войны стало в Цюрихе весьма прохладным, неласковым. Все-таки это немецкая Швейцария. Еле перебрались в Италию. В Генуе застали русский пароход «Курск», старенький, грязный, но свой! Плыли Гибралтаром, ужасно качало в Бискайском заливе. Помню, в Портсмуте дня три наш бедный пароходишко торчал прямо борт о борт с великолепной «Лузитанией», госпитальным судном. Вместе и покидали порт. Через несколько часов «Лузитанию» пустила ко дну германская субмарина. А наш пароходик проскочил, видимо, немцы просто не обратили на нас внимания... Потом — мимо норвежских шхер, мыса Нордкап, до

Белого моря. И, верите ли, даже там, в закрытом море, нас уже не покидало чувство неуверенности: все ждали торпедной атаки. Пугались каждой крупной белухи, когда выныривала. . . И вот, наконец, Мудьюгский маяк с левого борта и — порт Архангельск.

— Ужасный город! Кругом — болота, улицы грязные, рыбой все пропахло. Это супруг мне рассказывал. Говорят, мостовые деревянные. . .

— Господи! А нам он показался таким родным, что хотелось те деревянные мостовые целовать, каждый домик бревенчатый был милее флорентийских дворцов! . . И река там величавая. Когда мы ее переплыли на катере, наш пароход «Курск» показался нам прямо игрушечным с противоположного, левого берега, где железнодорожная станция. Оттуда поездом, через Вологду, прямо домой, в Питер.

— Да, целое путешествие. . . Слушайте, Катюша, а сейчас-то вы зачем в Японию? . . Впрочем, давеча ваш супруг вскользь упоминал, что брат его Валерий служит там драгоманом в нашем посольстве. . . Значит, братья решили быть поближе друг к другу?

За короткие месяцы своей дипломатической деятельности в НКИД Катя поняла, что в любом разговоре никогда не надо спешить с признаниями и откровениями. Мол, главным источником излишней осведомленности посторонних о наших тайнах являемся. . . мы сами! Нужно ли открывать этой даме правду об антагонизме братьев? Ибо Валерий молод, может еще изменить свои нынешние антисоветские взгляды, понять благородство и высшую человечность революционных идей и. . . очутиться на стороне брата. Она уклончиво ответила:

— Валерий слишком еще незрел, чтобы принимать серьезные жизненные решения. Он находится в Токио временно, просто для языковой практики. Нет-нет, наша поездка совсем не зависит от его драгоманства.

— Но сами вы, Катюша? Что же вы-то будете тут делать?

— Сначала только бы управиться с секретарскими обязанностями при муже. Я ведь тоже, как и он, получила жалованье за год вперед как секретарь-переводчица. Придется быстро подучиться обиходному японскому, знать хотя бы счет, вежливые обращения, бытовые слова. . . Дел много!

— И вы действительно рассчитываете пробыть здесь целый год? Не боитесь соскучиться по родным, по России? Раз уж вы так остро переживали разлуку с ней, будучи в Европе. . . Здесь-то — как на Луне!

— Думаю, что соскучиться просто не успею. А он — тем более!

— Не сочтите нескромной просьбу объяснить, каковы же его планы?

— Ну, их не назовешь «его планами». Ведь он — Особоуполномоченный Высшего Военного Совета. Ваш муж, вероятно, знает, что речь идет о некоторых заказах, уже оплаченных японцами. Дело Валентина, а значит — и мое, как его помощницы, — принять эти поставки, проверить качество и проследить за транспортировкой их в Россию морем и сушей.

— Это все я знаю. Даже газеты про это писали. Поставки чисто военные: винтовки, патроны, снаряды. . . Ведь так? Я совсем о другом. Знаю, что до Кестнера был направлен из России в Японию старый дипломат, кажется, барон Б., с той же задачей. Он на все эти поставки махнул рукой и решил просто остаться за границей. Наше посольство в Токио, насколько я знаю, поддержало его. Кажется, барон Б. состоит теперь уже в штате посольства. Вероятно, эти обстоятельства вам, Катюша, тоже известны. . . А главное, посольство, кажется, уже приняло поставки и само ими распорядилось. Значит, вам с мужем останется только убедиться в бесполезности вашей миссии. И сделать выводы!

... В осторожных намеках собеседницы, молодежавой, очень породистой светской женщины еще не прозвучало прямое приглашение раскрыть карты: мол, взаправду вы такие красные или только притворялись до поры до времени? Катю настораживало лишь частое повторение фраз о «нашем посольстве». Ибо еще в Петрограде зам. наркомвоенмора товарищ Эфраим Склянский в беседе с отъезжающей в Токио четой Кестнеров предупредил, что главной помехой их миссии явится, вероятно, именно русское посольство в Токио. Увы, оно было отнюдь не «нашим» для Кати и Валентина!

Ах, как хотелось тогда Кате продлить беседу с товарищем Склянским в его суровом кабинете! Были там карты фронтов, прямые телефоны, телеграфный аппарат, кучка сводок на столе. Но в самом хозяине кабинета, несмотря на строгую военную форму, угадывался тонкий интеллектуализм, сознательно подавляемая природная мягкость, любовь к поэзии, искусству. Замнаркома не мог позволить себе надолго отвлекаться от деловых тем, но богатство ассоциаций, свобода в выборе литературных сравнений, осведомленность о культурных ценностях Японии — все это остро и радостно ощутили Валентин и Катя. Склянский посоветовал им:

— Вам придется нащупать, кто в посольстве или в его русском окружении сможет проникнуться идеями пролетарской революции и помочь вам, явно или тайно. Мне кажется, что тут, товарищ Кестнер, ваша молодая супруга сможет быть вам весьма полезной. Кстати, успели ли вы оформить ваш брак? В порядке ли ваши бумаги?

— Только вчера, наконец, все сделали и расписались! Бумаги в полном порядке!

— Что ж, поздравляю, совет да любовь! И до скорого свидания! Уже на пороге кабинета Склянский еще раз остановил своих гостей:

— Товарищ Кестнер, а вы убеждены в отрицательном отношении к нам вашего младшего брата, посольского драгомана?

— Пока стойко убежден. Но некоторые надежды питаю насчет другого лица: Евгения Николаевича Волжина. Со студенческой скамьи его знаю и близко дружил с этим человеком. Он в беде не оставит!

— Вы имеете в виду того молодого русского исследователя Формозы, которого тамошние горцы-аборигены в джунглях считают чуть ли не своим богом? Мне о нем говорили как о выдающемся ученом-этнографе, однако политически совершенно индифферентном.

— Все это именно так. Но с годами, знаете ли, умнеют и ученые-этнографы, особенно столь одаренные, как Волжин!

Склянский расхохотался, помахал приветливо рукой и взял телефонную трубку...

... А поезд тем временем миновал озаренный огнями вокзал Нагойи и летел к тихоокеанскому побережью. В Хамамацу совсем рассвело, когда вагоны почти висели над водами: под виадуком серебрилось широкое устье реки Тенрю, берущей начало в снежных горах близ озера Суза. У берегов и портовых причалов картинно дымили небольшие пароходы и двигались на парусах игрушечные рыбацьи суда. Потом рисовые поля пошли чередоваться с заводскими корпусами и бедноватыми поселками, сплошь из чистеньких японских домиков под красной черепицей. Перед Икогамой проплыли в легкой дымке чайные плантации, и вдруг с какой-то очень небольшой высоты, куда очень плавно поднялся состав, приоткрылся слева, вдали, среди зеленеющих гор царственно-великолепный Фудзи. Его снежно-белая, строго коническая вершина божественно и недоступно сияла в холодном серебре весенней зари. Молодая японская чета, замеченная Кестнерами еще на пароходе «Такара-мару» во Владивостоке, поднялась с кресел, изящно, будто

танцую, упала на колени и отвесила Божеству Красоты и символу стра-  
ны низкий поклон, полный достоинства и восхищения. . .

. . . На вокзале в Токио оказался почти весь средний персонал по-  
сольства. Катя сразу узнала Валерия Кестнера. Тот приветливо ей  
улыбнулся и уж было бросился навстречу, раскрыв объятия брату и  
гимназической подруге, но Валентин сурово отвернулся, демонстратив-  
но никого из посольских не узнал и, не кланяясь дипломатическим чи-  
нам, с Катей под руку неторопливо прошел следом за своим носильщи-  
ком на привокзальную площадь.

Тем временем генеральша Адамович уже обнималась с женами  
русских дипломатов, а сам генерал, перекрестившись, истово подошел  
под благословение отца благочинного, посольского батюшки. . .

## Глава восьмая

### ПОЭМА О СТРАНСТВИИ

*Не встретиться звезде на небе со звездой,  
Но звездных две судьбы летят одна к  
другой.*

*Из восточной лирики*

#### 1

. . . Роня Вальдек закончил четыре курса своего вечернего литера-  
турного института, но пренебрег выпускными экзаменами. Не защитил  
почти готовую курсовую о Гоголе, словом, не выхлопотал себе диплома.

Почему? Да просто по какой-то странной антипатии к любым  
карьерным хлопотам и стараниям. Мол, четыре институтских года  
обретут смысл только в будущих шедеврах, а никак не в формальных  
бумажках. Пробивать себе дорогу дипломами — удел бездарностей и  
ничтожеств!

Химию он покамест не оставил. Жить и учиться на папины денеж-  
ки ему претило. Пошел лаборантом на красильную фабрику за  
Благушей, у Хапиловского пруда. Присмотрелся — стал подмастерьем.  
Потом — мастером смены. Через год — мастером трех цехов: отбель-  
ного, красильно-валяльного и аппретурного.

На институтской практике в издательствах Роня изучил работу  
очеркистов и решил, что она ему посильна. В редакции журнала «Эк-  
ран Рабочей Газеты» сам Главный, товарищ Афонин, заказал Роне  
серию очерков о Волге, с пароходного борта.

— Ты мне особенных чудес там не накручивай, — говорил главный  
редактор своему спецкору, — а дай мне самые вкусные картинки, дос-  
тупные с борта каждому едущему. Чтобы мой читатель-рабочий мог  
сказать: вот, через месяц и я поеду, тоже все это увижу! Ну и, конечно,  
малость эдакого, ранне-горьковского, колорита подбавь. . . Так  
сказать, из области пережитков! Ну, ступай. Я велел выписать тебе  
кой-какой авансик, чтобы писалось веселее. После твоего материала о  
рабочих столовых я в тебя поверил! Остро получилось и зорко! Только  
материал с дороги ни на час не задерживай: буду пускать в ближай-  
шие номера. И фото присылай: они у тебя неплохие.

Однако в нынешней своей журналистской поездке Роня решил не  
ограничиваться только заказом от «Экрана». В очерках для Афонина  
романтики будет маловато! А душа ее требует!

Поэтому обратился он еще и в редакцию приключенческого жур-  
нала «На суше и на море». Предложил серию будущих рассказов «По

глухим тропам Кавказа». Тут у Рони уже имелся некоторый опыт. В прошлом году третьекурсни́к Роня Вальдек был включен в группу авторов, работавших для интуристовского путеводителя о России. Роня писал популярные информационные статьи о Дагестане, Балкарии и Восточной Грузии. Побывал в Хевсуретии и Сванетии, фотографировал даже таинственный реком — полуязыческий храм местных охотничьих племен, старательно оберегаемый от недобрых и праздных посторонних взглядов.

Редакция на этот раз предложила Роне присоединиться к группе альпинистов Общества Пролетарского туризма из Грузии, готовых к восхождению на Казбек около 5-6 июня. Еще интереснее и труднее была следующая задача этой грузинской группы: по поручению комсомола и профсоюзов альпинистам предстояло помериться силами со страшной Ушбой, проклятой горой высшей сложности, чтобы развеять суеверный ужас местного населения перед злыми духами, обитающими на вершине и в ущельях Ушбы. Это они насылают лавины на смельчаков, дерзающих нарушить покой горы.

Ронин отпуск начался в июне, до восхождения на Казбек оставалось недели три. Роня и решил использовать их для отдыха на Волге и для очерков о великой реке. Затем побывать в Махачкале и прибыть к Казбеку к сбору всей группы. . . После спуска с Казбека тифлисская группа должна была решить, кто из альпинистов будет штурмовать Ушбу. Тогда выяснится, примет ли журналист Вальдек непосредственное участие в этом штурме, или же он проводит группу лишь до опаснейших карнизов, чтобы потом получить от вернувшихся победителей Ушбы самый свежий материал для журнала «На суше и на море». Свой альпинистский опыт Роня Вальдек несколько лет подряд накапливал в Восточном Крыму на склонах Сокола, Пер-Чема и Альчака, а в 1927 году побывал на Эльбрусе.

Во всех этих небезынтересных журналистских делах Роня пока тоже не видел особых шансов на литературное бессмертие. Казбек — это все-таки не Гиндукуш, да и бытовая серия про Волгу — не мировая сенсация! Для Памира же — коротковато дыхание и маловат отпуск!

\* \* \*

Он переплыл Оку на пароходе-пароме вместе с носильщиком и его тележкой. На тележке путешествовал по Нижнему Новгороду могучий Ронин чемодан зеленой кожи. Чемодан вместе с привязанными к нему снаружи альпенштоком и ледорубом вмещал все имущество очеркиста и альпиниста.

На пристани он увидел свой пароход «Наманган» товаро-пассажирской линии. Линию эту он выбрал еще в Москве, у кассы в «Метрополе», несмотря на малую комфортабельность товаро-пассажирских пароходов: у них нет первого класса, ванн, некоторых удобств; проходы и даже палубы заставлены обычно грузами, расписание соблюдается лишь приблизительно. Зато — стоянки многочасовые, удобные для журналиста, ищущего впечатлений в приволжских городах. Вот Роня и приобрел билет на «Наманган» заранее.

Действительность оказалась несколько мрачнее. Пароход грязен, шумен, многолюден. . . Многочасовые же стоянки сплошь приходились только на ночные часы! Уж какие там впечатления! Наши Самары и Саратовы — не Гамбург или Сан-Франциско с ночными притонами!

— А нельзя ли. . . переменить пароход? — спросил Роня у бывшего матроса-носильщика на пристани. В ответ тот указал рукой на нечто белоснежное и прекрасное, маячившее посреди Волги. . .

— Пароход «Воронеж». Вон, на якоре, видите? Бывшая «Императрица Мария» общества «Кавказ и Меркурий». Прежде богатые купцы ездили, им простору на пароходе много требовалось. А теперь — почтовой линии пароход. Видите, синее кольцо на трубе? Пойдет нынче в первый рейс. Ровно в шесть вечера отвал.

— Он кажется совсем новеньким. . . Будто только с верфи.

— А оно почти так и есть. Только-только из капитального. . . Как раз то, что вам нужно. Давайте я продам ваш билет, а вам возьму на «Воронеж». Вам одноместную?

— Да!

— Первого класса?

— Да!

— Все будет. Чемодан оставьте в камере, а жетон — у меня. Найдете вещи уже в вашей каюте. Тогда и рассчитаемся за услугу. Пока давайте только доплату. Приезжайте без десяти шесть. Я буду здесь, у схода. . .

Перед сдачей кладит в камеру, а жетона — носильщику Роня достал из чемодана тот самый роковой «Смит и Вессон» офицерского образца, что сослужил последнюю службу Осипу Розенштамму.

Герка снова прятал его с той сентябрьской ночи в прежнем тайнике. А перед нынешним Рониным отъездом, прощаясь с другом, сказал:

— Маршрут у тебя сложный. Главное — Кавказ. Туда безоружным не следует и показываться, тем более в горы. Это тебе не курортное побережье! Я достал для тебя «Смит» с чердака. Почистил перезарядил. Нашел и те две пустые гильзы. Почему-то тогда, после той ночной чистки, сразу их не выбросил. Вчера зарыл их в песок. Возьми еще пяток запасных патронов. От моего браунинга. Подпилишь напильником по своему патроннику. Ну, счастливо тебе, бачари!

Словом «бачари» они привыкли обращаться друг к другу. Кажется, это было название папирос в Германии. Почему-то оно привилось и вошло в их обиход.

Кобуры у «Смита» не было. Роня просто завязал револьвер при своих дорожных сборах в носовой платок, крепко стянув узелки. В этой невзрачной оболочке он и сунул «Смита» в карман брюк перед тем, как временно расстаться с чемоданом. Об остальном его содержимом он абсолютно не тревожился.

Кажется, все устраивалось очень ладно. Так он думал, медленно ступая по пристанским мосткам. Под ними, как всегда, качались на волне лодки, а у бережка рыбачили юные волгари. Почти у самого схода с мостков, где они затеняли береговую гальку, спал под дощатым настилом человек, укрыв голову и обнаженную спину под досками настила. Брюки его были задраны, приоткрывая лодыжки. А на голой пятке была четко выведена химическим карандашом цифра «12».

Шел десятый час утра, и стоявший у этой пристани «Наманган» уже заканчивал погрузку перед отвалом. По мосткам грохотали сапоги грузчиков: с поклажей — бегом, обратно — шагом. Роня спросил у шагающего:

— Что это за номер у того на пятке? Очередь, что ль, какая?

— А тебе пошто? Кто надо — тот знает. . .

Грузчик, не оборачиваясь, пошел своей дорогой. Зато другой, помоложе, шагавший чуть позади, задержался, спросил у Рони закурить московскую «Яву» и объяснил, показывая вниз, на спящего:

— Он — вроде артельщика у зимогоров. Эвон, трое их в холодке сидят, перекуривают. А цифра — чтоб задешево его не будить. Разбудил — давай работу не менее как на двенадцать целковых. . .

Тяжелые шаги загрохотали по мосткам.

— Па-а-зволь! Па-а-зволь! — орали грузчики громче обычного. Роня отскочил с дороги. Смельчак-такелажник, Ронин ровестник, нес

на спине пианино. Груз весил пудов двенадцать-тринадцать. Двухвершковые доски мостков пружинили, чуть подаваясь под каждым шагом грузчика. Роня был почти прижат к перилам, когда пианино слегка покачнулось на весу. Еще миг — и оно «сыграет», круша перила и рядом стоящего. Роня инстинктивно махнул через перила и спрыгнул прямо рядышком со спящим... Наверху грузчик, видимо, справился, сбалансировал свою ношу и бухал сапогами уже по настилу пристани...

Артельщик зимогоров, мужик с запущенной рыжей бородашкой, сел, зевнул, спросил просонья:

— Чего тебе?

— Гляжу, простынешь в сырости! — Роня придал своему тону некоторую иронию и благодушие. — Тебя ж сейчас чуть было не задавило. Еще бы немножко — груз бы через перила на тебя повалился!

— Да-к ты меня, значит, спасти сиганул? — в тоне артельщика тоже звучала насмешка. — Ну, спасибо! Чай, знаешь: нашего брата зря не будят! Аль вещей у тебя к пароходу много? Сам-то кто будешь? Приезжий?

— Приезжий. Учусь еще. Какие мои вещи! Чемоданишко!.. Ты, брат, про Максима Горького слышал?

— Слышал. Он нашу жизнь зимогорскую правильно понимал.

— Вот и я хочу понять.

— Ишь ты! Чтобы понять, надо пуп понадрывать! Максим-от сам грузчик. А ты? Нешто сдюжишь пианину на пупе поднять?

— Не подниму. А вот написать про это, может, и сумею. Коли можешь... Хочу тебя и тех ребят про вашу жизнь расспросить.

Мужик зевнул шире, перекрестил щербатую пасть и стал расправлять на себе полосатую матросскую тельняшку — она вся собралась у него на шее, была узка и коротка. Кое-как натянув ее сверху до пояса, он неторопливо собрал свои пожитки, служившие ему ложем: брезентовый дождевик, совсем прохудившийся; пиджачишко с надорванными карманами, войлочную шляпу на все сезоны. Ею он прикрывал лицо в часы сна.

— Стало быть, интересуетесь поговорить с нами о жизни? — проговорил он. — Однако же это для нас — пустой расход времени. Пора самая горячая.

— Но люди просто сидят, отдыхают? Вот бы пока и побеседовать?

— Почему ж не побеседовать? Однако всухую — какой же разговор? Ты, барин, водочки нам поставишь? На четырех зимогоров с хозяином в придачу — это с вами, барин, — четверть и будет в самый аккурат. Ну, там еще на табачок, на хлебушко, на лучок зеленый прибавьте — тогда потолкуем! Ладно?

Трое сидевших в холодке имели вид нищих бродяг. Компания подбиралась веселая. Артельный староста давал четкие команды, как в бою.

— Барин! Пожалуйста обещанное Семе. Ты, Сема, пойдешь в казенку. Вот, на четыре бутылки... Василий, дуй на рынок, принесишь лучку, редисочки самую малость и табаку покрепче. Хлеба каравай, покрупнее. Петро! А тебе лохань достать оттуда, где прошлый раз прятали... Ложки-то при вас? То-то же! И всем потом за нами следом, в Дом Корзинкина. Айда-те, барин!

В те годы между набережной Оки, Нижневолжской набережной, Софроновской площадью, Рождественской улицей и пониже, почти до начала Александровского сада, особенно же вблизи пристаней сохранялись еще целые кварталы каких-то замызганных складских «каменных мешков», полуразвалившихся лабазов, лавок, сараев с подвалами, трапами, крутыми лестничными ступенями, ставнями, железными задвижками. Все это пряталось за ветхими деревянными или кирпичными

заборами, создававшими ложную путаницу ходов и обходов, тупиков и лабиринтов.

Автор будущих очерков ранне-горьковского колорита бодро пробирался по этим лабиринтам вслед вожатому. Терялось ощущение, что он в городе XX столетия. Да и спутник походил скорее на пугачевца или разинца.

Пришлось перелезть через деревянный забор в захламленный и тесный, но отовсюду совершенно закрытый дворик. Справа там оказалась лестница в два марша, и вела она вниз, в полуподвал, плохо освещенный и грязный. Это-то и был, оказывается, Дом Корзинкина, как его называли зимогоры между собой. В углу полуподвального помещения стояли две пустые бочки. К стене были прислонены доски, оторванные от забора, и деревянный щит — им некогда загораживали на ночь лабазное окно.

Вся компания очень быстро оказалась в сборе. Щит уложили на бочки, Роню посадили в самый угол и придвинули к нему этот «бочкощитовой» стол. Из досок и поленьев соорудили скамьи. В огромный эмалированный таз (это и была их «лохань») стали дружно крошить черный хлеб, зеленый лук и грубо нарезанную редиску. Затем были с профессиональной ловкостью выбиты пробки из четырех бутылок и водка залила приготовленную массу так, что та всплыла; четыре ложки опустились в эту тюрю. Роне, как человеку еще непривычному, вежливо предложили жестяную кружку чистого напитка, без ингредиентов тюри. . .

— Ну, будем здоровы! — возгласил староста, и все четверо принялись дружно хлебать ложками тюрю, будто это был суп-лапша или щи. При этом раздавались тихие вздохи и замечания, вроде: «Эх, кабы ты, родимая, в Волге-матушке текла, чтоб хоть разочек всласть тебя напиться» или «Замастырили мы тюрю, хлеба в ней невпроворот, суха ложка рот дерет, эх, и трезвый наш народ, водку в рот не берет, тюри требует». . . В несколько минут таз был осушен. Ронины собеседники вытерли ложки и снова их спрятали — кто за голенище, кто в карман. Но пора было и начинать рассказы. . . Будущий очеркист попытался задавать наводящие вопросы, но напрасно — собеседники только вяло перебранивались и рыгали.

Кончилось все это приключение бурно. Старший из зимогоров, будто желая начать серьезный разговор и даже документировать его справками и бумагами, полез за пазуху и вытащил связку документов, перехваченную резинкой.

— На, товарищ-барин, погляди, как несправедливо ваша власть со мной поступила. Читай вот эту бумагу! Видишь, какой документ? Я с ним с гражданской войны воротился. Читай! Гляди сюда! . .

Спецкор журнала «Экран» с любопытством сдернул резинку. Перебрал документы. Бумажки оказались пустые: копии квитанций, мелкие счета, рекламки, использованные чеки, пароходные билеты. Разочарованный корреспондент, подозревая, что его водят за нос, сердито вернул бумажки владельцу. Но тот вдруг грозно нахмурился и стал проверять пачку.

— Пстой-ко, товарищ дорогой, куда ж это ты мой воинский документ девал? . . Эй, робя! Ощупайте его! Барин, да ты фокусник!

Трюк был, знать, не раз проверен на простофилях. Работали слаженно: двое ухватили Роню за рукава. Артельщик, распахивая Ронин легкий плащ на груди, тянулся к лацканам и карманам пиджака. . .

Гость же помнил о своем правом кармане в брюках! Вскочил, опрокинул стол с пустой «лоханью» на обоих визави, крикнул, уже отступая к ступеням: «Руки вверх!» Выхватил из кармана револьвер, сдернул с него платок.

Один из нападающих нагнулся к пустым бутылкам.



— Не робей! Пугач у него!

Бутылка угодила Роне в живот. Не разбилась!

И он выстрелил. Поверх голов так и брызнули ошметки кирпича.

Те замялись, и Роня выскочил во двор, ощутив скользящий удар по темени остроугольным камнем. Достиг ближайшего угла, завернул в глухой проулок, выскочил на Кооперативную.

В аптеке ранку промыли перекисью, посоветовали все же сходить к врачу. Дали адрес хирурга Жукова. Мол, особняк, не доходя корпусов городской лечебницы. Очень добрый врач, не откажет... Корреспондент же вспомнил, словно в озарении, что в семье Врунс он не раз встречал милую, интеллигентную и очень хорошенькую девушку Тамару из Нижнего Новгорода. И она была дочкой тамошнего хирурга Жукова... Бывает же такое!

Прием, оказанный ему в доме доктора, превзошел все ожидания! Он пробыл в этой радушной семье весь день. Рану доктор признал пустяковой и заклеил пластырем, совсем малоприметным. Девушка Тамара пошла проводить Роню на пароход. И команда, и пристанская обслуга хорошо знали в лицо дочь доктора Жукова. Ей ласково кланялись, уговаривали доехать до первой пристани — Исады, чтобы вернуться оттуда попозднее, пригородным пароходиком. Она колебалась, поглядывая на Роню. Стояли они на верхней палубе.

И вот, перед третьим гудком к отвалу, подкатил к пристани извозчик. У лошади ходили бока от быстрого бега. Из пролетки вышла дама в черном и повела за руку мальчика лет семи или восьми. Извозчик следом потащил объемистый чемодан с разноцветными наклейками японских отелей.

Прозвонил колокол на пристани. Трижды взревел пароходный свисток. Дама с мальчиком, чуть ускоряя шаг, подошла к окошечку пристанской кассы, протянула билеты. Ей что-то на них отметили.

Тоненьким свисточком пароход просигналил: «Убрать сходни! Отдать носовой!» Пристанские матросы подняли вверх правую сходню. Даме и мальчику оставили одну левую. Матрос вбежал на пароход с чемоданом отплавывающей, а сама она смело повела мальчика по узкой полосе трапа над водой, уже взбурлившей от ударов колесных плиц.

Сходя по трапу, мальчик выронил из рук шелковый японский платочек. Дама глянула на сына укоризненно, свела его на пароходный борт, а затем неуловимо легким движением повернулась к трапу, наклонилась и достала платочек, уже свесившийся над бездной. Даже успела послать матросам извиняющуюся улыбку — мол, простите за эту задержку... И Роня потерял ее из виду с палубы.

Будто заколдованный, он с этого мига напрочь забыл о провожавшей его милой барышне, не огорчился, заметив ее уже на берегу. Знает, не поехала до пристани Исады...

Он ощущал необыкновенную значительность явления, только что представшего его глазам... Он постиг, что поведение, манеры дамы в черном — это нечто недостижимо высокое, плод векового труда над шлифовкой каждой грани того великолепнейшего из алмазов, что именуется человеческой личностью. Не пустяковина ли? Наклонилась за платочком, взглядом упрекнула мальчика, взглядом же просила у матросов извинения... А нужна-то для этой «пустяковины» работа поколений не меньше, чем за пятьсот-шестьсот лет. И никаких эрзацев в этой многовековой шлифовке нет! Как нет рецепта для английских футбольных газонов иного, чем выращивание и уход на протяжении столетия!

Но неужто же наша эпоха кладет шлифовке человеческих алмазов конец? И коли так, то неужто удел дамы в черном — ходить по Земле одною из последних могикан?

## 2

*Только вспомни, как мудро и смело  
Заплелась неразрывная цепь,  
Как река под солнцем горела  
И на поручнях плавилась медь...*

*Из поэмы Рональда Вальдека*

Она и не помышляла о пароходных знакомствах. Кроме волнений с посадкой, оказалось еще, что мальчик слегка простудился. Пришлось уложить его в каюте, давать лекарство, читать ему вслух «Белый клык». Целый день она не покидала каюты. В спешке ей дали трехместную, очень просторную — пассажир мог в ней прохаживаться. И помощник обещал никого не подсаживать. К тому же взят в дорогу и срочный перевод, и еще корректура статьи, посмертной, мужниной... Вдова! Какое жесткое, горькое, пугающее слово! В двадцать девять лет! Вдова? Не в романе, не у чужих, не у классиков... Сама! Она! Вдова!..

...Из всех пассажиров «Воронежа» она лишь мельком обратила внимание на одного, молодого, кажется, с человеческим лицом. Среди рож... Может, тоже петербуржец? Одежда — не вычурная и к лицу. Что-то есть от северогерманца. Как и в покойном муже было. Нет, прямого сходства — никакого. Однако некоторая общность в складе, манере, самом типе... Впрочем, уж больно обожающим взглядом взирала на него сбоку та девица, с которой он стоял на палубе, наблюдая весьма сочувственно за драматическим приездом неизвестной дамы с мальчиком... Билет-то у дамы был на пароход «Наманган», а плыли они от самой Москвы на «Мантурове». Тот на целых полсуток опоздал, «Наманган» утром ушел, а на следующий пароход, «Воронеж», поспеть удалось только-только, по доброте извозчика и пристанских. И вот уже вторые сутки в пути по Волге-реке... Все тот же ком под сердцем. Та же боль.

\* \* \*

Дама в черном... Почему же не видно ни ее самой, ни мальчика? Не было их ни в салонах, ни на палубе, ни у пристанских мостков, где велась бойкая торговля живыми стерлядями, земляникой, топленным молоком, парниковыми огурцами и свежезасоленной черной икрой, божественным российским «кавиаром», который на этих пристанях шел за бесценок?

Нынче ночью — Жигулевские горы. Погода чудесная, будет луна, Переживать всю эту поэзию в одиночестве непривычно. Хочется делиться, а не с кем. Неужели она где-то сошла, и он навсегда потеряет даму в черном из виду?..

Когда, с карандашом и блокнотом, Роня пришел на корму, где имелся удобный столик, плетеное кресло и можно было, работая, поглядывать на оба берега, столик и кресло оказались занятыми той самой дамой, что садилась в Нижнем, — только сейчас она была не в черном платье, а в легком, сиреновом, — выписывала что-то в тетрадь из японского журнала американской вечной ручкой. Ронино сердце так и прыгнуло от радости: нашлась! Никуда с парохода не делась!

Он прислонился к перилам и стал измышлять повод для обращения. Выразить удивление, как быстро она читает иероглифический текст? От своего институтского преподавателя, Романа Николаевича Кима, читавшего в Брюсовском историю японской литературы, студент Вальдек имел некоторое представление о японской письменности и ее большой трудности для европейцев. Или рискнуть произнести японское

приветствие? Он помнил только «сайонара», но забыл, прощаются так или здороваются.

— Простите, нет ли у вас спичек?

Господи, это она сама заговорила с ним! Подняла голову от своих книг и обратилась к нему (год спустя созналась, что в сумочке лежало два коробка!).

Роня услужливо заслонил ладонями огонек и помог даме зажечь ее японскую сигарету... Плотина молчания тут же и рухнула.

Через полчаса он знал, что Екатерина Георгиевна Кестнер совсем недавно лишилась мужа-профессора и выбрала для короткого отдыха маршрут Москва-Астрахань-Москва. Едет с осиротевшим мальчиком. Отец много занимался с сынишкой и звал Ежиком. Сейчас приходится отвлекать его от недавних переживаний и направлять мысли на другое. Слава Богу, на пароходе мальчик стал крепко спать, лучше, чем дома. Они уже пригласили к себе в Москву мать Екатерины Георгиевны, Анну Ивановну, и скоро она придет к ним откуда-то с юга...

Словом, своего очерка Роня так перед Ульяновском и не написал!

Куда больше тревожила его мысль: удастся ли поладить с мальчиком? Победить столь естественную детскую ревность?

Далеко впереди показался огромный железнодорожный мост. Дама вывела мальчика на палубу. Мужчины пожали друг другу руки.

— Скажи, пожалуйста, — осведомился новый мамин знакомый, — ты несколько не боишься громких свистков?

— Немножко побаиваюсь, — произнес Ежик с похвальной откровенностью.

— Сейчас будут три долгих — это сигнал мосту. И знаешь, раньше пассажирам не разрешали быть на палубе, пока пароход идет под мостом.

Оказывается, не разрешают и ныне! Вахтенный помощник спустился с мостика, потребовал, чтобы все разошлись по каютам и салонам. Но он уже знал, что Роня — журналист и пишет о Волге. Даже предложил подняться на мостик — оттуда, мол, виднее.

— Хочешь со мной на мостик?

Мама и сын, конечно, не отказались. Сыну дали трижды потянуть за рукоять свистка, просигналить наплывающему мосту... При этом еще один, только незримый мост, перекинулся от детского сердца к взрослому.

В Ульяновске, тихом, зеленом, очень провинциальном и скромном городке, родине Ленина, они втроем больше часа бродили за пристанями, поднимались высоко в гору, где в садах еще доцветали яблони, а у дороги к городу висели на щитах рекламы и афиши.

Обоим взрослым участникам этой экскурсии понравилось, что соблюдалась известная скромность в объявлениях о музее Ленина и прочих местах, связанных с его детством и семьей. Получалось, что столь крупный земляк все-таки не задавил собою весь город, и он остается чуть не таким же, каким его знал сам Володя Ульянов. Только лестиное переименование резало ухо, свидетельствуя о чисто бюрократическом, мешанском мышлении тех, кто воображал, будто они возвысили Ленина, город и самих себя тем, что переименовали привычное русское слово Симбирск на непривычное — Ульяновск. В еще большей степени это относилось и к Царицыну-Сталинграду, однако там было хоть то оправдание, что нынешним властителям хотелось стереть память о властителях прежних. Подумать только, как же скучна станет наша старая Европа, коли вместо звучных своих тысячелетних названий запестрит на карте Маркштадтами, Энгельсбургам, Ленинградскими и Сталиногорскими!...

... Екатерина Георгиевна была на Волге не впервые и тоже радовалась предстоявшей уже нынче ночью встрече с Жигулями в знаме-

нитой Самарской Луке. Особенно радовала ее нетронутость природы в этих малообжитых живописнейших местах: три-четыре селения попадают здесь на протяжении многих десятков верст. Пароход прижимался, как она помнила, чаще к правому берегу Луки, и сегодня должны пройти под полной луной обрывистые скалистые берега, густые зеленые заросли, ущелья, знаменитые дикие утесы — Молодецкий Курган, Девья Гора, Два Брата, Соколя Гора на левобережье... Ни о чем не сложено в нашем народе столько песен, сколько пелось их в старину о Волге и Жигулях!

— Вот и приходите сегодня после ужина сюда, на корму, — просила Роню Екатерина Георгиевна. — Я рада, что увижу Жигули не в одиночестве.

В Ставрополе, где пристань далеко от городка, у песчаного откоса, поросшего ивняком, Роня быстро сбежал на берег, надеясь на встречу с одним юным журналистом, соседом по московской квартире, проводившим здесь лето. Роня дал ему с дороги телеграмму. Но уже начало чуть смеркаться, в окнах пристанских служб появился свет, и бакенщик приплыл на своей громоздкой лодке, загруженной запасными фонарями, со стрежня, где затеплил красные и белые огни бакенов, обозначающих фарватер. Стоянка «Воронежа» была короткой, он дал подряд всю серию свистков, и Роне пришлось прыгать на его борт уже после отдачи чалок.

Тут он решил взяться за дело и быстренько сочинить гениальный очерк, чтобы отправить его Афонину хотя бы из Сталинграда! Ведь до него — двое суток!

Ужин он велел принести себе в каюту. И, еще не зажигая света, подперев голову руками, он позволил себе чуточку вздремнуть — ведь минут через десять горничная разбудит, когда явится с подносом и двумя блюдами. Ласковая, щекочущая волна дремоты понесла его куда-то в теплую синеву.

Роня очнулся, трезвея, пугаясь, в ознобе. Из-за опущенных жалюзи бил дневной свет. Он в ужасе выскочил на палубу.

Матрос мыл ее шваброй. Все скамьи и столики громоздились на перилах, как бы оседлав их. Слева по борту тянулись безрадостные сырые низины. Примерно тот же вид был и справа. Колесные плицы беспощадно и ритмично отбивали что-то насмешливое. Он все проспал! И Жигули, и свидание, и Самару, и даже собственный очерк! Боги судьбы! О, коварные!

\* \* \*

Утром 19 июня спецкорреспондент «Экрана» опасно выглянул на палубу. И тут же, нос к носу, столкнулся с мальчиком Ежином.

— А мама вчера подумала, что вы отстали от парохода в Ставрополе!

Блестящая возможность выкрутиться! Мол, в журналистской горячке опоздал к пароходу и всю ночь мчался на моторной лодке вдогонку!

— Где мама? Пойдем к ней!

Он увидел ее в окне. Нет, глядя в такие глаза, лгать просто невозможно! Покаянно поведал он всю правду и получил приглашение к чаю. Она крепко заварила незнакомый Роне зеленый японский чай в крошечном металлическом чайничке, оплетенном соломкой. Столик в каюте укрывали два бело-синих полотенца с иероглифическими письменами. Сласти и печенье были токийские и иокогамские. Пили чай из массивных фаянсовых чашек без ручек.

— Знаете, больше всего я опасалась услышать какую-нибудь фантастику. Дело в том, что соседка по каюте услужливо доложила

мне — отстал, мол, ваш знакомый, сама видела... Я решила присмотреть за вашими вещами и каютой. Подумала, что, по примеру Стеньки Разина, вы сумеете пересечь посуху Самарскую Луку раньше, чем наш купеческий пароход обогнет ее, и что в Самаре вы нас догоните. Пошла, глянула и в отблеске из верхнего оконца увидела вашу тень на жалюзи. Спит за столом! Махнула рукой на Жигули и дочитала Ежичке «Белого клыка». Все к лучшему, Рональд Алексеевич.

— Постучали бы, Екатерина Георгиевна! Жаль Жигулей-то!

— Немножко я полюбовалась ими. С Ежичкой. Погасили свет и смотрели из окна. Луна была... Кстати, горничная с ужином пробовала стучать. И — бесполезно!

— Должно быть, воздух здесь такой усыпительный. Уж простите меня! Я боялся, что вы и говорить-то со мной после этого не станете.

— Повинную голову меч не сечет! Вот чего и впрямь не простила бы — вранья! Тут всякому товариществу был бы конец!

— А вы, значит, все-таки верите в товарищество между... как бы сказать... Ну, промеж мусью и мадам?

— «Промеж мусью и мадам» не очень верю. Но если они — личности независимые и достойные, то могут стать и товарищами.

— Ну, а ежели он ее вдобавок при этом и полюбит? И рамки товарищества станут тесноваты?

— Тогда... Уж не знаю, что тогда.

Ему показалось, что он нечаянно прикоснулся к чему-то, о чем ей сейчас без охоты вспомнилось и над чем раздумывать не хотелось. И он принялся всеми средствами искупать свою давешнюю вину.

Малейшие желания заранее угадывались и исполнялись. Было начато чтение сыну повести «Зов предков». Испрошено у капитана позволение использовать верхний дек в качестве солярия для мамы и сына. Когда мальчику надоело жариться на солнышке, спецкорреспондент привел его в свою каюту, разложил все альпинистское снаряжение и позволил даже, при условии соблюдения строгой тайны, потрогать барабан «Смит и Вессона», предварительно разряженного.

А для мамы был доставлен с какой-то пристани за Сызранью огромный ворох сирени и куплена глиняная миска, доверху наполненная великолепной осетровой икрой.

... Вечером капитан разрешил Роне пригласить даму на верхнюю палубу. Для них поставили скамью на корме, далеко позади капитанского мостика и дымовой трубы. Угольный дым и копать почти не ощущались и никого вокруг не было. Медленно угасал закат, повторенный в размашисто-широких нижеволжских плесах двух- или трехверстного простора!

Огни индустриального Вольска отсвечивали далеко позади, а по правому берегу поднялись под луною темные гряды Змиевых гор, как бы восполняя вчерашнюю потерю Жигулей. Не надо было тревожиться о мальчишке — для него нашелся товарищ, чья мама, тоже одинокая, обещала нынче пасти обоих...

— Вы, Екатерина Георгиевна, верно, совсем недавно из Японии?

— О нет, давно. Мои японские угощения — от артистов театра Кабуки. Сама я уже прошла все стадии разлуки с нею: острую к ней ненависть, безразличие, тоску по ней и возрождение столь же острой к ней любви. Это — для европейца обычная схема... Мы оттуда вернулись в двадцать третьем. Едва спаслись от Великого землетрясения.

— Вы мне уже объяснили, что вас с мужем послали туда выручать заказанное Керенским оружие. Но чем дело кончилось и почему оно так затянулось — с восемнадцатого по двадцать третий, — я еще не знаю. Или вам... еще что-то поручили?

— Ну, с оружием нам очень мешало белое русское посольство. Но все-таки японцы признали наши полномочия от Высшего военного

совета РСФСР более вескими и летом восемнадцатого отгрузили эшелон с винтовками и боеприпасами в счет полученных от правительства Керенского денег. Приемщиком, притом весьма придирчивым, всего груза был Валентин Кестнер. Японцы были уверены, что эшелон по дороге перехватит их же ставленник, атаман Семенов, но ошиблись! Нам передали, что оружие попало Красной армии, а точнее, партизанской армии Сергея Лазо. И пришлось весьма кстати!

После этого покладистость наших поставщиков сменилась полной неуступчивостью: следующий эшелон они наотрез отказались грузить! Нас же с Валентином газеты стали беспощадно травить как большевистских агентов, зловердных агитаторов. Требовали выслать из Японии опасную чету Кестнеров!

И вдруг — новая волшебная перемена! Осенью, уже в сентябре—октябре, нас вдруг приглашают в высокие сферы, нам улыбаются, нам кланяются, нас выслушивают с почтением, вновь смотрят наши бумаги — а им, этим нашим полномочиям, вот-вот приходит конец! Тем не менее полномочия признаются действительными, нам приносят на подпись новый акт — мол, второй эшелон оружия отгружен и следует в Сибирь. Японские обязательства выполнены! 7 миллионов в золоте компенсированы полноценным оружием и боеприпасами...

За газетами мы следили весьма пристально и отлично знали, что семеновцы и японцы в сентябре захватили Читу. Вот кому предназначалась новая партия винтовок, пулеметов и патронов! Притом за русское золото.

Мы категорически запретили отгрузку. Подписать акт отказались. И всеми путями пытались восстановить связь с Москвой или хотя бы с советскими властями в Сибири. Все было напрасно — Москва находилась в кольце блокады, да и мы с мужем, в сущности, тоже жили как осажденные. Потом, кстати, узнали, что одно из многих наших писем, которые мы посылали разными путями, дошло в Реввоенсовет. Это письмо тайком взял у меня брат нашей горничной, японский коммунист Фукуда, служивший матросом на грузовом судне. В каком-то порту он вручил наше письмо одному советскому дипломату, а тот переслал его прямо в Реввоенсовет товарищу Склянскому, нашему адресату. Склянский телеграфировал правительству Дальневосточной Республики, чтобы она приняла меры к спасению Особоуполномоченного Высшего Военного Совета РСФСР Валентина Кестнера и его жены путем дипломатических переговоров с японцами. Удалось это, как вы понимаете, лишь много позднее, когда в Японию прибыл первый представитель ДВР и корреспондент РОСТА товарищ Антонов...

А у нас кончились и официальные полномочия, и командировочные деньги. Мы с мужем превратились из официальных представителей просто в нежелательных иностранцев. Переехали из роскошного «Эмпирюр-отеля» на Гинзе в нищее предместье японской столицы. Там, в двадцатом, родился Ежичка — он у нас уроженец Токио!..

Муж пытался устраиваться на службу в частные фирмы, и всегда это удавалось лишь ненадолго. Горек был его опыт с одной конторой по торговле насосами. Владельцы конторы, бывшие одесситы, Биткер и Стерельный, решили, что внешность Валентина, его дипломатический опыт, манеры и свободная японская речь поднимут вес фирмы и привлекут чужие капиталы. Валентин положил все силы на это привлечение капиталов, убежденный в серьезности предприятия. Но когда немалые деньги притекли, господа Биткер и Стерельный и не подумали пускать их в насосное дело, а просто поделили между собой и объявили себя банкротами. Эта жульническая афера оттолкнула Валентина от попыток искать заработка на путях коммерческих. Он просто углубился в чистую науку, и помогал ему в этом его друг по университету

Евгений Николаевич Волжин, великий труженик и подвижник в науке и малое дитя в политике...

— А что же в это трудное время пришлось делать вам, Екатерина Георгиевна? Верно, ребенок отнимал много сил, но... были же у вас и дела иные, литературные или тоже исследовательские? Наверное, и на какую-нибудь службу надеялись?

— Да, надеялась, и нашла себе дело. Меня взял к себе на французские курсы один веселый парижанин, осевший в Иокогаме. Он мне прямо сказал: «Мадам, если ученики к вам пойдут и останутся довольны — я готов вам платить по высшей ставке, ибо всегда был альтруистом. Но курсы — мой хлеб!» И ученики... пошли. И остались довольны. Я кормилась этими французскими уроками сама, кормила сына и подкармливала мужа.

— Скажите, а этот Волжин... так и остался в Японии? Я слышал о нем. Ведь он расшифровал таинственные таблицы из мертвого города Хара-Хото?

— Да, он действительно их прочел, ибо открыл и исследовал древнейшую тангутскую письменность, нашел на Формозе потомков этих древних тангутов... впрочем, это слишком специальная область... Достаточно сказать, что Евгений Волжин — гордость русского востоковедения. Сам он не считает себя ни белым, ни красным, предан одной науке, пользуется огромным уважением даже у японских ученых, уж не говоря о кругах эмигрантских. Приходит он на помощь всем, кто в ней нуждается. Белые все надеются, что он окончательно примкнет к ним, красные же в нашем лице старались уберечь его от неверных шагов и лишних эмигрантских связей. Он сохраняет советское гражданство, а недавно Академия наук за огромные его заслуги присвоила ему звание члена-корреспондента и приглашает в Ленинград на серию докладов...

— Вы с ним переписываетесь?

— Да. Послала ему последние, предсмертные снимки Валентина. И те посмертные статьи, что я, уже одна, редактировала... Ведь когда японская полиция все-таки арестовала Валентина, я осталась бы без всякой поддержки, если бы не Волжин. Посадили Валентина за попытки установить связь с Москвой. Только Волжин и поддержал меня тогда, и морально, и материально. Мы были... добрыми товарищами, но я понимала, что небезразлична Евгению Николаевичу. Когда спасение пришло, в лице прибывшего из ДВР Антонова, Валентина выпустили из заключения при условии, что мы покинем страну в 24 часа. Провожал нас один Волжин. И на прощание сказал мне, что по одному моему слову будет там, где я ему велю быть, коли это мне понадобится бы... После смерти Валентина я написала Волжину большое дружеское письмо, описывала свое одиночество, свои трудности с редактированием посмертных трудов. Теперь я больше всего боюсь, чтобы он не истолковал это письмо как призыв сюда, в Россию, на помощь мне. Это может поставить под угрозу всю его тамошнюю ученую деятельность! Ему ведь покровительствуют даже японские власти. За ним и полицейского надзора нет!

— А землетрясение застигло вас еще в Токио?..

— Между ним и Иокогамой... Мы видели свежие следы цунами — выброшенный за три версты от берега морской пароход. И улицы без домов. Был только асфальт. Зданий — никаких! Но сама полиция помогла добраться до Цуруги и сесть на русский пароход. Там я заболела дизентерией и была на краю... А Валентин с тех пор так и не оправился от кошмарных условий японской ямы-тюрьмы. От последствий и умер через шесть лет. «Правда» писала в некрологе о профессоре Кестнере, что эта потеря долго не сможет быть восполне-

на... Наша «Правда» такими словами, как знаете, не разбрасывается! Он, кстати, постоянно в ней сотрудничал.

— А сами вы?

— Веду занятия разговорным японским языком. И работаю в Академии наук. И еще в Международном конъюнктурном... Ну, и пишу, конечно.

«Воронеж» почти прижался к высоченному берегу, и на мостике зажгли фонарь. Луч озарил глинистую почву, сонные листья мать-и-мачехи, лестницу-стремянку по откосу.

О прошлом больше не говорили. Теперь они читали стихи. Он — любимых поэтов русского серебряного века, она — вперемежку — Пушкина, Расина, Бодлера, сонеты Эредиа. Ее память на стихи была неиссякаема, Роня мог сравнить с нею только Валерия Брюсова.

Делалось все прохладнее. Ночь шла к перелому. За кормовой шлюпкой, на севере, у облаков стало заметнее легкое, серебристое свечение.

— Там сейчас — логовище Солнца, где оно спит по ночам, как все звери.

— Правда?

— Хотите согреться чашечкой чая? У меня в каюте «заряжен» термос.

— Мы можем даже капнуть в чай по капельке коньяку. У меня припасено немножко. Сейчас, проведу Ежика и принесу...

Когда они выпили чаю с коньяком в его каюте, ему стало чудиться, будто в женском оке появилось то же загадочное, влажное свечение, виденное ими там, на северной стороне купола мира...

Он отважился поближе рассмотреть этот мерцающий свет и понял, что тот не гаснет от его близкого взгляда!

А перед тем, как совсем уйти в блаженное небытие, он еще успел различить у нее на груди маленький, круглый, аккуратный шрамик пониже косточки-ключицы, как раз против живого женского сердца, ему отныне отдававшегося.

... Саратов, а с ним и Покровск они теперь проспали оба!..

### 3

Так, за одну ночь, двадцатилетний Роня Вальдек почувствовал себя главою семьи. Он еще не строил реальных житейских планов, ничего не говорил вслух, но внутренне исключил из своего лексикона местоимение «я». Он стал мыслить понятием «мы». О длительной разлуке для него и речи быть не могло. Чтобы «мы» разъехались — кто назад, тем же пароходом в Нижний Новгород, а кто другим пароходом — в море и к берегам Кавказа? Ни за что!

На одной из пристаней перед Сталинградом «Воронеж» разминулся с красивым пароходом скорой линии «Максим Горький». Екатерина Георгиевна ждала эту встречу, потому что по Волге путешествовал этим пароходом близкий друг ее и Валентина, ленинградский профессор Константин Адамович Винцент.

Один пароход причаливал, другой уходил, пассажиры толпились на палубе. И все-таки Екатерина Георгиевна углядела белый костюм профессора, а он тоже смог отыскать ее глазами в чужой толпе, улыбался, кланялся, послал Екатерине Георгиевне воздушный поцелуй и еще долго махал шляпой.

Она призналась Роне:

— Я загадала: если увижу Винцента — все будет хорошо... Даже очень хорошо!



Роня понял, что гадала она про него! И она не должна ни о чем пожалеть! Конечно, все будет хорошо!

Ни слова не сказав Екатерине Георгиевне, он из Сталинграда телеграфировал редактору «Экрана» Афонину: «Заболел. Врачи запретили работать. Отправляют лечение потом отдых Кавказ. Шлите Волгу другого корреспондента».

Для редакции «На суше и на море» Роня еще надеялся что-то послать с Казбека, ибо эта редакция его не торопила. Вдобавок одна Ронина новелла под названием «Алая метель» с полгода уже пребывала в редакционном портфеле, и поэтому небольшой аванс, взятый в счет кавказского материала, не тревожил Рониной совести. Притом кавказское задание его очень увлекало. Он стал уговаривать Екатерину Георгиевну ехать с ним на Кавказ.

— Боже, какой соблазн! «Но смерть, но власть, но бедствия народны...» Вы лишили меня покоя, сеньор! Мне безумно хочется... в дикую щель! Конечно, если все обсудить здраво, — это нереально, но восхитительно!

Разговор происходил, когда с борта «Воронежа», после крутого поворота Волги, вдруг неожиданно открылся изумительный вид на Астрахань, с кремлевскими башнями, стройной колокольней, пятиглавым собором и огромным портом, какого Роня еще не видывал на Волге.

У трамвайной остановки они восхитились афишей астраханского цирка: «Только один день, проездом в Париж, даст представление знаменитый Ампер-старший, Человек-Молния!». Именно у этой афиши Екатерина Георгиевна объявила собеседнику окончательное решение:

— Ронни! У меня нет запаса душевных сил ждать ваших возвращений с Казбеков и Ушб! Ставлю вас перед выбором: или я, или горы! Во всем остальном я готова безоговорочно вам подчиниться. Но пока мы вместе — о восхождении и речи не будет! Решайте сейчас же!

И он, не раздумывая, условие принял.

\* \* \*

*Только вспомни, какими долинами  
Разверзлся под нами мир!..  
Из поэмы Рональда Вальдека*

Они продали билеты с большой уценкой и устроились не в гостинице, а на постоялом дворе «Каспий» близ базара. Трехкочный номер в «Каспии» стоил совсем дешево! Но тут чуть не произошел небольшой конфуз! У них взяли документы — записать в книгу приезжих. С другого конца коридора он увидел растерянное выражение ее лица. Когда подоспел на помощь, оказалось, что татарка-дежурная никак не разберет фамилию главы семьи, а супруга... никак ее не вспомнит!

... Часами бродили в Рыбном порту, что в устье реки Кутум. Там и воды не видно было за великим множеством парусных и моторных рыбацких судов. Жизнь на этих судах шла увлекательная!

Величавый издала астраханский кремль оказался запущенным, ободраным и мрачнейшим. Часовой с винтовкой даже близко не подпустил к Пречистенским вратам, встроенным в колокольне. Пришлось просто обойти кремль снаружи по Октябрьской и Желябовской улицам. Встречный астраханец объяснил, почему не пускают:

— Там давно уж военный городок. До прошлого года был имени товарища Троцкого. А теперь — не знаю, должно быть, переименовали...

Потом в течение целого дня плыли дельтой Волги на полуморском судне с открытой палубой до 12-футового рейда среди почти нетрону-

той природы — в царстве птиц, сочной зелени и заповедной рыбы. Когда проходили мимо береговой тихой заводи, смогли различить на воде бело-розовую крапинку и узнали, что это — царственный цветок лотоса, а чуть позади, на берегу, заметили силуэт одинокого фламинго, тоже изысканного бело-розового оттенка.

Судно шло навстречу морскому ветру. Берега неприметно отступали, отставали, превращались в далекие полосы, потом — в марево. На 9-футовом рейде слегка покачивало. А на 12-футовом посадка на выдавший виды «Спартак» линии Астрахань—Баку происходила уже в штормовую погоду. Казалось просто невероятным, чтобы морякам Каспия удалось благополучно перебросить пассажиров и их кладь с одного танцующего борта на другой, повыше, но столь же буйно пляшущий. Однако милостивый Нептун ограничился невысокой данью — в воду упал всего один-единственный сундучок молодой цыганки, что только развеселило ее спутников и супруга.

Маленький, грязный и храбрый «Спартак» поднял якоря с 12-футовой глубины и упрямо потек навстречу высокой волне . . .

. . . Втроем они лежали около своих чемоданов на укрытой парусиной горловине носового трапа. Цыгане азартно играли в карты прямо на тигровом пледе, прикрывавшем ноги Екатерины Георгиевны, но она, не выносившая фамильярности, заигрывания или грубости, отнеслась к этому довольно благодушно. У нее, по отцовской линии, текло в жилах некоторое количество крови молдавских господарей, и это чуть-чуть отражалось в ее внешности. Цыганка, оставшаяся без сундучка, попросила:

— Красивая, счастливая, подари что-нибудь на память о тебе!

Екатерина Георгиевна достала из сумочки небольшой японский веер, искусное изделие из душистого дерева и проклеенной бумаги:

— Возьми его, обмахивайся в жару! Он — из сказочной страны, а держать его в руке надо вот так. Это — по-японски. А так — по-испански.

Подарок произвел сенсацию. Курчавый муж одаренной сказал:

— Слушай, если захочешь пройтись с твоим молодым, — иди куда хочешь, хоть на всю ночь! Мы за твоими вещами и за мальчиком присмотрим. Он у тебя на наших похож. Ничего у тебя не пропадет!

За бортом выныривали тюлени, глянцевиито-черные, усатые, с удивленными глазами . . .

Роня задремал было. Очнувшись, увидел ее, сидящую рядом, с очами удивленными и круглыми, как у тюленей. Повернул голову и ахнул!

Там, на юго-западе, уже поднялся в небо, вынырнув из морских пучин, весь Кавказский Хребет, в синих прожилках ущелий, в лиловых тенях и с розовеющими снегами вершин. Легко угадывались Эльбрус и Казбек.

Осторожно обошли они, держась за руки, спящих палубных пассажиров, стали у бугшприта и очень долго, в молчании, принимали от неба, моря и гор благословение нерукотворною красотой . . .

. . . В Махач-Кале поднимались отроги длинной, вытянутой вдоль моря горы Тарки-тау, а в просторной ложине, у подножия горного массива, видели уборку сена. На огромном стогу работал аварец, как им сказали, 112 лет отроду, принимавший снизу копны, что подавали ему на вилах 90-летний сын и 70-летний внук. У пристани они ужинали перед поездом в маленьком духане, где на двери изображен был подмигивающий горец с перекрещенными руками. Вытянутые указательные персты его рук давали направление входящим. Надпись уточняла: «Здесь — буфэты. Там — кабинэты». При этом лицо горца лукаво улыбалось.

. . . Еще сутками позднее, на берегу Терека, в пригороде Владикавказ-каза, им показали домик осетина-шофера, владельца четырехместного

«Форда». Теперь, когда Екатерине Георгиевне больше не приходилось опасаться за Ронины похождения среди ледников и карнизов, она с удовольствием согласилась проехать без спешки по Военно-Грузинской дороге. Общие автобусы проделывали этот путь за 7—8 часов — это утомительно, бегло и неинтересно. Шофер-осетин согласился ехать трое суток, с ночлегом в гостинице «Европа» у подножия Казбека. Роня только вздохнул, ибо эта гостиница и была местом сбора его альпинистской группы...

Через знаменитое Дарьяльское ущелье прибыли они сюда за пять суток до назначенного сбора...

\* \* \*

... Два дня бродили они втроем среди предгорий, подходили к Девдокарскому леднику, приносили в гостиницу эдельвейсы, побывали в древнем грузинском храме, едва видимом снизу, из селения. Показали им вблизи Гвилетского моста в Дарьяльском ущелье аул Гвилети, а в нем — домик осетинского семейства Бусуртановых — лучших и, кажется, единственных проводников до вершины Казбека.

Однажды на крутом подъеме в гору Екатерина Георгиевна приотстала. Вдруг, откуда ни возьмись, накиннулись на нее три-четыре овчарки — молчаливые, мохнатые, злобные. Роне сверху было видно, что Катя попала в опасность; он выхватил свой револьвер из кармана, но сама женщина ни волнения, ни испуга не проявила. Псы, поурчав около нее, убралась, как будто даже пристыженные.

— Что ты им такое сказала? — удивлялся Ежик.

— Я им сказала: «Эх вы, злые собаки, драчуны-забияки, на гостей напали, волков прозевали!» Им стало совестно и они убралась!

Ночью ушли облака с Казбека, он открылся весь, будто вычеканенный из лунного серебра по холодной звездной эмали, нечеловечески огромный, недоступный и нездешний. Даже видимый ясно, он как бы отсутствовал, не принимал ни восторгов, ни поклонения. Он был попросту не из здешнего мира. Мог общаться лишь с равным себе космическим титаном. То, что козявки по нему изредка ползают, оставляют свои пометки, забывают рюкзаки или теряют ледорубы, — ничего это не меняло! Козявки заберутся и в космос, но никогда не возвысятся до общения с ним на равных...

\* \* \*

... В Батумском порту оставалось всего полчаса до отвала парохода «Севастополь». Он мог высадить их на рейде Адлера. Там, где-нибудь на берегу, в Хосте, им хотелось недели на три осесть...

Накануне в батумской гостинице, довольно подозрительной даже с первого взгляда, среди разношерстных жильцов чувствовалась некая нервозность. У подъезда фланировали или таинственно шныряли какие-то темные личности — не то контрабандисты, не то сыщики. В грязном столовом зале, в прокуренном воздухе носились обрывки фраз: «Бывает ли обыск при посадке на пароходы?», «У него нашли прямо в номере...», «Наша покупка законна, чего они пристають?» и тому подобное. Кто-то вслух возмущался строгостью таможенных осмотров при отъезде из Батума.

— Ах, как хорошо иметь чистую совесть! — смеялась Екатерина Георгиевна.

Роня набрался решимости и поведал спутнице все, связанное со злополучным «Смит и Вессоном»... Она была подавлена и плакала.

— Господи, чего только не случается с нашими глупыми сынами!.. Хорошо, что я все это теперь знаю. Но от револьвера надо избавиться.

Ведь ты давал обязательство не выезжать без разрешения из Москвы? Значит, коли эту вещь у нас найдут, — последствия даже угадать трудно. Делать нечего — я сейчас пойду и утоплю его в дамской комнате.

Вернулась она в номер очень серьезная, побледневшая.

— Ронни, за нами уже следят. Вполне откровенно. Когда я вошла в эту мерзкую «дамскую», оказалось, что она отделена от соседней «мужской» низенькой стенкой, чуть повыше глаз. И оттуда, через верх, выглянула рожа. Какой-то субъект, наверное, стоя на цыпочках, стал смотреть, что я делаю. Прогнать его не удалось. Он заявил: «Гражданка, не стесняйтесь, делайте, что вам надо, у нас тут такой порядок»... Понимаешь, тут хуже, чем в Японии... Пришлось просто-напросто уйти.

Револьвер надумали спрятать среди ручной клади. Екатерина Георгиевна сделала это с тонким психологическим расчетом. Она упаковала оба больших чемодана строго единообразно. В углу каждого чемодана поставила по никелированному чайнику — случайно оба они были новы, одного типа, размера и выпуска — хозяева различать их не умели. На дно Рониного чайника положили чайные серебряные ложечки. Их прикрыли круглой мочалкой. Поверх мочалки уложили туалетные мелочи — носки, аптечку, словарь, сувениры. В другой чайник, прямо на дно, положили «Смит и Вессон» рядом с парочкой ложек из нержавеющей стали и тоже накрыли все это круглой мочалкой. Поверх мочалки тоже тщательно и плотно набили чайник мелочами — носовыми платками, письменными принадлежностями, японскими баночками, косметикой... Чемоданы еле закрылись. Пришлось и на Ежика надеть рюкзак из Рониного снаряжения. Уложили туда свитера и дождевые плащи.

На пароход их пустили без осмотра вещей, однако все же под пристальными, недоверчивыми взглядами милиционеров и агентов ОГПУ в штатском, стоявших у трапа.

Почти сразу после отвала начался шторм. К полуночи ветер достиг десяти баллов, и «Севастополю» приказали взять курс наперерез волне, в открытое море, подальше от береговых скал и рифов.

Роня со спутницей стояли у основания утлехари, держались за леерную стойку и орали друг другу в ухо строфы из гумилевских «Капитанов». Впереди поднимались из мглы белогривые горы-волны. «Севастополь» кланялся им так низко, будто каждый раз готовился нырнуть в самую глубь водяной горы. Но она все-таки поднимала его на уровень гребня, и только кипящая пена шумно обдавала стоящих с головы до ног, с силой совсем смыть их с боковой полупалубы... Наконец ставший на вахту капитан послал матроса предостеречь отчаянную парочку, что ветер переходит в ураган, команду вызывают всю команду и пассажирам лучше удалиться.

В каютах, салонах и в нижних классных помещениях все лежали во власти морской болезни. Ни одного бодрящегося или оживленного пассажира они на судне не встретили. Страдала и часть экипажа — проводницы, буфетчицы, даже иные молодые матросы. Сильно мучался в этот раз и Ежик, не встававший с подвесной койки.

К утру снова шли вдоль побережья при неприятной бортовой болтанке на мертвой зыби. Даже для Рони это было испытанием, давал знать себя, скорее всего, аппендицит. Вообще-то он с детства приучал себя к морю с помощью качелей в Корнееве.

И вот, наконец, долгожданный адлерский рейд!

Волнение еще не улеглось, пассажиров брали две шлюпки с кормового трапа. Тяжело нагруженные, шлюпки не могли подойти близко к берегу. Матросы переносили кладь, детей, стариков, женщин на руках, по пояс в воде. Потом чуть подтянули шлюпки поближе и высадили мужчин.

У берега стояли красноармейцы-пограничники в зеленых фураж-

как и служащие таможи. Опытным взглядом они оценивали людей и багаж, но никого не останавливали и не осматривали. Только Роню и его спутников они сразу же отозвали в сторонку. Те пожали плечами, приняли недоумевающий вид и стали ждать окончания высадки и выгрузки.

— Эти чемоданы и рюкзак — ваши? Все ваше выгружено? Тогда пройдемте! — И пока длинная цепочка пассажиров с «Севастополя» змеилась по тропе к поселку, их троих — мужчину, женщину и мальчика — повели берегом к одинокому домику Морагентства, еще даже не совсем достроенному. Был там необжитый зал с бетонным полом и скамьями вдоль стен. Среди пограничников и таможенников оказалась одна пожилая женщина в форменной морской куртке. Было заметно, что вся эта группа собрана была к прибытию парохода и четко действует по приказу.

— Приготовьте багаж к осмотру. Игнатьев, Голендо, Торбаев — приступайте! Товарищ Зеленина, проверь гражданку.

Начался обыск, да такой, что по тщательности превосходил все, о чем Роня прежде читал и слышал. Попытались развернуть каждое звено бамбукового альпенштока. У ледоруба развинтили все крепления, отняли рукоять. Мешали спичкой в зубном порошке. Ежичкин рюкзак исследовали особенно заботливо. Шилом протыкали подошвы, каблуки, ковыряли пуговицы. Тем временем старший отошел к окну с документами задержанных, исследуя с лупой подписи, печати, бумагу. То и дело кидались, сразу по несколько человек, к обнаруженной «контрабанде»...

— Ага! Японские! Вот, шелковые, уже ношенные... Опытная! Надвала! Белье на ней какое, товарищ Зеленина?

— Заграничное. Стираное, товарищ начальник.

В этом зале еще не было столов. Осмотренные мелочи бросали на скамьи. Ничего серьезного пока не обнаружили. Ронино корреспондентское удостоверение и ученое звание Е. Г. Кестнер вызвали, однако, полнейшее недоверие.

— Кто это из вас якобы московский корреспондент! — с явным скепсисом в голосе спросил начальник. Обыск, тем временем, еще шел своим чередом.

— Разве вы не видите? Вот он! — женщина показала на Ежика. — Что мы напишем про этих дядей? Я думаю, что они испортили нам отдых, а у себя отняли зря массу времени! Вот так и напишем!..

Далее выяснилось, что «гражданка» еще и внештатная переводчица Совторгфлота, а недавно работала с артистами театра Кабуки, была их гидом по Москве, переводила для зрителей тексты пьес по ходу спектаклей.

Но обыск, порядка ради, надо было все-таки довести до конца. Дошла очередь и до обоих чайников... Первый, безобидный, вынул из чемодана один из обыскивающих. Второй чайник, как бы помогая осмотру, достала и открыла сама Екатерина Георгиевна. Она смотрела, как заботливо агент перебирает в своем чайнике каждую мелочь. Под конец он вытряхнул мочалку, высыпал ложечки и обратил взор на второй чайник в руках хозяйки.

— Вынимайте сами!

Остальные теперь смотрели на агента и женщину с чайником.

Вещицу за вещицей она доставала, выкладывала, добираясь до дна. Вот и мочалка... Под ней уже отблескивает никелем револьвер и пара ложечек.

— Ну, все, Тут мочалка и две ложки. Высыпать? Или так убедитесь?

— Да ладно...

Пограничник махнул рукой. Женщина стала бережно укладывать мелочи назад, в чайник. Платочки, баночки, носочки...

Начальник группы вздохнул:

— Что ж, граждане, вы свободны. Можете собирать вещи и ехать дальше.

\* \* \*

... По дороге в Москву Роню все больше и больше мучал аппендицит. Екатерина Георгиевна привезла его к себе домой, в Малый Трехсвятительский. Осмотревший Роню врач потребовал немедленной операции. Ее сделали в Яузской больнице и заодно выявили всяческие осложнения в Рониных внутренностях. Их устранили под общим наркозом. Пробудившись, придя в себя, он из газет узнал удивительную новость: его альпинистская экспедиция после удачного подъема на Казбек пыталась штурмовать Ушбу, но попала там в беду и несколько человек погибли. Траурный митинг по ним состоялся в Большом зале московского Политехнического музея.

Вальдеки-старшие еще не возвратились из отпуска, и Екатерина Георгиевна опять положила Роню у себя. Тем временем успела приехать Анна Ивановна, Катина мать, с юга, и Роня остался на полном попечении обеих женщин. Он уже чувствовал себя мужем и главой семьи, это скоро признала и Анна Ивановна, не очень жаловавшая покойного профессора. Ежик стал называть своего отчима «папой Ронни». Старшая прислуга семьи Беркутовых, баба Поля, помнившая еще покойного сенатора, тоже благословила Катю на это замужество. Они решили пойти в ЗАГС после полного Рониного выздоровления.

Но однажды поздним вечером раздался звонок и чужие шаги. Это прямо с вокзала появился Евгений Николаевич Волжин, приехавший из Японии. Письмо Катини он истолковал именно так, как она опасалась!

*(Продолжение следует)*

---

---

---

## ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

---

---

### Антуан де Сент-Экзюпери ЦИТАДЕЛЬ

*Перевела с французского Марианна Кожевникова*

#### LXXIX

Пришел противник моего отца.

— Счастье людей... — начал он.

Отец прервал его:

— Не приноси в мой дом шелухи. Я принимаю лишь те слова, в которых ощутима внутренняя весомость, скорлупу я отбрасываю.

— И все же, — продолжал тот, — если правитель царства не озачобен в первую очередь счастьем подданных...

— Я не бегу со всех ног, стараясь припасти как можно больше ветра, — отвечал отец, — ведь стоит остановиться, ветер стихнет.

— Если бы я был государем, — настаивал тот, — мне хотелось бы, чтобы подданные мои были счастливы...

— Вот теперь, — отвечал отец, — я слышу тебя лучше. Слова твои не пусты. В самом деле, я видал людей счастливых и несчастных, видал толстяков и худышек, калек и здоровяков, живых и покойников, и мне нравятся счастливые люди, нравится, когда они живут, а не умирают. И еще мне нравится, когда одно поколение перетекает в другое.

— Стало быть, мы думаем одинаково! — вскричал тот.

— Нет, — ответил отец.

И продолжил:

— Ты сказал — «счастье». Объясни!, что ты имеешь в виду — душевное состояние, когда человек чувствует себя счастливым, как иногда чувствует себя здоровым? Но какое я имею отношение к усердию чужих чувств? Или счастье кажется тебе достижимым состоянием общества и я должен хотеть достигнуть его? Но каково оно, это состояние?

Один счастлив в покое, другой — в сражении, одного погружает в экстаз одиночество, другого — шумный и пышный праздник, один наслаждается научными изысканиями, ища ответы на вопросы, другой обрел благодать в вере, для которой не существует вопросов.

И если я начну объяснять, что такое счастье, то получится: для кузнеца — счастье ковать, для моряка — уходить в плавание, для богатого — богатеть, но сказав так, я ничего не объяснил. К тому же для богача счастьем может быть море, для кузнеца деньги, а для моряка безделье. Вот и скользнул от тебя бесплотный призрак, который ты вознамерился поймать.

Не старайся во что бы то ни стало постичь смысл слова, подлинный смысл не в словах, но как вознаграждение он открывается тебе и в словах тоже. Такая же награда тебе красота, я ценю красоту, но не

верю, что красоту можно создать целенаправленно. Разве говорит ваятель: «Из этого мрамора я высеку что-то необыкновенно красивое?» Изготовители безделушек тешат себя такой чувствительной чепухой. Настоящий ваятель говорит: «Что-то мучает меня, и я бьюсь над мраморной глыбой, чтобы это что-то выразить. У меня нет другого способа высказать это и избавиться от мучений». Пусть мраморное лицо будет обрюзглым и старым, пусть будет бесформенной маской, пусть будет сонным и юным, — если скульптор велик, оно покажется тебе прекрасным. Красота не цель, она — вознаграждение.

И когда я сказал тебе, что для богатого счастье богатеть, я солгал. Счастьем называют упоение, венчающее победу, блаженство, вознаграждающее за усилия и труды. Если богач вдруг чувствует, что раскинувшаяся перед ним жизнь упойтельна, то это будет та же радость, которой одарит тебя пейзаж, созданный твоим тяжким подъемом в гору.

И если я скажу тебе, что счастье грабителя — сидеть в засаде при свете звезд, значит, и в нем что-то можно спасти, это «что-то» и вознаграждает его счастьем. Как-никак он принял холод, опасность и одиночество. И уверяю тебя, от золота, которого он дожидается, он ждет внезапного преображения: в один миг преобразается он в ангела, у него, телесного и уязвимого, вырастают крылья, когда, прижав золото к груди, он мчит в тучный и изобильный город.

В молчании моей любви я подолгу наблюдал за теми, кто лучился счастьем. И видел: счастье озаряло их, будто красота статую, — тогда, когда его не искали.

Я убедился, счастье всегда знак того, что перед тобой хороший человек с добротным сердцем. Только той, что способна сказать: «Я так счастлива!» — открой свой дом на всю жизнь, потому что у нее благодарное сердце.

Так не требуй от меня, государя, счастья для моего народа. Не требуй от меня, ваятеля, красоты, — иначе я застыну на месте, не зная, где ее искать. Красота прилагается, как прилагается и счастье. Требуй, чтобы я вложил в мой народ такую душу, которую мог бы озарить свет счастья.

## LXXX

Я вспомнил давние слова моего отца. «Чтобы созрел апельсин, — говорил он, — мне нужны удобрения, навоз, лопата, чтобы выкопать яму, нож, чтобы отсечь ненужные ветки; тогда вырастет дерево, способное расцвести. Но я — садовник, я занят землей, я не забочусь ни о цветах, ни о счастье, потому что прежде цветов должно быть дерево и прежде счастья должен быть человек, способный стать счастливым.

Но собеседник продолжал спрашивать:

— Но если не к счастью — к чему тогда стремятся люди?

— Об этом я расскажу чуть позже, — отвечал отец. — Но вот что произошло: ты усвоил, что ощущение счастья сопутствует трудно достигнутой победе, и с присущей логике недальновидностью заключил, что люди борются, стремясь обрести счастье. А я, пользуясь той же самой логикой, скажу тебе: поскольку жизнь завершается смертью, всю жизнь люди стремятся к смерти. И так мы будем перебрасываться словами, словно бесформенными медузами. Но я скажу тебе другое: случается, что счастливые отказываются от своего счастья и идут воевать.

— Только потому, что исполнение долга для них — высшее счастье.

— Мы не сможем разговаривать, если твое слово будет медузой, то и дело меняющей форму. Нагрузи слово смыслом, с которым можно



согласиться или отвергнуть. Если счастье в одно и то же время и откровение первой любви, и предсмертная рвота, когда пуля, войдя в живот, открывает бездонный темный колодец, то как соотносить мне твое слово с жизнью? По существу, ты утверждаешь одно: люди ищут то, что ищут, и стремятся к тому, к чему стремятся. Возразить тебе невозможно, и мне нечего делать с твоей неоспоримой истиной.

Ты жонглируешь словами. Но если ты откажешься от своей чепухи и согласишься, что человек уходит на войну не за счастьем, и все-таки будешь настаивать, что все действия человека обусловлены стремлением к счастью, тебе придется признать, что уход на войну — сумасшествие. Тогда я попрошу тебя объяснить, что такое сумасшествие. И если сумасшедший — это тот, кто, бессмысленно глядя, пускает слюни или ходит на руках, то при виде марширующих солдат твое истолкование не покажется мне убедительным.

Но, возможно, язык, на котором ты говоришь, мешает тебе увидеть, к чему все-таки стремятся люди. И к чему стремлюсь привести их я. Ты взял слишком маленькие сосуды, вроде «счастья» или «сумасшествия», и попытался вместить в них жизнь. Ты похож на малыша с совком и ведерком, который собрался переместить Атласские горы.

— Так научи же меня, — попросил тот.

## LXXXI

Если, живя жизнь, ты послушен не велениям души или сердца, но руководишься соображениями, которые возможно выразить словами и которые умещаются в них целиком, нам не о чем с тобой говорить. Значит, ты не знаешь, что слова не более чем знак. Возьми, например, имя твоей жены, оно только знак и само по себе ничего не содержит. Ты не можешь что-то постичь из имени, потому что не в нем суть. Тебе не придет в голову сказать: «Ее зовут Мари, поэтому она такая красивая».

Так что, сколько бы ты ни рассуждал о жизни, жизнь остается жизнью, а слова словами.

С чего же ты решил, что слова о жизни равны самой жизни? Слово обеспечено неким залогом, и случается, что залог надежней там, где слово менее искусно. Выигрыш на словах мало что значит. Жизнь — это то, что есть.

Если язык, которым ты говоришь со мной, объясняя, почему поступил так, а не иначе, не иносказание, как это бывает в поэзии, если я не чувствую сквозь него твоей глубинной сущности и стремления высказать несказанное, что мне в твоих доводах? Я отмечаю их, как пустой сор.

Если распорядилась тобой не любовь, внезапно настигшая тебя благодаря чудесно явленной картине, а бестолковый ветер слов, шуршащий бесплодной логикой, я отстраняюсь от тебя.

Не жертвуют жизнью знаку — умирают за то, что он обозначил. Но если ты попытаешься выразить, что же он обозначил, тебе не хватит книг всех библиотек мира. Ты ощутишь полновесность слова «гора» в моей поэме, только если сам карабкался по камням на вершину. Но сколько слов и сколько лет понадобится мне, чтобы объяснить тебе, что такое гора, если ты живешь на степном берегу у моря?

Как рассказать, что такое родник, если тебе никогда не хотелось пить, ты не складывал руки ковшиком и не зачерпывал ледяной воды? Я могу сколько угодно воспевать родники, но где память о трудной дороге, о ноющих от усталости ногах?

Я знаю, главное не родник, главное — Бог. Но для того, чтобы мои слова задели за живое, чтобы и для тебя, и для меня они стали вра-

чующим скальпелем, они должны отыскать в тебе это живое место. Да, я хочу открыть тебе Господа, но сперва заставлю вскарабкаться на вершину горы, чтобы с тобой заговорили звезды. Отправлю умирать от жажды в пустыню, чтобы родник заморозил тебя. Полгода ты будешь ломать камень в каменоломне, и каждый день тебя будет палить нещадное солнце. А потом скажу: «Истомленный нещадным зноем, поднялся он в сумерках на вершину горы и под сияющими звездами в тишине напился из Господнего родника и больше не жаждал».

Ты поверишь в Бога.

Против чего тебе возражать? Ты ощутил, что такое Бог, и Он просто будет, как будет печальным лицо, если я его изваяю печальным.

Нет языка вне деяний твоих и поступков, Бог един. Поэтому я называю трудом молитву и молитвой труд.

## LXXXII

Необходимость постоянства — вот что я ощутил как великую истину.

На что опереться, если все кончается вместе с тобой? Я вспомнил народ, который чтит как богов своих мертвых. Родовой склеп принимал одного за другим тех, кому пришел черед умереть. Склеп олицетворял постоянство.

— Вы счастливы? — спросил я.

— Мы знаем, как мирен ожидающий нас сон, и как же не быть нам счастливыми?

## LXXXIII

Я устал. Изнемог. И, наверное, был бы честнее, если б сказал: чувствую, что оставлен Господом. Больше не было надо мной замкового камня, смолкло во мне эхо. Смолк тот голос, что говорил со мной в тишине. Я поднялся на самую высокую из башен и подумал: «Для чего они, эти звезды?» Оглядел мои земли и спросил: «Для чего они, эти земли?» Услышал жалобу сонного города и не понял: «Откуда она, эта жалоба?» Я был иноземцем, отчужденным от разноликой чужезычной толпы. Был платьем, брошенным на спинку стула. Был бесильным и одиноким. Опустелым, нежилым, как дом, и как мне не хватало замка свода! Все распалось во мне, ничто ничему не служило. «Однако я все тот же, — думал я. — Все то же знаю, все то же помню, все то же вижу и, несмотря на это, тону в бессмысленном дробном мире. Самая прекрасная из часовен — мертвый камень и ничего больше, если перед ней никто не благоговеет, не вкушает ее тишины и, сподобившись благодати, не молится от всего сердца. Что толку в моей мудрости, чувствах, памяти? Я сухая колючка, а не травинка. И мне скучно, как бывает скучно оставшимся без Господа».

Я не мучаюсь, мучается человек, а я — пустое место. Мне так скучно, что хоть разорять со скуки сад, по которому я слоняюсь взад и вперед, словно жду кого-то. Жду и жду среди расплывающейся Вселенной. Я молился Господу, но молится человек, а я — оболочка, свеча, которую не зажгли. «Вернись ко мне, мое рвение, мое усердие», — просил я. Я знаю: свяжи все воедино, и возникнет рвение. Оно есть, когда у корабля есть капитан. Когда есть паломники в часовне. Но что остается, кроме бессмысленного камня, если не внятен замысел ваятеля?

И тогда я понял: тот, кто замер перед улыбающейся статуей, прекрасным пейзажем или в тишине храма, обретает Господа. Он ми-

новал вещь и потянулся за смыслом, отстранил слова, вслушиваясь в мелодию, отвел ночь и звезды, притрагиваясь к вечности. Господь и есть смысл твоих слов, и, напитавшись смыслом, слова открывают тебе Господа. Слезы малыша ножом полоснули сердце, и распахнулось окно на соленый океан. В тебе зазвенел не его плач — все плачи. Малыш взял тебя за руку и научил слышать.

— Для чего, Господи, заставляешь меня идти по пустыне? Я весь в шипах и колючках. По одному твоему знаку пустыня бы преобразилась — желтый песок, дальний горизонт, жгучий ветер не жили бы по отдельности, стали бы царством, я воспрял бы духом и проникся Твоей близостью.

Но я понял: если Бог отдалился, Он подает о Себе весть ощущением пустоты. Море для моряка исполнено смысла. Для мужа исполнена смысла любовь. Но приходит минута, и моряк спрашивает: «Зачем оно мне, это море?» Спрашивает муж: «Что она, эта любовь?» Как им тоскливо, уныло. Все при них по-прежнему, нет божественного узла, связующего все воедино. И у них нет больше ничего.

— Если Господь оставит и мой народ, как оставил меня, — думал я, — у меня будет муравейник с муравьями, потому что в душе их угаснет рвение. Не играют в кости, если кости — костяшки и ничего больше.

И я понял, что ум мне не в помощь. Да, конечно, можно продумать кладку храма, но кладка не главное, — главное не в камнях. Да, конечно, можно продумать, каким будет нос, уши, губы статуи, но они не главное, — главное не в глине. Главное — залучить Божественный свет. Он осеняет расставленные нами ловушки, чуждые его природе.

Я — ваятель, я высекаю статуи, статуя есть принуждение. Образ всегда принуждение. Я что-то уловил и сжал кулак, желая не упустить. Не говори мне о свободе поэтического слова. Я подчинил слова друг другу, следуя своему внутреннему порядку.

Может случиться, что мой храм разберут и сложат из камней другой. Есть смерть, есть рождение. Но не говори, что у камней есть свобода, — есть храм.

Я не вижу, в чем противоречит принуждение свободе. Чем больше проторил я дорог, тем свободнее ты в выборе. Хотя каждая из дорог — принуждение, потому что я оградил ее дорожными столбами. И что ты имеешь в виду, говоря «свобода» и не видя перед собой ни одной дороги? Или ты называешь свободой блуждание наугад в пустоте? Поверь, принуждение новой дороги увеличит твою свободу.

Без пианино, гитары сможешь ли ты свободно отдаться музыке? Твоей статуе необходимы уши и нос, вот тогда ты свободно ищешь улыбку. Запреты, ограничения, правила шлифуют, оттачивают культуру, благодаря им так утонченно изысканны ее плоды. За толстыми стенами моего замка душевная жизнь богаче, чем у подонков, на пустыре.

Добровольные и недобровольные обязательства — вот отличие свободы от принуждения, с любовью или без любви, но мы обязаны поклониться королю. Желаящий подняться повыше или собрать духовное сокровище согласен на принуждения. Ты следуешь обряду, он стеснил тебя и устремил вверх. Глядя со стороны, как самозабвенно играют другие дети, огорченный ребенок требует, чтобы и его научили правилам игры, он тоже хочет играть, а значит, жить. Грустно тому, кого не зовет в храм вечерний благовест. Поет рожок, но не для тебя побудка, а твой счастливый приятель кричит: «Слышишь, меня зовут!» Глухое раздражение и скука — спутники тех, для кого нет ни благовеста, ни пения рожка. Они свободны, они вне жизни.

## LXXXIV

Не стоит смешивать слова разных языков, хотя, верю, тебе так недостает прилагательного, чтобы передать яркую зелень ячменного поля, а у твоего соседа оно есть. Но слово только знак. «Жена у меня красивая», — сказал ты, но разве кто-то понял, как ты любишь ее? «Мой друг так скромн», — сказал я, но разве кто-то узнал, как я к нему привязан? Мы не передали и малой толики того, что живит нас. Мы определили, как определили бы неодушевленный предмет.

Есть на свете народы, которые как качественное ценят иные, чем мы, качества, которые ищут имя совсем иной картине, что увиделась им сквозь общую для нас всех вечность мира. И они нашли имя своей картине. Можно найти особое слово и для беспричинной тоски, что щемит вдруг сердце на пороге дома, когда садится солнце, меркнет свет и впереди лишь потемки с тусклой луной, тоска эта сродни страху перед смертью: как быстро сонное детское дыхание становится прерывистым дыханием болезни, похожим на последние усилия усталости, карабкающейся в гору, слыша его, тебе становится так же страшно: а что если твой малыш не захочет карабкаться дальше? — и тебе так хочется взять его за руку и помочь. И вот ты это свое нажитое умечаешь в одно слово, им начинают пользоваться, и оно становится родовым наследием твоего народа.

Но передал ты всем нам уже известное. Мой язык не стремится передать цветущую полноту качества, в нем нет слова, обозначающего «розовый цветок», зато он умеет сплестать слова и ловить тебя их сетью. Слова моего языка не представят воочию женского лица, но красоту его ты угадаешь по тому, как у тебя вдруг захолонет сердце, будто от глотка ледяной воды в зной.

Так дорожи возможностями, которыми одарила тебя душа твоего народа, дорожи умением сплестать слова, как плетут ивовые корзины и рыболовные сети. Смешивая слова разных языков, ты не обогатишь человека — опустошишь. Человек, желая выразить переживаемое, отыскивает новые средства, но ты предложил ему готовое, стертое, и он успокоился; он стремился передать нового себя, себя прозревшего: вернувшись из пустыни, он понял, как ярк зеленый ячмень, на ты предложил ему чужой запас, он перестал вглядываться в себя, он им походя воспользовался.

Ты занялся бестолковой работой, решив дать названия всем на свете цветам и оттенкам, собирая названия повсюду, где они только есть; решив поименовать все оттенки чувств и обращаясь за именами во все края, где переживают и чувствуют, заимствуя из тех языков, которые по воле случая запечатали в слове опыт поколений или личный опыт души, например, ощущение щемящей тоски сумерек. Тебе кажется, всемирная тарабарщина обогатит людей. Но не словарный запас — божественное достояние человека, — изъяснение самого себя, своей сокровенной сущности, которой не исчерпать никаким словом. В наших силах дать её только почувствовать, но слов, будь их как песчинки в пустыне, как капель в море, все равно окажется мало.

Какое имеет отношение то глубинное, что ищет сказаться в тебе, к куче наворованных слов, что засорили твой язык и мешаются?

Именованье стоит лишь горные пики, отличные от уже известных, благодаря которым ты по-новому увидел мир. Я создал произведение и, возможно, с его помощью сотворил в тебе новую истину, — назови ее, и она останется божеством в святилище твоего сердца. Только божество по-иному связывает для нас знакомое, заставляет по-новому увидеть давно известное.

Так пойми же, я постиг. И рад коснуться раскаленным железом твоего сердца, оставив клеймо, которое поможет тебе расти. Рад, потому что не хочу, чтобы ты блуждал впотьмах.

Но имей в виду, словом ты только обозначаешь ключ свода, постигаю я его не словесно, невозможно обозначить ни собственную суть, ни жизнь. Я не умилюсь, не растрогаюсь, если ты раскрасишь небо алым, а море синим, — не задаром ли ты хочешь получить доступ к моей душе?

Связующие нити твоего языка — вот путь ко мне, стиль — это путы Бога, — говорю я. С ним ты передал мне устойчивость твоего костяка, ритм твоей жизни, ни у кого другого таких не сыскать. А если со всех сторон только и твердят что о звездах, да о горах, да о родниках, кому придет в голову подниматься на вершину, чтобы из звездного родника утолить нестерпимую жажду светящимся молоком?

Даже если в чужом языке уже есть слово для того, что я ищу выразить, и, выразив это, я ничего не создам и не обогачу мир, не отягощай этим чужим словом свой язык, если оно не надобно тебе каждый день. Бог, которому молятся изредка, не настоящий.

Но если моя картина озарила тебя иным пониманием вещей, уподобилась вершине, что упорядочила пейзаж, став подарком тебе от Господа, дай ей имя, придумай слово, чтобы она не забылась.

## LXXXV

Извечная тоска по жизни души истомила меня. И я почувствовал — ненавижу приверженцев насущного. Они твердят о своей любви к реальности, но что, кроме хлеба, предлагают они человеку? Хлеба, чей вкус мало изменила цивилизация? И я до сих пор говорю о воде, преобразившейся в поэзию.

Ты доволен, став губернатором моей провинции, доволен потому, что я зодчий, я выстроил свое царство и сумел восхитить тебя им. Своей радостью ты обязан мне, хотя сейчас меня нет рядом и я тебе не в помощь. Тешит тебя не реальность — утехи тщеславия неосязаемы, — тешит та значимость, какую обрела она, сделавшись царством.

До пятнадцати лет умащали юницу благовонными маслами, она знает, что такое поэзия, изящество, тишина. От нежного лица ее веет покоем, сколько в нем глубины и значимости, покой ее сродни освежающей воде родника, — так неужели ты мне скажешь, что твою ночную жажду утолят одинаково и она, и купленная тобой девка только потому, что тела их схожи?

Тебе кажется, ты стал богаче оттого, что не отличаешь одну от другой, не тратишь времени на ухаживание, — и, конечно, девкой делаются куда скорей, чем принцессой, но поверь мне, ты обеднел.

Может быть, тебе не понравится принцесса, стихи тоже не даются задаром как нежданное наследство от дядюшки, они — твое собственное восхождение вверх; может быть, тебе не по вкусу будет ее утонченность, ведь есть музыка, которой тебе никогда не услышать, потому что ты не пожелал учиться, — но это вовсе не значит, что принцессы плохи, это значит, что тебя еще нет.

В молчании моей любви я слушал, как двое беседуют. Беседа перешла в крик. Засверкали ножи. Так решают спор подонки, живущие в грязных лачугах. Они жадны только до жратвы и дерут глотки только из-за того, что уместилось в их несколько скудных слов. Но не за женскую плоть ты готов пришить соперника, эта женщина для тебя — кров, без нее ты бесприютный изгой. И вечерний чай не в чай тебе, потому что ее нет рядом.

Но если, увидев, как дорожат люди вечерним чаем, ты, из прису-

щей людям близорукости, возвеличишь чаепитие и заставишь всех поклоняться чайнику, они разлюбят чай и у тебя не будет ни вечерних чаепитий, ни любви.

Если ты проникся значительностью материнства и радостью иметь детей, видя, каким благоговением окружена роженица, — возле ее постели тишина, словно у алтаря, — ты снова не видишь целого. И вот ты стараешься, чтобы рожали как можно больше, строишь повсюду больницы, огромные, как хлев или конюшня, и размещаешь в них стада беременных женщин.

Ты убиваешь то, ради чего старался, — никому не интересны чувства коровы, когда идет массовое разведение скота.

Я возвращаю в человеке душу, поэтому ставлю перед ним преграды и границы, загораживаю от каждого сад: я хочу благоговения перед детьми, и поэтому требую, чтобы детей было как можно меньше, на словах, только на словах, — потому что они должны стать дорогами сердцу. Я не доверяю логике, я верю только в перепады почвы, поощряющие прилив любви.

Если ты есть, ты растишь свое дерево, но если дерево задумываю и создаю я, — я протягиваю тебе только зернышко. Оно — возможность, в нем таятся самые разные цветы и плоды. И если ты принимаешь его и начинаешь расти, то вырастаешь моим, но непредсказуемым деревом, потому что предсказаниями я не занимаюсь. Я дал тебе возможность жить, жить самим собой. Но твоя любовь будет плодом моей любви.

## LXXXVI

Я споткнулся о порог — бывают времена, когда распадается язык и при помощи слов ничего не улавливается, ничего не предсказывается. Эти люди пришли ко мне, предложили вместо ребуса мир и потребовали разгадки. Нет у мира разгадки, потому что нет в мире смысла.

— Скажи, что нам делать — покоряться или бороться, — спрашивают они. Нужно покориться, чтобы выжить, нужно бороться, чтобы продолжать быть. Предоставь все жизни. Правда жизни едина, но открывается всегда как противоречие, это и есть злоба дня. Но не тешь себя иллюзиями: сегодняшний ты всегда уже мертв. Твоя противоречивость — противоречивость преображения, ты меняешь кожу, поэтому тебе так больно, поэтому ты страдаешь. Кожа трескается, лопается. Твое молчание — молчание зерна в земле, оно должно прозябнуть, прежде чем пуститься в рост. Твое бесплодие — бесплодие куколки. Но когда ты переродишься, у тебя появятся крылья.

И глядя с вершины горы, откуда ты увидишь разрешенными все свои проблемы, ты удивись: «Как же я сразу не понял?» Словно существовало то, что возможно было понять.

## LXXXVII

Тебя не ободрят; знамение, которого ты так ждешь, — молчание. Камни не знают и не могут ничего знать о храме, который сложен ими. Ничего не знает нарост коры обо всем дереве, одетом и этим кусочком, и всеми остальными. А дерево и дом ничего не знают о царстве, которое они совместно составляют. Ты не знаешь о Боге. Чтобы узнать, камню должен явиться храм, кусочку коры — дерево, но и это бессмысленно, у них нет языка, чтобы вместить огромность, столь их

превосходящую. Язык — это иерархия, которую представляет собой дерево.

И понял я это после паломничества к Господу.

Всегда один, замкнут в себе, один на один с собой. Собственными усилиями мне не разомкнуть одиночества. Камню перестать ли быть камнем? Но в работе он объединяется с другими камнями и становится частичкой храма.

Я уже не жду появления ангела — может быть, он незрим, а может быть, его нет. Дожидающиеся от Господа знака уподобляют Его себе и остаются опять наедине с собой. Но вот я слился с моим народом, любовь обняла меня своим теплом и преобразила. Она и есть знак близости Господа. Потому что наступившая тишина тиха для каждого камня.

Ведь сам по себе, вне других людей, я ничто, и ничто мне не будет в радость.

Так будьте же зернами, они сложены на зиму в житницу и пока спят.

## LXXXVIII

Ох уж это нежелание выйти за пределы самих себя...

«Я! — говорят они. — Я!»

И похлопывают себя по животу. Будто там кто-то есть, будто кто-то жив благодаря им. Так могли бы кричать камни храма: «Я! Я!»

Так кричали и те, кого я отрядил добывать алмазы. Пот, катящийся градом, оупение усталости преображались в сверкающие бриллианты. Алмазы обеспечивали людям жизнь, алмазы делали людей значимыми. Но однажды люди взбунтовались. «Я! Я! Я!» — закричали они. Они не желали больше служить алмазам. Не желали наработать себя. Они требовали почтения к себе — к таким, каковы они есть. Вместо алмаза они предложили себя как перл создания. Но сами по себе они мало чего стоили, облагораживали их алмазы. Так камни облагораживают храм. Дерево — отчее гнездо. Река — принадлежность к царству. Реку царства воспевают: «Мать наших стад, неспешная кровь полей, водительница стругов...»

Но бунтари сочли, что они цель и венец творения, они стали заботиться, чтобы им служили, отказавшись служить тому, что превосходило их.

Они перерезали князей, стерли в порошок алмазы, чтобы всем досталось понемножку, засадили в тюрьму ищущих другую правду, чтобы никто не взял однажды над ними верх. «Настало время храму служить камням», — сказали они. Им казалось, они стали богаче, когда каждый потащил к себе кусочек храма; лишились они святилища, приобрели кучу щебня.

## LXXXIX

А ты все спрашиваешь и спрашиваешь:

— Скажи, что такое рабство, где начало его и где конец? И что такое общность, где начинается она и где кончается? И человек — на что он имеет право? Я знаю только права храма, который придает смысл существованию камней, права царства, которое наполняет смыслом человеческую жизнь, права стихотворения, которое обогащает смыслом слова. Я не признаю за камнями права восставать на храм,

за словами права разрушать стихотворение, за людьми права бунтовать против царства.

В эгоизме нет истины, эгоизм — калечество. Тот, кто идет один, твердя: «Я, я, я...» — изгнал себя из царства. Он — камень, откатившийся от стены храма, слово-пустышка, не ставшее стихотворением, — отнятая рука.

Но отцу возразили:

— А почему бы не уничтожить все царства и не собрать всех под сенью одного храма, чтобы жизнь стала еще полнее смыслом?

— Ты говоришь так потому, что ничего не понимаешь, — отвечал отец. — Посмотри, вот камни, из них изваяна рука, смысл существования этих камней в этой руке. Смысл существования других — в торсе, третьих — в крыльях. Но торс, руки, крылья — вместе это ангел. Одни камни сложили стрелку свода, другие — колонну. А из ангелов, стрелки, колонн сложился храм. Храмы, собранные в одном месте, стали святым городом, который управляет твоим путем, потому что ты в пустыне и стремишься к нему. Так неужели ты думаешь, что камень лучше послужит святому городу, если вместо того, чтобы служить руке, а благодаря руке — ангелу, а благодаря ангелу — храму, а благодаря храму — святому городу, — он встанет в ряд с другими, точно такими же камнями? Единство города так ослепительно оттого, что составляет его богатство разнообразия. Колонна прекрасна благодаря капители, стволу, плинту, она едина, но состоит из разных частей. Чем сущностней истина, тем выше ты должен подняться, чтобы обозреть ее и постигнуть. Жизнь едина, как един и уровень моря, но, наполняя жизненной силой существо за существом, она становится похожей на лестницу с самыми разнообразными ступеньками. Един парусник, но составлен из разного. Подойди поближе — и увидишь паруса, мачты, нос, корпус, якорь. Подойти еще ближе — и различишь канаты, скрепы, доски, гвозди. И каждый гвоздь, каждый канат ты можешь делить и делить.

Если я сложу мое царство из ровных рядов камней, оно обесмыслится, в нем не останется жизни, в нем не будет ни городской сутолоки, ни парадно стоящих по стойке «смирно» солдат. Мне нужен очаг. Очаг собирает семью. Семьи складываются в род. Роды — в племя. Племена становятся царством. И вот ты видишь: в моем царстве — на западе и на востоке, на севере и на юге — кипит усердие, царство мое похоже на парусник в открытом море, его гонит ветер, гонит только в нужную сторону благодаря разнообразию парусов, которые ловят изменчивый ветер.

Царство построено, теперь продолжай свою работу, улучшай, собирай из разных царств более обширный корабль, который устремит их в одну сторону, который благодаря разнообразным парусам поставит себе на службу любой ветер и не изменит ведущей его звезде. Собрать воедино — значит связать крепко-накрепко все разнообразие, все особенности каждого, а вовсе не уничтожить их ради бесплодного порядка.

(На самом деле в жизни нет ступенек. Ты назвал ступенькой эту группу людей. И следующей — ту группу, которая включила в себя первую. Но и то и другое — условность).

## ХС

Но вот пришло время тебе встревожиться: ты видишь — жестокий тиран уничтожает людей. Ростовщик держит их в рабстве. Строитель храма служит не Господу, а себе, выжимая себе на потребу из людей пот. И не заметно, чтобы людей это облагородило.



Значит, ты плохо вел их в гору. Ведь дело не в том, чтобы, подымаясь, во что бы то ни стало сложить из сопутствующих тебе камней руку, из руки и крыльев — ангела, из ангелов, колонн и стрелки — храм. Тогда каждый своевольно остановится там, где пожелал. Плохо, если ты насильственно принудишь людей служить рукой, и ничуть не лучше, если принудишь их стать храмом. Ни тирану, ни ростовщику, ни руке, ни храму не дано пустить в рост людей и, обогатившись, сделать богачами и их тоже.

Не почвенные соли, объединившись по воле случая, начинают восхождение вверх, чтобы стать деревом, — чтобы вырастить дерево, ты должен бросить в землю семечко. Деревья приходят сверху, а не снизу.

Что за смысл в возводимой тобой пирамиде, если не венчает ее Господь? Он преобразует людей и открывается преображенным. Ты вправе беззаветно служить князю, если сам он беззаветно служит Господу. Добро твое вернется тебе, но иным будет его вкус, иным смысл и полнота. Ты не увидишь вокруг себя: вот ростовщик, вот рука, вот храм, вот статуя. Откуда взяться руке, как не от тела? А тело — вовсе не механическое соединение различных частей. Суть парусника не в том, что объединилось разнородное, а в том, что единое стремление к морю проявилось так разнообразно и даже противоречиво; вот и в теле множество непохожих частей, но оно не сумма их — каждый, кто знаком с творчеством, любой садовник и любой поэт, скажет тебе: не от частности к частности возникает целое, оно рождается сразу и осуществляется в частностях. Мне достаточно воспламенить людей любовью к башням, что оживят плоскую пустыню, и рабы рабов моих зодчих изобретут тележку для перевозки камня и еще множество полезных приспособлений.

## ХСІ

С помощью правил мы делаем значимыми те или иные понятия, они не пустая условность, и если ты не знаешь об этом, то впадаешь в ошибки. Упорядочив правилами любовь, я утверждаю определенный тип любви. О том, какова она, говорят те принуждения, которые я ей навязал. Принуждать может обычай, но может и жандарм.

## ХСІІ

Темна была эта ночь, я смотрел на нее с высоты моей крепости, — крепости, что утверждала мою власть над городом, — городом, что благодаря моим гарнизонам утверждал мою власть над всеми другими городами царства, передавая вести сигнальными огнями с холма на холм: так перекликаются порой скучающие дозорные, прохаживаясь взад и вперед по крепостной стене. (Они узнают потом, что их ночные прогулки были исполнены смысла, но пока он невнятен дозорным, у них нет языка, благодаря которому на каждый шаг откликалось бы сердце, они не знают, чем заняты на самом деле, им кажется, что они скучают и ждут ужина. Но я-то знаю: не стоит вслушиваться в людскую болтовню; знаю: мои зевающие в ожидании ужина дозорные ошибаются. За ужином мои дозорные едят, смеются и шутят, у них просторно внутри — а позволь я им сидеть все время вокруг котла, они стали бы домашней скотиной.)

Так вот, эта ночь была так темна потому, что царство мое дало трещину, потому, что в ночи ощутимо недоставало сигнальных огней на холмах и ночь могла преуспеть и погасить один за другим оставшиеся, а это значило бы, что царство волею погигло. Гибель царства коснется каждого, переменится вкус вечерней похлебки и материнский

поцелуй малышу перед сном. Если твой ребенок не частичка царства, он совсем другой ребенок, целуя его, ты не приникаешь к Господу.

От пожара обороняются встречным огнем. Я расставил кругом преданных мне воинов и уничтожил все, что попало внутрь железного круга. Я испепелил тебя, преходящее поколение, но что мне в этом пепле? Я спасал святыню осмысленного мира. Жизнь научила меня: не калечество причиняет страдание и не смерть. Благодаря храму человеческая жизнь осмыслилась, и его величие наделило величием людей. Вскормленный царством и отторгнутый от него чувствует себя изгоем и узником в тюремной камере, он трясет решетку и отказывается от воды, язык, на котором он привык говорить, утратил смысл. Кому как не ему рвать волосы, обдирать на руках кожу? Отец переполнен ответственностью отцовства, и вдруг у него на глазах его сын тонет в реке — разве удержать отца на берегу? — с криком он вырвется из твоих рук и кинется в воду, иначе язык, которым он привык говорить, лишится смысла. Ты увидишь горделивое торжество подданного в день, когда восторжествует царство; ты увидишь счастье отца в день рождения сына. Горькие муки, великое счастье ты черпаешь из одного источника. Муками и радостями плодоносит твоя привязанность. Я сумел привязать тебя к царству. И теперь хочу спасти в тебе человека, пусть даже угрожая его жизни, пусть даже толкая на путь страданий, посадив отца семейства в тюрьму и отлучив его от семьи, изгнав верного слугу царства, отлучив его от царства, потому что люблю семью, люблю царство, ты клянешь меня за страдания, но я говорю тебе: ты не прав, я спасаю в тебе то, что живет тебя.

Преходящее поколение, дарохранительница, куда спрятан храм, ты о нем, возможно, не подозреваешь, ты от него отвернулось, но ему и только ему ты обязано простором своего сердца, смыслом слов, сиянием глубинной радости, я спасаю храм. Так значим ли железный круг моих воинов?

Меня назвали справедливым. Да, я справедлив. И если проливал кровь, то не для того, чтобы утвердиться в жестокости, — чтобы обрести возможность являть милосердие. Теперь мне дано благословить того, кто коленопреклоненно целует мне руку. Благословение мое для него настоящее богатство. Он уходит с миром в душе. Но если не верить в мое право на власть, что толку в моем благословении? Я сложил пальцы, умягчил уста медом улыбки, но неверу некуда принять даруемое благо. Он уходит нищим. Одиночество, кричащее: «Я, я, я! . . .» — не обогащает, нечем ответить на этот крик. Если меня сбросят с крепостных стен, тосковать они будут не обо мне. А о сладостном чувстве сыновства. Умиротворении после полученного благословения. Об облегченном прощении сердце. Им будет недоставать надежного крова, осмысленности каждого дня, теплого плаща пастуха. Так пусть они лучше преклонят колени и почувствуют себя одаренными моей добротой, пусть воздают мне почести, и я возвеличу их. И разве о себе я сейчас говорю?

Не собственной славе принуждаю я служить людей, я смиренно преклонен перед Господом, Господа они славят, и Он укрывает их всех Своею славою. Не ищу я и величия царства, сделав людей его подножием. Царство — подножие человеку, его хочу возвысить и облагородить. И если я присваиваю плоды их трудов и усилий, то отдаю их Господу, чтобы вернулись обратно благословенным дарением. И вот как воздаяние течет к ним из моих житниц зерно. Оно — пища им, но еще и свет, и песнопение, и душевный покой.

Вещь должна исполниться для человека смысла, обручение исполняет смысла кольцо, свирепые кочевники — военный лагерь, Бог — свой храм, царство — реку.

А иначе чем бы владели люди?  
Складывают царство вещи и невещественное. Царство вбирает в себя окружающее вещество.

## ХСІІІ

Существуют люди, существует преданность. Преданностью я называю твою связь с людьми через твою мукомольню, храм или сад. Преданность саду придает тебе вес, ты — садовник.

Но вот приходит человек, который не понимает, что значимо на самом деле. Наука, что познает, разлагая на части, внушила ему ложные представления о сущем. (Разложить значит утратить содержимое, забыть о главном: о тебе в деле. Перемешай в книге буквы — уничтожишь поэта. И если сад — это сорок яблонь, то нет и садовника.) Беспонятным все смешно, они не знают дела, они только насмеваются. Насмешники не читают книг, они перемешивают в них буквы. «Почему, — спрашивают они, — нужно жертвовать собой ради храма, ради упорядоченной кучи мертвых камней?» Тебе нечего им ответить. Они спрашивают: «Зачем умирать ради сада, ради всяких там былинки и травинки?» Тебе нечего им ответить. «Зачем умирать ради букв в алфавите?» Незачем. И тебе не хочется умирать.

Но на деле они обокрали тебя, сделали нищим. Ты не хочешь умирать, значит, ты ничего больше не любишь. Тебе кажется, ты поумнел — нет, по глупости растратил силы и разрушил уже построенное; ты расточил свое сокровище — смысл вещей.

Насмешник тешит свое тщеславие, он — грабитель, кому он помог своей насмешкой? Помог тот, кто шлифовал каждое слово, оттачивал способ выражения, стиль, а значит, совершенствовал инструмент, который позволит ему работать дальше. Насмешник работает на эффекте неожиданности, он грохнул о землю статую и позабыл всех бессмыслицей обломков, взорвал храм, который был для тебя прибежищем тишины и молитвенного раздумья, теперь перед тобой куча мусора, и, конечно, ради нее не стоит умирать.

Тебе показали, как легко убивать богов, но тебе больше нечем дышать, жить. Любая вещь драгоценна ореолом света, пучком нажитых связей, эти связи мы именуем культурой, они — наш язык. Очаг для нас обозначает любовь, звезды — свет Горнего мира, дело, которое я тебе доверил, — царскую почесть, я приобщил тебя к своему царскому клану. Но что тебе делать с камнями, делами, цифрами, если они только камни, дела, цифры?

Разрушили одно, разбили другое, что у тебя осталось? Только ты сам — единственный источник света, способный расцветить черепки, которым нечем больше тебя напитать. Вот ты и завяз в болоте тщеславия. Раз все вещи вокруг обесмыслились, ты сам наполняешь их смыслом. Ты остался в одиночестве и оделяешь все вокруг собственным скудным светом. Вот новое платье, оно твое. Вот стадо, оно твое. И вот эта земля, что богаче других, тоже твоя. Но все, что не твое — другое платье, земля, стадо, — враждебно тебе. Соседнее царство, созданное по тем же законам, соперничает с тобой. Ты обречен посреди своей пустыни настаивать на довольстве собой, потому что кроме тебя самого у тебя больше ничего нет. Ты обречен кричать в своей пустоте: «Я! Я! Я!» — и не получать ответа.

Я ни разу не встретил тщеславного садовника, если он на самом деле любил свой сад.

## ХСІV

Все освещено присутствием божества. Божество исчезнет, и переминется все вокруг. Что тебе тогда дневная дань, если она не украше-

ние чего-то иного? Ты знал: день дается тебе для постижения запретельного, и вдруг оказалось — постигать нечего. Для чего тебе кувшин из звонкого серебра, если трапеза вдвоем уже не обряд, предваряющий любовь? Для чего самшитовая флейта на стене, если ты не играешь на ней для возлюбленной? Для чего ладони, если их лишили сонной тяжести любимого тела? Ты не у дел, в твоей лавочке все продается, все ищет себе места и хозяина, и ты тоже. Ко всему прицеплены этикетки, все ждет, что вот-вот начнется жизнь.

Пуст день, если не ждешь больше легких шагов, если не расцветает на твоём пороге улыбка, медовую сладость которой в тишине и тайне собирала для тебя любовь и которой ты сейчас насладишься. День пуст, если нет рокового часа прощанья. Пуст, если нет забвения сна, когда страсть набирается сил.

Нет храма, есть груда камней. Нет и тебя тоже. Так как же тебе не хотеть нового божества и храма, даже если ты знаешь, что позабудешь и этот, что опять будешь строить новый? Так устроена жизнь: настанет утро и вернет тебе серебряный кувшин, пушистый ковер, полдень и вечер, вновь обретет смысл дань твоего дня и твоя усталость, вновь ты будешь близок или далек, будешь идти или уходить, находить или терять. А сейчас, пока нет в твоей жизни ключа свода, ты не идешь, не уходишь, не находишь и не теряешь, не помогаешь и не мешаешь ничему в мире.

И даже если тебе кажется, что тебе необходимы вещи, что их ты завоевываешь, от них отказываешься, на них полагаешься, их ломаешь, раздаешь, добиваешься, владеешь, — ты ошибаешься: берешь, удерживаешь, обладаешь, теряешь, полагаешься, жаждешь ты только света, которым наделило их солнце. Нет мостка между тобой и вещью, есть мосток между тобой и незримой картиной, которая может быть Богом, царством или любовью. Я вижу, ты стал моряком и ушел в море — значит, долгое отсутствие представилось кому-то сокровищем, значит, давние матросские песни рассказали о счастье возвращаться, значит, по-прежнему передаются из уст в уста легенды о чудесных островах и коралловых рифах. И я уверен, волны шептывают тебе песню триер, хотя триер давным-давно нет, а коралловые рифы, несмотря на то что твой парусник пока не подходил к ним, меняют для тебя цвет воды с наступлением сумерек. А кораблекрушения, о которых тебе рассказывали? Пусть тебе самому не доведется испытать ничего подобного — из-за них в жалобном вое волн, бьющихся о скалы, слышишь ты плач о мертвых. Но если ничего этого для тебя нет, ты зеваешь, когда тянешь грубые канаты, а натянув их, складываешь на широкой, как море, груди праздные руки и опять зеваешь. Ничего и не появится, если не построить сперва в твоём сердце храма, не показать тебе картины, не обогатить связующими нитями культуры.

Получив наследство, год за годом живя любовью к нему, ты не сможешь отказаться от самого себя. Не станешь искать иного смысла жизни.

Что такое тюрьма для любящего? Не в вешном живет он — в царстве смысла вещей, а в нем нет стен. Пусть любимая далеко, пусть она даже спит и словно бы не существует, и что ее хрупкие руки против стен, что ты воздвиг между ними? Но в таинственной тишине души он питает своей любовью. И не в твоих силах отлучить его от любви.

Как любовь, питает тебя и Божественный узел, что связал для тебя воедино весь мир. Та, которую ты не любишь, а только вожделеешь в разлуке, не насыщает, хотя ты не спишь из-за нее ночами, но ведь и собака не сыта воображаемым мясом, — бдит в тебе только плоть, в тебе не родилось божество, что умеет проходить через стены, душа твоя спит. Я уже говорил тебе о князе, хозяине царства, что идет

поутру по росистой траве. Царство ему сейчас не в помощь. Перед ним — пустынная дорога. И все-таки его не спутать ни с кем другим — так просторно его сердце. Говорил о дозорном моего царства: все его владение — круглая каменная площадка башни и звезды над головой. Он ходит по ней туда и обратно, и отовсюду ему грозит опасность. Кто обездоленной этого пленника, заключенного в тюрьму величиной в сто шагов? Его отягощает оружие, ему грозит карцер, если он присядет, смерть — если заснет. Он мерзнет в мороз, мокнет в дождь, обжигается раскаленным песком в жару, ждет он только пули из ружья, надежно укрытого темнотой и нацеленного ему прямо в сердце. У кого жизнь более безнадежна? Любый нищий счастливее и богаче: нищий может идти куда хочет, он свободен глазеть на толпу, с которой смешался, свободен из всего устроить для себя развлечение.

Но мой дозорный — частичка царства. Царство переполняет, питает его. Нищему с ним не сравниться, настолько богаче и просторнее сердце дозорного. Даже смерть будет ему богатством, он сольется со своим царством.

Моих узников я отправил в каменоломню. Они ломают камень, и на душе у них пусто. Но если ты строишь собственный дом, разве тот же камень ты ломаешь? Ты кладешь стену, и каждое твое движение не наказание, а праздник.

Понимание изменяет перспективу. Конечно, ты увидишь, как счастлив тот, кому грозила смерть, — он спасся и продолжает жить. Но если ты поднялся на гору по соседству и увидел, что жизнь твоя завершена и похожа на увязанный сноп, то, наверное, тебя больше обрадует смерть, потому в ней для тебя главный смысл.

Смерть была исполнена смысла и для «языка», которого по моему приказу поймали ночью и у кого я хотел вызнать намерения моих врагов. «Я рожден своей родиной, — ответил он мне, — твоим палачам ничего не поделаться с этим...» У меня не было жернова, который выдавил бы из него масло тайны, он принадлежал своему царству.

— Несчастный, ты целиком в моей власти, — сказал я.

Он рассмеялся, услышав, что я назвал его несчастным, счастье его было с ним, и не в моей власти было отнять его.

Потому я и говорю о непрестанном упражнении души. Истинное твое богатство не в вещном: оно значимо, пока ты пользуешься им, — осел, если взнуздан и поехал, миска, если налил суп и ешь; но вот осел в стойле, миска на полке — что они для тебя? Или ты взял и уехал, как уехал от женщины, которую только желал, но так и не полюбил.

Конечно, животному прежде всего доступно вещественное, а не аромат, не ореол, как принято говорить. Но ты — человек, и питает тебя смысл вещей, а не вещи.

А я? Я творю тебя, веду со ступени на ступень, учу. Не камень показываю я тебе — величие погибшего воина, каким увидело его сердце ваятеля. И твое сердце стало богаче оттого, что где-то помнят погибшего воина. Из овец, коз, домов и гор я творю для тебя царство, поднимаю тебя на следующую ступень. Оно вроде бы тебе не в помощь, но ты все-таки полон им. Я соединяю обычные слова, и возникает стихотворение, ты стал еще богаче. Я связал горы и реки между собой, и возникло царство и озарило сердце воодушевлением. Царство празднует победу, и в этот день умирающие в больнице от рака, узники в тюрьме, должники, замученные кредиторами, — все гордятся, потому что нет таких стен, больниц и тюрем, которые помешали бы ощутить благодать. Разброд сущего я преобразил в Бога, божество смеется над стенами, и что ему пытки?..

Поэтому я и говорю: я творю человека, разрушаю стены, вырываю решетки, мой человек свободен. Я творю человека, он неизменен в

своих привязанностях, и что ему крепостные стены? Что тюремщики? Он смеется над пытками палачей, потому что они не в силах его принизить.

Я говорю «общение», но имею в виду не беседы то с одним, то с другим. Я имею в виду твою привязанность к царству и привязанность другого к царству — к тому самому царству, что значимо для вас обоих. И если ты меня спросишь: «Как мне догнать любимую, нас разлучил мир, а может быть, мор, а может быть, смерть», — я отвечу: «Не зови ее, она не услышит, лучше берегай ее присутствие, которого не отнять у тебя никому, сохраняй облик созданного ею дома: чайный поднос, чайник, пушистый ковер — она им хозяйка, ключ свода, жена, которая устала и заснула, ведь тебе дано любить ее и спящей, и далекой, и в разлуке...»

Поэтому я и говорю: создавая человека, не заботься о знаниях — что толку, если он станет ходячей энциклопедией, — поднимайся с ним со ступеньки на ступеньку, чтобы видеть не отдельные вещи, а картину, созданную тем Божественным узлом, который один только и способен связать все воедино. Ничего не жди от вещей: они обретают голос, став знаком чего-то большего, и сердцу внятен только такой разговор.

Вот, к примеру, твоя работа: она может быть хлебом для твоих детей, а может быть расширением в тебе пространства. И твоя любовь может стать бóльшим, чем жажда обладать телом, потому что радости тела слишком тесны.

Ты вернулся из пустыни и скучной, душной ночью идешь в веселый квартал, чтобы выбрать ту, с которой забудешь о любви; ты ласкаешь ее, она что-то спрашивает, ты отвечаешь, но объятья разомкнутся, и ты уйдешь опустошенный: даже если она была красива, тебе нечем вспомнить ее.

Но если то же лицо, стать и слова окажутся у принцессы, которую так медленно из далекой дали везли мои караваны, которую пятнадцать лет взращивали музыка, поэзия и мудрость, научив на оскорбления отвечать гневом и хранить верность в испытаниях, выковав в ней твердость и преданность богам, которым она не умеет изменить; не задумываясь, пожертвует принцесса своей красотой, но не снизойдет и не вымолвит слова, которого потребовал палач, так естественно для нее благородство, и последний ее шаг будет выразительней танца; так вот, если эта принцесса будет ждать тебя в залитом лунным светом зале, и протянув руки, пойдет к тебе навстречу по мерцающим плитам, и скажет тебе те же слова привета, но в голосе ее ты услышишь совершенство души, — уверяю тебя, на рассвете ты уйдешь в свою скалистую пустыню обновленным, благодать будет петь у тебя в душе. Не телесная оболочка, не толкотня мыслей — значима только душа, ее простор, ее времена года, горные пики, молчаливые пустыни, снежные обвалы, цветущие склоны, дремлющие воды — вот он, этот весомый для жизни залог, незримый, но надежный. В нем твое счастье. И тебе никак себя не обмануть. Разные вещи — странствие по могучему океану или по скудной речонке, пусть ты даже закрыл глаза, чтобы лучше чувствовать качку. Разная радость, пусть брошки будут одинаковы, от стекляшки и алмаза чистой воды. И та, что сейчас примолкла, совсем не похожа на ту, что ушла в глубины своего молчания.

Да ты и сам никогда не ошибешься?

Потому я и не хочу облегчать твой труд, раз женщины сладки тебе. Не стану облегчать тебе охоту за добычей, пустив на ветер условности, запреты, отказы, благородство обхождения и души: вместе с ними я уничтожу и то, что ты так жаждешь поймать.

Гулящие предоставляют тебе одну возможность — возможность забыть о любви, а я занят лишь тем, что придаст тебе сил для завт-

рашних свершений, я побуждаю тебя преодолеть эту гору, чтобы завтра ты преодолел другую, еще выше. Я хочу, чтобы ты узнал любовь, и побуждаю тебя преодолеть неприступную душу.

## XCV

Алмаз — плод политой потом земли, земли, политой потом целого народа, но алмаз, добытый такими трудами, невозможно поделить, невозможно съесть, невозможно раздать каждому из работников понемножку. Должен ли я из-за этого отказаться от добычи алмазов — звезд, проснувшихся в земле? Если я изгоню из цеха чеканщиков, тех, кто чеканит золотые кувшины, — золотой кувшин тоже невозможно поделить, потому что он стоит целой жизни и всю эту жизнь я должен кормить мастера хлебом, который добывают другие, — и если, изгнав этих мастеров, я пошлю их пахать землю и золотых кувшинов больше не будет, зато будет больше пшеницы, которую можно поделить, — ты одобришь меня и скажешь, что жизнь без бриллиантов и золотых кувшинов послужит к чести человека? Но скажи, как облагородится ею человек? Об алмазах ли я пекусь? В угоду завистливой и жадной толпе я бы согласился сжечь на огромном костре все добытые за год алмазы в день всенародного праздника или одел бы сиянием алмазов праздничную королеву, чтобы народ гордился своей бриллиантовой королевой. Алмазы вернулись бы к ним царским величием или блеском пышного праздника. Но чем обогатят их бриллианты, если запереть их в музей, где они попадутся на глаза двум-трем праздным зевакам и грубому толстяку смотрителю?

Согласись, ценится лишь то, на что затрачено немалое время, например, храм; согласись, слава моего царства сияет в тех самых алмазах, которые я заставил добывать, и к славе этой приобщен каждый, любясь горделивой королевой в бриллиантах.

Я знаю одну свободу — свободу упражнять свою душу. Любая другая иллюзорна, я докажу тебе, смотри: ты нуждаешься в двери, не умея проходить через стены, не волен обрести молодость, не волен наслаждаться солнцем среди ночи. Я заставил тебя выбрать эту дверь, а не другую, и ты жалуешься на притеснение, но ты забыл — будь дверь только одна, ты был бы притеснен точно так же. Я запретил тебе соединить твою судьбу с той, что кажется тебе красавицей, и ты кричишь о моем тиранстве, но ты не знаешь, что все красавицы твоей деревни косят, потому что никогда не покидал своей деревни.

Ты женишься на той, которую я принуждал сбываться и ради тебя пестовал в ней душу, — теперь вы вдвоем обретете единственную свободу, суть которой полнота смысла и непрестанное расширение души.

Своеволие изнашивает тебя. Мой отец говорил: «Не быть — не значит жить свободно».

## XCVI

Я буду говорить с тобой о необходимости, или безусловном: это и есть Божественный узел, что связует все воедино.

Невозможно до смерти увлечься игрой, если кости всего-навсего костяшки и ничего больше. Вот я отдал приказ отплыть в море, море беспокойно, и капитан долго и пристально вглядывается в него — взвешивает тяжесть туч, словно силу противника, прикидывает высоту валов, определяет напор ветра. Своим приказом я связал для него воедино тучи, ветер и волны. Мой приказ — необходимость, с которой

не поспоришь, мы с моим капитаном не на ярмарке, не на базаре, мы — святилище, где я — ключ свода, утверждающий его незыблемость. И как не преисполниться ему величия, правя своим кораблем?

Вот другой, он не подчинен мне, он приехал полюбоваться морем, он может идти куда хочет, может повернуть назад с полдороги, он не подозревает о святилище, тучи для него не испытание, не угроза — красивая декорация, не больше, крепнувший ветер не грозит опрокинуть мир, он обдувает ему щеки, а морские валы опасны разве что качкой, неприятной и тягостной для желудка.

Поэтому я и говорю: долг — тот же Божественный узел, что связует все воедино. Но царство, храм и твой дом построятся только тогда, когда долг станет для тебя неоспоримой необходимостью, когда перестанет быть игрой, в которой можно менять правила.

— Долг не выбирают, — говорил мой отец, — в этом его главная особенность.

Поэтому и обречены на неуспех те, кто хочет в первую очередь нравиться. Желание нравиться делает их податливыми и гибкими. Они бегут тебе навстречу и предают на каждом шагу, желая остаться желанными. На что мне медузы без костяка и формы? Я изрыгаю их, возвращая хаосу: вы придете ко мне, когда создадите самих себя.

Даже женщина устает от возлюбленного, если он только эхо ее и зеркало, — кто нуждается в собственном отражении? Ты мне нужен, если выстроил себя как крепость, если внутри тебя я чувствую плотную сердцевину. Садись рядом, ты есть.

Преданного царству выберет себе в мужья женщина и будет ему служить.

## XCVII

И вот что я хотел еще сказать о свободе.

Мой отец после смерти стал для подданных горным хребтом, заслонившим горизонт. Логик, историки и критики очнулись, раздулись от ветра слов и объявили, что человек прекрасен.

Да, созданный моим отцом человек был прекрасен.

— Раз он так прекрасен, — шумели логики и критики, — отпустите его на свободу. На воле он расцветет, каждый шаг его будет чудом. Принуждения застыт его свет.

А я вечерами гуляю среди апельсиновых деревьев, ветки их обрезают, верхушки вытягивают. Почему бы мне не сказать:

— Деревья мои прекрасны, они сгибаются под тяжестью апельсинов. Для чего обрезать им ветки, которые тоже могут плодоносить? Нужно дать дереву волю. На свободе оно расцветет. Мы мешаем полноте цветения.

Логик освободили человека. Люди выпрямились еще больше, потому что росли с прямой спиной. И когда пришли жандармы, захотев подчинить их былым принуждениям, но не потому, что видели в них материнское лоно, рождающее совершенство, а из низменного желания повелевать, люди взбунтовались против утеснения. Жажда свободы воспламенила их, и пожар восстания вспыхнул во всех концах моего царства. Быть свободными означало для них быть прекрасными. Умирая за свободу, они умирали за величие своей души, и в их смерти было величие. Слово «свобода» звенело чище серебряной трубы.

Но я вспомнил, что говорил мне отец:

— Свобода для них — это свобода не быть никем.

Посмотри, вместо свободы возникла сутолока, как на городской площади. Ты протоптал тропку здесь, твой сосед стал ходить там, но дороги у вас нет. Свою часть дома ты покрасил в красный цвет, твой



сосед — в синий, а квартирант свою — в желтый; неведомо какого цвета у вас дом. Вот вы решили устроить праздничную процессию, но каждый настаивает на своем маршруте, неразумие размело вас, словно пыль, и не было никакого праздника. Если свою власть ты делишь между всеми, наступит безвластие. Если каждый выберет место для храма и начнет сносить туда камни, ты увидишь каменистую пустыню, а не храм. Творец всегда один, твое дерево — взрыв одного семечка. И конечно, это дерево — вопиющая несправедливость, потому что другие семена уже не проросли.

Желание подавить всех я не назову силой, а назову глупой гордыней. Но если это сила созидающего творца и она противостоит естественному течению событий, превращающему горный ледник в болото, храм в песок, жар солнца в скудное тепло, книгу в кипу разрозненных страниц, язык в смесь чужеродных слов, — течению, которое уравнивает все возможности и уравнишивает все усилия, рано или поздно развязывая тот Божественный узел, что связал все воедино, заменяя картину разбродом сущего, — я приветствую эту силу и прославляю ее. Она сродни кедр, который положился на каменистую пустыню, который углубляет свои корни в почву, хотя нет в ней обильных питательных соков, который протянул ветви солнцу — тому самому солнцу, что уподобило песок бесстрастному зеркалу, выгладило все, выровняло и уравнило, но теперь это злое солнце в помощь несправедливому кедр, который преобразует песок и камни, который раскидывает в солнечных лучах смолистый храм, который поет вместе с ветром, как золотая арфа, и возвращает движение неподвижному.

Ибо жизнь — это единство связей, сплетение силовых линий и несправедливость. Увидев детей, томящихся от скуки, что ты делаешь, как не навязываешь им принуждение, которое зовется «правила игры», и вот они уже бегут в догонялки.

Наступило время, когда нечего стало высвобождать и свободой стали называть дележку материальных благ среди равных и равно ненавидящих друг друга.

Ты свободен, ты толкаешь соседа, а он толкает тебя. Шарик толкаются, катятся и если вдруг остановятся, то остановку ты называешь отдыхом. Такая свобода требует неперемного равенства, а равенство неизбежно требует равновесия, а когда все уравновешено, наступает смерть. Не лучше ли жизнь, она поведет тебя за собой, ты столкнешься с силовыми линиями, и они покажутся тебе препятствием, но они — направляющие для растущего вверх дерева. Единственная зависимость, которая может тебя умалить и которую должно ненавидеть, — это зависимость от недовольства соседа, от зависти равного тебе и необходимость не выделяться из толпы. Попав в плен подобных зависимостей, ты превратишься в отброс среди кучи других отбросов. Но если речь идет о растущем вверх дереве, каким нелепым покажется тебе ветер слов, гудящий о тирании.

Так вот наступили времена, когда свободно стало не лучшему в человеке, а худшему — тому, чему потворствует толпа, а человеческое стало таять и таять. Но толпа не свободна, она никуда не стремится, в ней есть только тяжесть, и эта тяжесть придавливает ее к земле. Толпа называют свободой свободу гнить и справедливостью — свое гниение.

Так вот, наступили времена, когда слово «свобода», которое звенело когда-то призывно, словно военный рожок, сникло, полиняло, и люди стыдливо мечтают о новом звонком рожке, который разбудит их на заре и позовет строить.

Потому что хорош только тот рожок, который тебя разбудил.

А принуждение плодотворно только тогда, когда, служа храму, ты служишь и самому значимому в себе. Камни не могут сами стронуться с места и построить собственный храм, но если для камня нашлось его место, то неважно, чему он служит, — полученное будет значимо. Подчинись рожку, если он разбудил в тебе большее, чем ты сам. Те, что умерли за свободу, выбрали ее, потому что она была самым лучшим в них и возможностью еще большего совершенства. Они служили радости быть свободными и подчинились зову рожка, поднявшись ночью, отказавшись от свободы спать дальше или обниматься с женой, они стали ведомыми, и если ты послушен голосу долга, зачем мне знать, где были жандармы — рядом с тобой или в тебе самом.

И если они были в тебе, то, значит, когда-то были рядом, потому что чувство чести ты унаследовал от отца, который растил тебя с честью.

Когда я говорю «принуждение» — я подразумеваю противоположность своеволия, в котором всегда есть недобросовестность, но не имею в виду принуждений моей полиции, — я бродил по городу в молчании моей любви, видел играющих детей, они подчинялись правилам игры, им было стыдно их нарушить. Они дорожили игрой, тем, что получали от игры. Дорожили рвением и радостью справиться с заданной игрой задачей, дорожили своей юной дерзостью — словом, вкусом этой игры, а не другой, этим вот божеством, которое сделало их дерзкими и радостными. Ведь каждая игра требует от тебя своего, и, желая измениться, ты меняешь игру. Но вот ты, который только что был в игре всемогущ и благороден, вдруг сплутовал и тут же понял, что разрушил собственными руками то, ради чего играл, — всемогущество и благородство. И все-таки ты успел полюбить их, а значит, примешь принуждение правил.

Что может создать жандарм? Всеобщее единообразие. Откуда ему знать о большем? Порядок для него — порядок в музее, где все выстроено в ряд. Но единству моего царства не нужны подобию. И ты, и твой сосед лепите себя как частичку царства, как колонну, как статую в храме, который сам по себе един.

Мои принуждения сродни ухаживанию за любимой.

## XCVIII

Если ты любишь без надежды на взаимность, молчи о своей любви. В тишине она делается плодоносной. Кто, как не она направляет твою жизнь, и любой путь тебе на пользу, ибо подходишь, удаляешься, входишь, выходишь, находишь, теряешь. Ты ведь тот, кто должен жить. Но нет жизни, если ни один бог не напряг вокруг тебя силовых линий.

Если тебя не любят, а у тебя недостает твердости души молчать о своей любви и ты вымалывал ответную любовь как вознаграждение за верность, но тщетно, попытайся найти врача и исцелиться. Потому что вредно путать любовь с рабством сердца. Прекрасна любовь, которая молится, но та, что кланчит и вымогает, сродни лакею.

Если бесстрастное течение жизни поставило на пути твоей любви преграду вроде изгнания или молчаливых монастырских стен и тебе надо преодолеть ее, возблаговари Господа, если твоя любимая отвечает тебе взаимностью, пусть в этот миг она для тебя все равно что слепоглухонемая. Знай, в этом мире мерцает для тебя негасимый огонек ночника. И поверь, совсем неважно, видишь ты его или нет. Умирающий в пустыне богат теплом своего далекого дома, несмотря на то что умирает.

Если я пестую величие души и выбрал самую совершенную, чтобы

она вызревала в тишине и молчании, тебе, наверное, покажется, что совершенство ее никому не в помощь. Но посмотри, благодаря ей обогородилось все мое царство. Издалека приходят к ней на поклон. Являются чудеса и знамения.

Если любят тебя, пусть даже неощутимо, и ты любишь в ответ, ты идешь в луче света. Когда чувствуешь Господа, благодатна та молитва, на которую отвечают тишиной.

Если твоя любовь взаимна, если тебе раскрыты объятия, молись Господу, чтоб Он спас твою любовь от порчи, я боюсь за сытое сердце.

## XCIX

И поскольку я все же полюбил свободу, научившую петь мое сердце, поскольку проливал кровь, чтобы ее завоевать, и видел сияющие глаза тех, кто бился со мной рядом (видел я и других, низких сердцем, — угрюмо набычившись, ломились они к кормушке и, отвоював себе место в хлеву, превращались в чавкающих свиней).

Поскольку я видел и тех, кого оживил свет свободы, и тех, кого тирания превратила в скотов.

Поскольку я живу жизнь и не отворачиваюсь от малой малости в самом себе, но зато не принимаю всерьез разноголосицу идей, твердо зная, что, если слова сделались тесны для жизни, нужно их поменять; если тебя поставило в тупик неразрешимое противоречие, нужно перестроить фразу, нужно, чтобы поднялась гора, с которой видна будет целиком вся равнина.

И поскольку я знаю, что благородство души закладывается, выстраивается и создается, словно крепость, что создает его принуждение, вера и безусловность долга, которые овеществовались в традициях, молитве и обрядах.

Поскольку я знаю, что прекрасны только гордые души, которые не желают сгибаться и помогают человеку держаться прямо даже под пыткой, которые освобождают от тирании самолюбия, но умеют хранить верность себе, выбирать, решать и жениться на любимой вопреки наговорам толпы и немилости короля...

Потому я и понял, что главное не свобода и не принуждение. Главное — не отвернуться ни от одного из биений жизни. А слова? Пусть дразнят друг друга, показывая язык.

## С

Если ты заранее определил, что такое зло, и стал за него наказывать, злодеев окажется очень много (ты можешь посадить в тюрьму всех, потому что в каждом есть крупинка зла, которое ты искореняешь, а если карать за недозволенные желания, то в тюрьму отправятся и святые). Страшна твоя предвзятость, ты поднялся на запретную гору, одетую кровавым туманом, и вслепую уничтожаешь человека вообще. Ты видишь его злодеем, но в нем есть и ангел. Ты уничтожаешь их вместе.

Если твои жандармы — а они неизбежно тупые исполнители твоей воли, тупость — их профессия, от них не требуется чутья, напротив, оно им запрещено, потому как не их дело вникать и судить, их дело выявлять по данным тобой признакам, — так вот, если твои жандармы получают приказ разделить всех на черных и белых — а других цветов для жандармов не существует — и к черным ты отнесешь, например, того, кто насвистывает в одиночестве, кто порой сомневается в Боге, кто зевнул, копая землю, кто вот так думает, постукает, любит, ненавидит,

восхищается, презирает, — тогда наступают отвратительные времена и оказывается, что у тебя не народ, а сплошные предатели, и сколько ни руби голов, все будет мало, и в толпе так и кишат подозрительные и шпионы. Ты поделил не людей, развея направо одних и налево других, чтобы картина стала яснее, — ты разрубил человека, разделил, разлучил его с самим собой, завербовал в нем соглядатая, сделал подозрительным для самого себя и готовым себя предать, потому что в одну из томительных ночей каждый сомневался в Боге. Потому что каждый навистывал в одиночестве, зевал, копая землю, и думал, делал, любил, ненавидел, восхищался или презирал недолжное. Ибо человек живой, и он живет. Но святым, праведным и желанным тебе показался тот, кто громыкает сегодня одной идеей, завтра другой, смешной ярмарочный паяц; тебе оказался ненужным тот, кто живет сердцем.

А раз ты послал жандармов искать не какого-то человека, а человеческое в человеке, то с присущим им усердием они отыщут его в каждом, ужаснутся обилию зла, ужаснут тебя своими донесениями и убедят в необходимости самых срочных мер. Ты согласился и построил тюрьму, куда заключил весь свой народ.

Но если ты все-таки хочешь, чтобы крестьяне у тебя пахали землю, полагаясь на щедрое солнце, чтобы ваятели резали камень, геометры чертили фигуры, ты должен подняться на другую гору. С другой вершины теперешние каторжники покажутся тебе святыми, и ты воздвигнешь памятник тем, кого послал ломать камень.

## СИ

Наконец-то я понял, что такое грабеж, я давно размышлял о нем, но не был просветлен Господом. Я знал и раньше, что грабительствует писатель, ломая основы стиля, корежа устоявшиеся средства выражения, желая эффективней выразить себя. На первый взгляд, что тут непохвального? Средства выражения и выработаны для того, чтобы выражать себя. Но ты, вместо того чтобы пуститься в путь, сломал повозку, ты похож на неразумного хозяина, невероятной кладью он перешиб хребет своему ослу. Набавляя день за днем понемногу, он мог бы приучить своего осла к более тяжелой клади, и осел служил бы ему лучше, чем раньше. Я гоню нарушителей, пусть все выражают себя по правилам, — только так у них появятся свои собственные.

Однако оказывается, что свобода — свобода человека быть прекрасным — тоже своеобразный грабеж и растрата наготовленного впрок. Конечно, запас, лежащий без движения, бесполезен, не извлечешь ничего и из красоты, доставшейся по наследству, потому что тебе никогда не извлечь на свет той формы, в которой ее отливали. Да, хорошо построить хранилище, сыпать в него зерно, с тем чтобы черпать оттуда в зимнюю бескормицу. Суть хранилища прямо противоположна хранению, в него складывали, чтобы из него черпать. Неуклюжий язык — единственная причина противоречия, дерутся между собой слова «складывать» и «черпать», так что не стоит утверждать: «Хранилище — место, куда складывают», — логик может тут же возразить: «Хранилище — место, откуда берут»; ты справишься с ветром слов, обозначив хранилище как перевалочный пункт.

Но ведь и свобода — вкушение тех плодов, которые были возвращены моим принуждением, ибо только принуждение способно созидать то, что достойно свободы. Созданный мной человек свободен от страха пыток, он не хочет отказываться от себя, он противится приказам тирана и его палачей, и я называю его свободным. Свободен и тот, кто способен устоять перед низменной страстью. Но как назвать свободным того, кто попадает в рабство любому соблазну. Сам он зовет это свободой, он свободно выбрал для себя вечное рабство.

Что значит создать человека? Мне кажется, это значит высвободить в нем ту деятельность, что свойственна человеку, как создать поэта означает высвободить в нем стихи. И если я хочу видеть тебя ангелом, я высвобождаю из тебя окрыленные слова и уверенные движения танцора.

## СII

Я сторонюсь тех, кто судит обо всем с определенной точки зрения. Вот этому борцу кажется, что он борется за великое дело; кроме своего дела он ничего не видит вокруг. Мне важно, чтобы в нем очнулся человек, когда я заговорю с ним. Но я не верю, что от нашей встречи будет какой-то толк. Наш разговор станет военным маневром и плутовством, собеседник переиначит мою истину, чтобы она послужила его собственному царству. И я не буду упрекать его, раз он ощутил себя значимым благодаря своему делу.

Идеально поймет и не исказит моих истин тот, кого я назвал бы совершенным и просветленным, он не превратит их в свои и не повернет при случае против меня, он не работает, не действует, не борется и не разрешает никаких проблем. В моем царстве есть бесполезный светильник, он освещает лишь самого себя, но бескорыстно, он — самый утонченный и хрупкий цветок моего дерева, бесплодный цветок, ибо слишком чист.

Вот она, проблема взаимопонимания, проблема мостика между борцом за великое дело, совсем не похожее на мое, и мной. Проблемы смысла в нашем языке.

Объединяет только Бог, который сделался явью. Ощутимое понятие «царство» связывает меня и моего воина, потому что и для него, и для меня оно одинаково значимо. Любящий вопреки всем стенам — одно целое с той, что стала душой и теплом его дома, которую дано ему любить и далекой, и спящей. Но вот передо мной посланник иного царства, и если я хочу играть с ним в игру более сложную, чем шахматы, если хочу встретиться с ним как с человеком, перешагнув ступеньку подвохов и взаимообманов, — ведь и воюя, мы можем уважать друг друга и чувствовать взаимное приятие, как это было с восточным государем, возлюбленным моим врагом, — так вот, если я хочу поговорить с ним по-человечески, мне нужен новый образ, новая картина мира, которая станет для нас новой мерой всех вещей.

Если он верит в Бога и я тоже, если он хочет привести к Богу свой народ, а я хочу открыть Божественное своему, то мы встретимся с ним как равные в шатре перемирия посреди пустыни, вдалеке от наших коленопреклоненных воинов, и будем молиться вместе, потому что нас объединяет Бог.

Но если для нас не найдется Бога, который превосходил бы и его и меня, у нас нет и надежды на взаимопонимание, на связующие нити, ибо одна и та же вещь обладает различным смыслом, принадлежа твоей целостности и моей, из одинаковых камней наши архитекторы строят разные храмы, и как нам договориться, если слово «победа» для тебя означает то, что я побежден, а для меня то, что я победил?

И я понял, зная, что в разговоре ничего не значат сами слова, а только залог — тот, что обеспечивает их смысл и весомость, зная, что житейское не затрагивает ни души, ни сердца и просьба «передай мне чайник» взволнует только потому, что перед глазами возникло любимое лицо, что чайник был частичкой твоего домашнего царства, когда вы вдвоем пили чай после вашей любви, или, наоборот, возлюбленная навещала тебя только изредка и чаепитие для вас было редкостным

праздником... Так вот, я понял, почему берберы-изгнанники, для которых развязался Божественный узел, оставив их среди хаоса разноликих вещей, стали похожи на бессмысленную скотину, — кормили их хорошо, но они не преобразили хаос в незримую часовню, зримыми камнями которой были бы сами, — они были хуже скотины, потому что коровам не нужны незримые часовни, их небогатая радость в переваривании малой толики вещественности.

Я понял, почему перевернула им душу песня сказителя, которого послал к ним мой отец, — сказитель пел о том, как безликие вещи, отражаясь друг в друге, обретают лицо и значимость.

Какое богатство — три белых камешка в руках мальчишки, хаос разноликого мира ничто перед ним.

### СIII

Мои тюремщики разбираются в людях лучше, чем геометры. Поручи им дело — и убедишься. А если речь зашла, кому править царством, я подумаю еще, кому его поручить — генералам или тюремщикам. Но уж, конечно, предпочту тюремщика геометру.

Да, геометры научены вычислять, соразмерять, но они перепутали: искусство вычислений вовсе не мудрость. «Мы владем истиной», — твердят они. Да, истиной вычислений. Конечно, можно попробовать управлять и с помощью их языка, но как он неуклюж, как неприспособлен для управления! И сложно и кропотливо ты будешь сопоставлять и соизмерять, прежде чем принять меры, и меры твои будут всегда отвлеченными. Реальные меры умеют принимать только танцоры и тюремщики. Потому что узники те же дети. И остальные люди тоже.

### СIV

Геометры донимали моего отца.

— Править людьми должны мы, — утверждали толкователи геометрии. — Мы владем истиной.

— Истиной геометров... — отвечал им отец.

— Так что же? Разве она неистинна?

— Нет, — отвечал отец.

— Они знают истину треугольников, — говорил он мне. — Пекарь знает истину хлеба. Если плохо вымесил тесто, хлеб не поднимется. Если перегрел печь — подгорит, если недогрел — сядет. И хотя мой пекарь печет пышный хлеб с хрустящей корочкой и есть его одно удовольствие, он почему-то не приходит ко мне требовать, чтобы я поставил его управлять царством.

Ты можешь согласиться, что, возможно, я прав относительно геометров, но есть еще историки, критики. Они показывают нам деяния людей. Они разбираются в людях...

— Но я, — продолжал отец, — отдаю управление государством тем, кто сродни черту. Надо сказать, что с некоторых пор черт весьма усовершенствовался и недурно проясняет тьму человеческих взаимоотношений. Но скажи, есть ли чертовщина в пересечении линий? Потому-то я и не жду, что геометры, копаясь в треугольниках, сообщат мне что-то новенькое о дьяволе. В их треугольниках нет ничего такого, что помогло бы управлять людьми.

— Ты говоришь темно, — сказал я отцу. — Выходит, ты веришь в дьявола?

— Нет, — ответил отец.

И добавил:

— Что, собственно, значит верить? Я верю, что летом вызревает ячмень, вера моя не полезна и не вредна, потому что я просто обозначил лето как время года, когда вызревает ячмень. Некая уверенность есть у меня и относительно других времен года. Но вот я сопоставил свои уверенности и вывел некоторую закономерность: рожь, оказывается, созревает раньше ячменя, и я верю в это, потому что так оно и есть. Мне не важен ячмень, не важна рожь, мне важно было соотношение летних месяцев, я поймал его, а ловушкой были рожь и ячмень.

И он продолжил:

— Я могу объяснить тебе то же самое на примере статуи. Вряд ли ты думаешь, что для скульптора важнее всего нос именно такого рисунка, такой вот рот и подбородок. Нет, конечно. Ему важно их соотношение, которое воплотит, например, человеческую скорбь, потому что человек общается не с вещами — с тем узлом, который связывает их воедино.

Один дикарь верит, что звук спрятан в барабане. Он боготворит барабан. Другой верит, что звук в палочках, он боготворит палочки. Третий верит, что всему причиной его сильные руки, и посмотри, как он гордится ими, поднимая их вверх. А ты уверен, что барабанная дробь прячется не в барабане, не в палочках и не так уж зависит от силы рук; искусство барабанщика — вот для тебя главное.

Не будут править моим царством истолкователи геометрии, подспорье они возвели в абсолют, их позвали помогать строить храм, а они обожествили свою власть над камнями. А теперь с помощью законов о треугольниках хотят управлять людьми.

Мне стало горько.

— Что же, истины нет? — спросил я.

— Если бы ты сумел мне назвать то, что мучается в тебе от безответности, — улыбаясь, сказал мне отец, — я заплакал бы вместе с тобой, чувствуя себя калекой, лишенным возможности двигаться. Но я просто не вижу, что же ты пытаешься поймать. Влюбленный читает письмо любимой и счастлив независимо от качества бумаги и чернил. Любовь исходит не от чернил, не от бумаги.

## CV

И вот что я еще понял: люди попались в плен словесным фантомам, и они убедили их, что знания добываются путем расчленения целого; теперь, расчлняя, люди уничтожают собственное наследство. Уничтожают, потому что все относительно верное для телесного неверно для духовного. А человек — ничего не поделатъ — создан так, что вещи для него пусты и мертвы, если не связаны и с бестелесным тоже; богатый скупец выбирает для себя все-таки самую красивую вещь, потому что собственный дом он представляет богатым и прекрасным и золото для него — средоточие незримых сокровищ; и его жена просит драгоценную диадему не для того, чтобы прическа стала тяжелее, но потому, что эта диадема — условный знак, ступень иерархии, эмблема тайного господства.

Я отыскал тот единственный родник, что утолит жажду твоей души и сердца. Единственный хлеб, который напитает тебя. Единственное достояние, которое нужно спасти. И если ты растратил его, то должен нажать непременно. Оглянись, ты оказался среди кучи обломков, и если животному в тебе хорошо и так, то человек в тебе голодает, не зная даже, какая пища утолит его голод, — ты так создан: чем больше ты пьешь, тем больше жаждешь, но если ослаб без живительной влаги и

трудов и погрузился в полудремоту, то уже не ищешь себе ни трудов, ни чистой воды.

Поэтому нет у тебя возможности узнать, в чем твое спасение, и кто-то должен спуститься с горы и осветить тебе путь. Как не узнать тебе, сколь бы умно тебе ни рассказывали, — какого ты наработаешь в себе человека, его же еще пока нет.

Мое принуждение сродни власти растущего дерева, дерево — это путь, преображающий и песок, и камни.

Ступень за ступенью приобщаю я тебя к сокровищам все более весомым и всеобъемлющим. Хороши любовь, дом, царство, храм и год, что похож на часовню, освященную праздниками, но если ты позволишь мне помочь тебе подняться на самую высокую из вершин, ты увидишь, есть у меня и другие сокровища, но добыть их так трудно, что многие отказываются от них по дороге, ибо новую картину я складываю из камней, взятых от тех храмов, что дороги их сердцу.

Но те, кто все-таки рассмотрел мою новую картину, так вдохновлены ею, что в душе их пламенеет огонь. Открывшаяся цельность так светла, что кажется душе пламенем. Пылающими любовью назвал бы я этих людей.

Доверься мне и позволь созидать тебя, в душе твоей загорится свет.

Но тускнеет и ощущение Господа. Я уже говорил тебе: приходит день — и стихи смолкают. Как бы ни были они хороши, они не в силах питать тебя каждый день... Дозорный, что день и ночь ходит взад и вперед, не может все время пламенеть усердием во имя царства. То и дело развязывается для человека Божественный узел, что связует все воедино. Загляни к ваятелю. Ему сегодня грустно. Глядя на мрамор, он покачивает головой: «К чему этот нос, подбородок, ухо?» — он не видит того, что хотел поймать. Сомнение — тоже твоя дань Господу, тебе недостает Его, и ты страдаешь.

## CVI

Исполняя ритуал, ты приобщаешься. Рассеянно послушав музыку, обведя глазами храм, ты остаешься прежним, в тебе ничего не рождается, не напитывается. У меня нет иного способа открыть тебе жизнь, которой я хочу для тебя, я могу только принудить тебя к ней, чтобы ты почувствовал ее вкус. Как мне объяснить тебе эту музыку? Ты слышишь и не слышишь ее, сердце у тебя не готово, ему некуда принять ее и напитаться. Как уязвима твоя картина царства, от одного дуновения рассыпается она в пыль. Насмешка бездельника, недосып, капанье воды из крана — и вот ты уже лишился Господа. Ты уже оставлен. Сидишь на пороге у закрытых дверей, ты в разладе с миром, и мир — только свалка ненужных вещей. Потому что привязан ты не к вещам — к Божественному узлу, связующему все воедино.

Как мне приживить тебя, когда ты так легко выскальзываешь?

Вот почему я заставляю чтить мои ритуалы, я хочу упасти тебя от поражения, когда выпадет тебе час сидеть на пороге у закрытых дверей.

Вот почему я так не люблю беспорядочного чтения.

Я строю тебя изо дня в день, поддерживаю твой дух бодрствующим, чтобы ты приникал к источнику не по минутной слабости сердца, а пил из него постоянно, чтобы стал торной дорогой, открытой дверью, благодатным храмом, всегда готовым принять. Стань скрипкой, которая ждет скрипача.

И стихи, что я приготовил для тебя, это тоже твой путь навверх.

Истинное знание — у тех, кто восстанавливает позабытые дороги и подбирает людей, раскатившихся, словно щебень.



Я хочу, чтобы ты нашел свою родину, под стать и душе твоей, и складу.

И опять и опять я повторяю: принуждение мое освобождает тебя, принося единственно ощутимую свободу. Ты зовешь свободой возможность разрушить храм, перемешать слова в стихотворении, уравнивать дни года, который я с помощью ритуалов превратил в часовню. Твоя свобода сродни пустоте пустыни. И где тебе обрести себя?

А я? Я зову свободой высвобождение тебя из тебя.

Потому и спрашиваю у тебя: какая свобода? Свобода раба или человека? Свобода язы или здоровья? Справедливость для человека или для грабителя? Против тебя, через тебя и ради тебя моя несправедливость. И конечно, раз я принуждаю отказаться от привычного и искать себя, я несправедлив к грабителю и бездельнику — гусеницам, которые не желают преобразиться, и заставляю их силой отказаться от привычного и все-таки обрести самих себя.

## CVII

Приучить — уже принудить. Но принуждение, ставшее привычкой, незаметно; ты не станешь упрекать меня и жаловаться на то, что коридор поворачивает, ведя к выходу.

Правила детских игр — тоже принуждение. Но детям нравится подчиняться им. Как интригуют мои именитые граждане ради почетных обязанностей, а что они, как не принуждение? А женщины? Как послушны они моде, выбирая свои наряды, а мода меняется что ни год. Мода — тоже язык, а значит, и принуждение. Никто не хочет остаться непонятым, хотя это обещает свободу.

Если камни, сложенные таким образом, я называю домом, ты не волен именовать их по-другому, потому что иначе останешься в пустыне непонимания.

Если я объявил этот день веселым и радостным праздником, ты не волен сделать его будним днем, иначе останешься в одиночестве, отделив себя от народа, к которому принадлежишь.

Если я объединил в одно целое и назвал царством коз, овец, дома и горы, ты не волен отъединиться от него, иначе останешься в одиночестве, нет у тебя соратников, потому что все трудятся на благо царства.

Твоя свобода растопила горный ледник и превратила его в лужу; первое, чего ты добился, — одиночество: ты уже не крупинка ледника, который добрался до солнца, укрытый снежным плащом, ты — равный среди равных, ты такой же, как все, и все же вы все разные и готовы возненавидеть друг друга, ваш покой — покой на секунду замерших шариков, ничто не превосходит вас в вашем мире, от всего вы свободны, даже от безусловных условностей языка, — все возможности общаться друг с другом утрачены, каждый ищет собственный язык, каждый празднует собственные праздники, все отделены друг от друга и более одиноки, чем одинокие звезды, затерянные в пространстве.

Чего ждать от братства? Дерево не знает братства, а вы — частички дерева, оно вбирает вас в себя, оно приходит за вами извне, поэтому я и не устаю повторять: кедр — это принуждение для песка, не песок порождает кедр, а семечко.

Но как вам стать кедром, если каждый хочет вырастить свое дерево, а эти и вовсе не желают подчиняться дереву, они зовут его тираном и жаждут сами сделаться тиранами? Вас нужно расставить по местам и научить служить дереву, глупо настаивать на том, что дерево должно служить вам.

Поэтому я бросаю семечко и хочу подчинить вас его власти. Да, я несправедлив, если справедливость — это равенство. Я создаю кар-

тины, силовые линии и напряженность. Но благодаря мне вы преобразитесь в обильную крону, и питать вас будет солнце.

## CVIII

Я увидел: дозорный спит.

Его ждет казнь. От его бодрствования завясят слишком много спящих, дыхание их замедлилось, жизнь течет сквозь них, словно волны по тихой бухте. Завясят храмы, Завясят храмы, сокровища и святыни, что копились долго и медленно, словно мед, — потоком, мозолями на руках, ударами резца, ударами молотка, тяжестью камней, глазами, что слепнут от танца иголки по золотой парче, расцветающей цветами и узорами благодаря старанию набожных рук. Завясят житницы, полные зерна, собранного, чтобы облегчить суровую зиму. Священные книги в житницах мудрости, где покоятся залого, обеспечивающие человеческое в человеке. Тяжелобольные, которым я облегчил мысль о смерти: смерть — необходимый, совершаемый в кругу семьи обряд, она легка и почти незаметна, она — передача в родные руки наследства. Дозорный, дозорный, ты — смысл моих стен, а они — оболочка хрупкого тела города, они не дают ему расточиться; появившись в них брешь — и тело обескровится. Ты ходишь по стене взад-вперед, вслушиваешься в шорохи пустыни, что вечно бряцает оружием, постоянно волнуется, словно морская зыбь, вечно угрожает тебе и своей угрозой закаляет и укрепляет тебя. Как отделить то, что уничтожает тебя, от того, что тебя созидает? Один и тот же ветер строит дюны и разрушает их, один и тот же поток выглаживает скалу и стирает ее в песок, одно и то же принуждение выковывает в тебе душу и лишает тебя души, одна и та же работа дает тебе жизнь и отнимает ее, одна и та же любовь переполняет тебя и опустошает. Враг придает тебе форму, он принуждает тебя к строительству внутренних укреплений, он для тебя то же, что море для корабля: море — враг, оно готово поглотить корабль, и корабль без устали сопротивляется ему, но то же море для корабля опора, ограничение и возможность обрести форму, веками форштевень разрезал волны, а они, обхватывая судно, лепили ему корпус, делая его все более обтекаемым и изящным. Ветер рвет паруса и надувает их, делая похожими на крылья. Не будь у тебя врагов, у тебя не было бы ни меры, ни формы.

Но что значат стены, если нет дозорного?

Часовой заснул — город беззащитен. Идет враг и топит спящего в его собственном сне.

А дозорный мой спал, привалившись головой к плоскому камню, приоткрыв рот. Спал с младенческим выражением лица. Он прижал к себе ружье, будто игрушку, которую берут с собой в сон. Я смотрел на него, и мне его было жалко. Жаркой ночью мне жаль человека за то, что он так непрочен.

Нестоек дозорный, бдительность его усыпил варвар. Пустыня одолела его, и он позволил воротам бесшумно повернуться в ночной тишине на смазанных петлях, чтобы варвары оплодотворили крепость, истощенной крепости нужен варвар.

Спящий часовой. Авангард противника. Ты уже завоеван, твой сон означает, что ты уже не принадлежишь городу, узел развязался, ты ждешь преобразования, ты — поле, приготовившееся принять семена.

А я представил себе город, разрушенный по милости твоего сна, потому что ты узел всему и ты всему развязка. Как ты прекрасен, дозорный, когда ты настороже, ты — чуткие уши и зоркие глаза моего города... Как благородна твоя любовь к городу и куда умнее рассуждений всех логиков, которые не любят, а делят его. Для них вот здесь

больница, там тюрьма, а тут дом друзей. И дом этот тоже разделен на части, они видят одну комнату, другую, третью. А в комнатах видят вещи — одну вещь, другую, третью. И что они сделают с такой грудой вещей, из которой ничего не хотят построить?

Но, дозорный, если ты не спишь, ты оберегаешь город как целое, город, раскинувшийся под звездами. Не этот дом и не другой, не больницу и не дворец — весь город. Не оберегаешь ни стонущего при смерти, ни кричащую роженицу, ни блаженный стон влюбленных, ни писк новорожденного — оберегаешь многообразное дыхание единого тела поэта. Целый город. Не бессонницу этого, не сон другого, не стихи поэта, не эксперимент ученого — переплетение сна и усердия, угли, подернутые пеплом, на которые смотрит Млечный Путь. Целый город. Дозорный, дозорный, ты приник ухом к груди возлюбленной и слушаешь тишину, покой и вздохи, которые не имеет смысла делить и различать, потому что это биение ее сердца. Просто биение сердца. И ничего другого.

Дозорный, если ты не спишь, ты равен мне. Город покоится на тебе, а на городе покоится царство. Хотя я не сомневаюсь, что, когда я прохожу, ты преклонишь колени: таков порядок в этом мире, так восходит сок от корней к листьям. Прекрасно, что ты воздаешь мне почести, — кровь течет по жилам царства, течет любовь от юного мужа к юной жене, течет молоко матери к младенцу, течет уважение неоперившихся к мудрым — но ты же не скажешь, что кто-то что-то получил? Ибо прежде других я служу тебе.

Когда ты стоишь в профиль и опираешься на ружье, равный мне, подобие мое в Господе, никто не различит краугольный камень и ключ свода, и разве кто-то из них ревнив к другому? Вот поэтому сердце мое переполнено к тебе любовью, и все-таки я позову стражу и отправлю тебя под арест. Под арест, потому что ты спишь. Спящий часовой. Мертвый часовой. Я смотрю на тебя с ужасом — в тебе спит, в тебе умирает царство. В тебе я вижу свое царство большим, о его болезни сообщает мне сон дозорных...

«Да, — думал я, — палач справится со своим делом и утопит моего дозорного в его собственном сне...» Но жалость поставила меня перед новым, неожиданным противоречием. Сильные царства отрубают голову уснувшим дозорным, но царство, что снаряжает своих часовых для того, чтобы они хорошенько выспались, не вправе казнить. Ни в коем случае нельзя заблуждаться относительно суровости. Рубя головы спящим часовым, не пробудишь омертвелое царство, хотя царство неусыпно бдящее отсекает сонных стражей. Смотри, не перепутай причину и следствие. Ты видел, что сильные царства рубят головы, и хочешь обрести силу казнями — нет, ты по-прежнему останешься бессильным паяцем посреди кровавого месива.

Разбуди любовь, и в дозорных проснется бдительность, они сами осудят тех, кто способен заснуть на посту: этот пренебрег царством, значит — отринул себя сам.

Ты справляешься с собой при помощи дисциплины, к которой принуждает тебя начальник-капрал. Капралов школят сержанты. Сержантов — капитаны. И все вместе вы зависите от меня, которого ведет Господь Бог. Но если я усомнюсь, все мы окажемся посреди пустыни и над нами нависнет катастрофа.

Так вот, я хочу поговорить с тобой об одной таинственной вещи — о преданности. Ты спишь, жизнь для тебя словно бы исчезла. Исчезает она и тогда, когда помрачается в тебе вдруг сердце и ты чувствуешь только усталость. Вокруг ничего не переменилось, все переменилось в тебе. Ты — дозорный, ты наедине с городом, но ты не влюбленный, что приник к груди любимой, ловя биение ее сердца, ты не знаешь, размеренно оно бьется или учащенно, слушать его стук можно только любя;

твоя любимая затерялась в ночной разноголосице, ты слышишь голоса, мешающие друг другу: пьяная песня заглушает стон больного, плач по усопшему — крик новорожденного, шум ярмарки — пение в храме. Ты спрашиваешь себя: «При чем тут я? На что мне эта сутолока, этот балаган?» Ты забыл, что перед тобой дерево с корнями, стволом, ветками, листьями, что нет для них общей мерки. Но откуда взяться преданности, если не ощущаешь того, кто в ней нуждается? Я уверен, ты не уснул бы, сидя у постели больной возлюбленной. Но сейчас расплылось то, что ты мог любить, ты — перед свалкой вещей, чужих, ненужных.

Развязался Божественный узел, что связывал их воедино. Но знаю: ты вернешься, и хочу, чтобы сейчас ты хранил верность хотя бы самому себе. Я не требую от тебя лицемерия, не требую, чтобы ты сейчас же что-то понял или что-то почувствовал, я слишком хорошо знаю, сколько душевных пустот проходит самая страстная любовь. Глядя на любимейшую из любимых, ты вдруг думаешь: «Вот, оказывается, какое у нее лицо... Как я мог полюбить его? И какой тонкий голос. Какую страшную глупость она сейчас сказала. Как нелепо поступила...» Твоя любимая расплылась на досадные частности, она больше не вдохновляет тебя, и тебе кажется — ты ее ненавидишь. Но как ты можешь ненавидеть ее? Раз сейчас ты не в силах любить...

И ты замолкаешь, смутно догадываясь, что настало для тебя какое-то помрачение. Любимая стала чужой и тебе не нравится. Не понравятся и стихи, если начать их читать. Чужими покажутся дом и царство. Ты утратил возможность голодать, насыщаться, ощущать Божественные узлы, что связуют все воедино, теперь ты ничего не любишь, ничего не понимаешь. Мой уснувший дозорный, твои привязанности вернуться к тебе, и не по одной, а все вместе, как родная любимая семья, но, когда тебя постигло горе неверности, должно чтить в тебе дом, что опустел на время.

Вот мои часовые обходят по кругу крепость, и я вовсе не думаю, что все они пылают усердием. Большинство зевает и мечтает об ужине. Если все боги спят в тебе, то не спит желание телесного довольства: все, кому скучно, думают о еде. И я вовсе не жду, что их души будут непрестанно бодрствовать. Сопричастность целостности, Божественному узлу, что связует все воедино, зову я душой, душа не ведает о преградах. Я жду, чтобы в одном из моих дозорных замерцала душа. Забило сердце. Проснулась любовь, и на миг он ощутил шемящую значимость городской многоголосицы. Ощутил вдруг в себе пространство, дотянулся до звезд, обнял горизонт и стал сродни раковине, шумящей шумом моря.

Мне достаточно, если хоть раз тебя осенит такое и ты во всей полноте ощутишь, что значит жить человеком, ощутишь готовность принимать эту полноту, потому что, как сон, желание, голод, она будет к тебе возвращаться, а твои сомнения — только недолгая отлучка, и мне хочется тебя утешить.

Если ты ваятель, к тебе вернется исполненный смысла образ. Если пастырь — вернется ощущение близости Господа, если влюбленный — вернется полнота любви. Если дозорный — вернется значимость царства. Чаша наполнится, если ты сохранишь в себе верность, если будешь блюсти свой дом, пусть сейчас он пуст и оставлен, но твой дом — единственная для тебя возможность насытить сердце. Ты не знаешь час исполнения, но знаешь — и это самое главное, — что только благодаря полноте ты полноценен.

Нудными часами учений складываю я в тебе то, что однажды воспламенится от прочитанного стихотворения, отягощая исполнением обрядов и ритуалов царства, чтобы царство проторило путь к твоему

сердцу. Ибо нет возможности одарить, если ты не готов принять подарок. Гость не придет, если ты не построил дома, чтобы принять его.

Ах, дозорный, дозорный, расхаживая взад-вперед по смотровой площадке, томясь тоской и скукой, что приходят жаркой душной ночью, слыша городской шум, который тебе безразличен, глядя на дома, которые кажутся муравейниками, чувствуя себя в пустыне и все же, несмотря на пустоту, стараясь любить, хотя нет любви, стараясь верить, хотя нет веры, стараясь сохранить преданность, хотя это бессмысленно, — ты готовишь себя к озарению, которое приходит как награда и дар любви.

Нетрудно быть верным себе, когда ты в ладу с собой, но мне хочется, чтобы, помятуя о своей полноте, ты повторял про себя: «Пусть мой дом озарится светом. Я построил его и содержу в чистоте . . . » Принуждение мое тебе в помощь. Своих пастырей я принуждаю приносить жертвы, хотя, кажется жертвы эти бессмысленны. Принуждаю ваять моих ваятелей, хотя они разуверились в собственных силах. Принуждаю моих дозорных под страхом смерти проходить туда и обратно свои сто шагов, потому иначе они погибнут, — смерть уже в их душе, и они отъединили себя от царства.

Я спасаю их моей суровостью.

Представь себе воина, что собирается в путь в пустой караульне. Я посылаю его разведчиком в стан врага. Он знает: ему не вернуться. Враг наш настороже. Он предчувствует пытки, которыми будут выжимать из него, вместе с криками, тайны царства. Но он из тех, кого повязала любовь, он снаряжается с радостью, потому что радостно слиться навек со своей любовью, он готовится к брачной ночи. Обнимая любимую в день свадьбы, ты счастлив не тем, что завоевал ее и она наконец телесно принадлежит тебе: для тела сколько угодно девушек в веселом квартале, и есть такие, что похожи лицом на твою любимую, — нет, благодаря твоей юной жене мир наполнился иным смыслом, все обрело в нем иной цвет, иной тон. Иным стало вечернее возвращение домой, иным — утреннее пробуждение, ты словно бы копишь наследство, ты ждешь детей, ты научишь их молиться. Все изменилось, даже чайник, он мурлычет о вашем с ней чаепитии перед ночью любви. Она переступила твой порог — и превратила пушистый ковер в мягкий луг. Тебя одарили счастьем. Вселенную твою одарили смыслом, но это счастье так далеко от вещей, которыми ты пользуешься. Счастье не от подарков, не от телесных ласк, не от полученных привилегий — оно от Божественного узла, связавшего все воедино.

Вот воин, он идет на смерть, и тебе кажется: в этот миг он лишается всего, у него не будет даже прощального поцелуя, ждет его только жажда, палящее солнце, ветер и скрипящий на зубах песок, ждут враги, чтобы выжать из него тайну; воин снаряжается на смерть, чтобы войти в эту смерть в своей одежде смертника, и тебе кажется: он должен стонать от смертной муки, как стонал преступник, приговоренный к виселице, и точно так же отбиваться от палачей, заступаясь за свое несчастное тело; так вот, воин, который снаряжается на смерть, совершенно спокоен, — посмотри, у него спокойные глаза, он шутит с товарищами, шутки его — знак дружеской привязанности, а вовсе не фанфаронство, не нарочитое мужество, не пренебрежительное отношение к смерти, в нем нет преувеличенного, наносного, он спокоен, словно вода, и, словно спокойная вода, он ничего от тебя не скрывает, ему немного грустно, и без смущения он говорит о том, что ему грустно. Скрывает он только свою любовь. Потом я скажу тебе почему.

Он без страха застегивает кожаные ремни, но против него у меня есть оружие, и оно для него страшнее смерти. Он ведь так уязвим. Уязвимо каждое божество его сердца. Обыкновенная ревность может

стать угрозой для царства, для смысла всех вещей, для радости вернуться домой, в один миг издерет она в клочья блаженное состояние покоя, умудренности и самоотречения. Сколько всего ты забираешь у него, ведь Господу он должен вернуть не только любимую, но и дом, и виноград своих виноградников, и шуршащие снопы ячменя со своего поля. И не только свои снопы, свой виноград, свои виноградники, но и свое солнце. И не только солнце, но и ту, что освещает его дом. Смотри, он отказывается от стольких сокровищ и не замечает разорения. Но укради у него улыбку возлюбленной, и он потеряет сам себя и превратится в сумасшедшего. Подумай, не здесь ли кроется величайшая из загадок? Ведь ты держишься не вещностью, что находится в твоём распоряжении, — смыслом, которым наделил ее Божественный узел, связавший все воедино. Поэтому и предпочитает воин собственную гибель гибели того, на что тратит жизнь и что в ответ насыщает его жизнь смыслом. Он оберегает питающий ток. Моряк по призванию готов на гибель при кораблекрушении. Хотя в миг кораблекрушения он может пережить животный страх — страх перед захлопнувшейся ловушкой, — но он честен, он заранее согласен на этот страх, он пренебрегает им, потому что ему по сердцу мысль, что умрет он на море. И когда я слышу жалобы моряков на неизбежность своей жестокой смерти, я понимаю: они не похваляются, соблазняя женщин, они стыдливо высказывают тайное желание своей любви.

Нет языка, на котором ты мог бы выразить себя. Говоря о царстве любви, ты говоришь «она» и веришь, что и впрямь говоришь о ней, но на деле ты ведешь речь о смысле вещей, и «она» для тебя — Божественный узел, благодаря которому все вокруг связано с Господом, а Господь и есть смысл твоей жизни, поэтому ты и служишь ей. Выбрав служение, ты выбрал для себя способ общения с миром. Вобрал в себя море, будто раковина, и душа звучит в тебе плеском морских волн. Ты можешь сказать «царство» с уверенностью, что тебя поймут, если вокруг люди, столь же естественно, как ты, чувствующие его присутствие, но над тобой посмеются другие, те, что видят вокруг лишь хаос разноликих вещей: у тебя и у них разные царства. И тебе станет неприятно оттого, что они подумали, будто ты готов пожертвовать жизнью ради универсального магазина . . .

Словно бы что-то прибавляется к вещам и к предметам, превосходит их и становится зримым для твоей души и для сердца, хотя ум может и не понимать, что же это такое. Это «что-то» управляет тобой лучше, а может быть, жестче и вернее, чем нечто понятное и разумное (хотя ты вовсе не уверен, что и другие вместе с тобой ощущают его и видят), оно принуждает тебя к молчанию, тебе не хочется быть ославленным сумасшедшим, не хочется насмешек бездельников над явственной для тебя картиной. Насмешки уничтожат ее, и станет очевидным, что сделана она из сущей чепухи. Как объяснишь насмешникам, что все это совсем о другом, что все это для души, а не для глаз?

Я много размышлял о просветлениях души, только о них мы и можем просить, и когда нам дают их, они чудеснее, чем то, о чем, терзаясь сомнениями душей ночью, мы привыкли просить. Усомнившись в Господе, мы привыкли просить, чтобы Он явился нам, словно визитер с визитом, — но явись Он, Он стал бы нам ровней и похожим на нас, и куда бы Он нас повел? Одиночество твое стало бы еще отчаянней; но хотел ты не приобщения к Божественному — развлечения вроде ярмарочного балагана, и теперь коришь Господа. Но кому в помощь низкое? (Ты хочешь, чтобы высокое опустилось до тебя, навестило на той ступеньке, где ты стоишь, такого, каков ты есть, непонятно ради чего снизившись до тебя, но Господь не снизится — я помню, как просил я Его, как молился, — нет, Он приоткроет тебе царство духа, ослепит явлением чего-то незнаемого, того, что не для ума и не для зрения,

а для души и для сердца, и если ты не пожалеешь сил, то поднимешься на ту ступень, где вещей уже нет, а есть только связующие их воедино Божественные нити.)

И тогда тебе не страшна смерть: боясь смерти, боясь потери. Но что тебе терять? Ты остаешься связующей нитью. Таково твоё вознаграждение за прожитое.

Ты и сам шел на смерть без страха, видел пожар, рисковал, спасая жизни. Тонул, спасая других при кораблекрушении.

Посмотри, да, они умирают, но они согласны умереть, у них в глазах свет истины, хотя они краснели и чувствовали себя обворованными уродами от чужой насмешливой улыбки.

Скажи им сейчас, что они заблуждаются, — они рассмеются.

Но ты, мой дозорный, заснул не потому, что сбежал от города, — потому что город оставил тебя, и я, вглядываясь в твоё бледное детское лицо, беспокоюсь за мое царство, раз оно больше не в силах будить засыпающих часовых.

Конечно, я ошибаюсь, когда слышу громкий голос города, когда вижу связанным воедино то, что для тебя распалось. Но знаю, тебе следовало бы ждать, вытянувшись, как свеча, и однажды ты был бы вознагражден вспыхнувшим в тебе светом, ты воодушевился бы своими хождениями по кругу, словно таинственным танцем под звездами в мире, где все исполнено смысла. Потому что там, внизу, в толще ночи, корабли сгружают золото и слоновую кость, и ты, часовой на крепостной стене, охраняешь их, а значит, украшаешь золотом и серебром царство, которому служишь. Где-то молчат влюбленные, не решаясь заговорить, они смотрят друг на друга и хотят сказать, что... Но если один заговорит, а другой закроет глаза, то вся Вселенная изменит свой ход. И ты охраняешь их молчание. Где-то умирающий готовится в последний путь. Все склонились над ним, ловя последнее слово, последнее благословение, чтобы унести в своём сердце, ты оберегаешь слово умирающего.

Дозорный, дозорный, я не знаю, где кончаются границы твоего царства, когда Господь освещает твою душу светом бдения, какое пространство делает он твоим. Мне не важно, что вскоре ты снова будешь мечтать о супе, ропща на свое ярмо. Хорошо, что ты спишь, хорошо, что забываешь. Плохо, что, позабыв, ты разрушаешь свой дом.

Преданность — это, в первую очередь, верность себе.

Я хочу спасти не только тебя, но и твоих товарищей. Я хочу от тебя той душевной устойчивости, которая свидетельствует об основательности наработанной тобой души. Ведь не рухнет дом с моим отъездом. Не исчезают розы, если я отвожу взгляд. Они растут и растут, пока новый взгляд не заставит их расцвести.

Так что я пойду, позову мою стражу. Ты умрешь, как положено умирать дозорным, заснувшим на посту. Тебе ничего не остается, кроме как собраться с силами и уповать, что твои муки все-таки помогут тебе преобразиться, ну хотя бы в бдительность часовых.

*(Продолжение следует)*



Алла Марченко

### ЭТИМОЛОГИЯ ШЕСТИДЕСЯТЫХ

*По повести Вл. Маканина «Один и одна»*

С легкой руки очередного баловня фортуны — Дм. Галковского жанр Комментария вдвинут в сферу литмоды. Роман «Бесконечный тупик», похоже, еще завтра напишется, а озабоченно-самолюбивый автор предусмотрительно — загодя, впрок и на вырост — обеспечивает черновику любопытство читающей публики. Но Дм. Галковский в некотором роде всего лишь «обезьяна» Андрея Битова — помните, в «Новом мире», в рубрике «Дневник писателя» (1989, № 4), его «Комментарий к общеизвестному», то бишь к тем реалиям «Пушкинского дома», которые, в силу общеизвестности, так полагает романист, постигла судьба обиходной посуды — исчезновение в мусорных контейнерах быстро бегущей, безалаберной, небрежливой нашей жизни...

Битов, правда, употребляет другую метафору:

«Как проваливается все! Близкое ретро, ближайшее... Время скальзывает, как мыло. Ошибка лезет на ошибку. Неточность на неправду».

Битов, не исключая, слегка лукавит: не только возможные неточности в толковании заветнейшего творения беспокоят его. Писано-то в 1989-м — «Пушкинский дом», столь долго пребывавший в тайных бестселлерах и вдруг-разом поблекший в свете новых романских звезд, необходимо было отнимать у забвения, надо было срочно, хотя бы посредством комментирования изъятий и затемнений, — обновить и освежить текст. Однако же и не совсем лукавит! В России и в иные, куда более медленные и осмотрительные времена с долгосрочной — долгой — памятью обстояло неважно, а ныне и короткая отказывает.

Я сегодня не помню, что было вчера,  
По утрам забываю свои вечера.

Для Блока укорачивание памяти — симптом тяжелой душевной нехорошей болезни, для нас, сегодняшних, — прожиточная норма.

Возьмите хотя бы повесть Маканина «Один и одна». Казалось бы, писано на уже отрефлектированном, как бы историческом материале и нужные для понимания этимологии шестидесятых отношения-соображения, приметы-предметы автор самолично приволок со свалки, и приволок, и реставрировал, и со свойственной ему систематичностью расчетливо (так, чтобы и нам, и им было просторно) расставил по пространству повествования.

Больше того, А. Битов, уверяя, что разъясняет о б щ е и з в е с т н о е, на само-то деле комментирует практически все, что по тем или иным причинам осталось и за текстом, и в подтексте «Пушкинского дома». Маканин же действительно имеет дело лишь с о б щ и м в с е м, точнее с тем, что в годы молодости его героев было общеизвестным, общеупот-



ребительным. И что же? Прошло несколько лет (первопубликация: «Октябрь», 1987, № 2) и выяснилось: предложенная им расстановка вновь нуждается в реконструкции, то есть в комментировании. Я имею в виду, разумеется, не сюжет и не отдельные «экспонаты» музейной «экспозиции», а предмет авторского исследования — те баснословные года, которые мы, весьма условно, называем ш е с т и д е с я т ы м и, хотя начались они немного раньше и кончились чуть позже.

По всем показателям — ближайшее ретро: то прошлое, что, к досаде «новых русских», продолжается в настоящем, а между тем: «ошибка лезет на ошибку»...

Скрывать не стану: и мой интерес к жанру Комментария профессионально не бескорыстен, критика, как и вся наша словесность, пустилась в п о и с к и ж а н р а... Вот и подумалось: а не заменит ли Комментарий порядком наскучившую (даже самым верным читателям критики) т. н. проблемную статью? Не спорю — чуткую к тонкостям «идейного содержания», поднаторевшую в быстром чтении и говорении выводами и при этом, увы, безнадежно глухую к слову, причем не только к его, слова, художественному окрасу, но и его смысловой генетике — к узловому перезвону значений.

Напомню коротко сюжетный расклад.

Хотя герой-повествователь (в прошлом — технарь, а ныне — преуспевающий литератор) и утверждает, что у него на нынешний день — «переизбыток» судебных, психологический, так сказать, «перебор», тем не менее он и в этом переборе-избытке наметил два достойных самого прилежного слежения за типом — лица.

Нумер первый: Геннадий Павлович Голощек (Г. П. Г.) — в авторской картотеке значится как О д и н.

Нумер второй: Нинель Николаевна (Н. Н.) (по картотечному «шифру» О д н а).

И с Одним, и с Одной Игорь Петрович (имя охотника за типами) был некогда вроде как легкокасательно — то ли шапочно, то ли заглазно — знаком. Затем — лет этак через тридцать! — жизнь свела их заново, и, приглядевшись к старым новым знакомым, литератор сообразил: случай, этот величайший романист мира, подбросил ему сюжетец для маленького романа\*. На первый взгляд, романа о том, как один молодой, слегка за пятьдесят, мужчина и одна, тоже уже немолодая, сорока с лишним, женщина, вроде бы подходящая пара, так и не расстались с дорогим своим одиночеством. Но это — внешний, поверхностный срез и событий, и значений вынесенной в название словесной фигуральности; куда важнее другой смысловой оттенок: к а к о й - н и - б у д ь в р я д у с х о д н ы х, о д н а) и з п о д о б н ы х. Подразумевается также, что лингвистическая память читателя окружает и это значение еще и некоторым числом сопутствующих, дополнительных: о д и н в п о л е н е в о и н; о с т а т ь с я о д и н н а о д и н (то есть с глазу на глаз, без посредников и помощников), а также: о д н о к о д н о м у.

Н. Н. и Г. П. Г. гордятся тем, что их первая молодость совпала с разгаром «хрущевской весны», тем, что в начале жизни их было много («выводок»). Наступившая после прихода к власти Брежнева «зима» разрознила, разлучила, разбросала свободную общность, скрепленную лишь молодым энтузиазмом. Оставшись один на один со своими жизненными, существенными проблемами, «птенцы гнезда» Хрущева утратили реформаторский пыл, внутренне не смирившись с обстоятельствами, впали в апатию, бездействие, оправдываясь тем, что о д и н в п о л е н е в о и н. Их жизнь, утратив смысл и цель, быстро катится под уклон,

\* Вл. Маканин назвал свое сочинение повестью, но, по существу, это скорее «конспект» романа или — маленький роман, если употребить термин, принятый в эстонской беллетристике.

идет на ущерб, неудача следует за неудачей, невезение цепляется за невезение: одно к одному...

В смысловой круг названия «Один и одна» входят и такие однокоренные слова, как одиночествовать (жить одному, не женившись, не выйдя замуж) и одиночиться — дичиться, прятаться от людей.

Чтобы понять, почему герой и героиня Маканина так болезненно переносят одиночество, так драматично воспринимают разлучение с «выводком», необходимо вспомнить некоторые реалии «сезона» их юности.

Дети XX съезда, как и их отцы, очень любили слово «Мы», однако вкладывали в него совсем не прежний, а свой, новый смысл. На языке их криптограмм «Мы» читалось и понималось как *п о к о л е н и е*. Вот что писал С. Чупринин, анализируя поэзию конца 50-х — начала 60-х гг.: «Неповторимость человеческих индивидуальностей, прелесть оттенков, проблемы личной судьбы — все стусебалось, растворилось в единой теме Поколения (непременно с заглавной буквы), сходило на нет перед гордым: «Мы, как Время, настаем» (А. Вознесенский). «Мы» клялись, в него верили как в реальную социальную силу».

Стоит обратить внимание на любовную коллизию молодого Г. П. Г. Она крайне показательна для молодежных отношений той поры: «В вузе Геннадия Голощекова обожала группа студенток младшего курса; стайка, как говорил он. Он их, в общем, не различал. Он лишь находился в поле этой постоянной любви-обожания».

Неумение мужчины угадать в стайке юных студенток *свою* женщину свидетельствует в данном случае не только о том, что Г. П. Г., как истинный герой своего времени, не различает «прелести оттенков», но и о том, что сбившиеся в стайку девушки лишены резко выраженной индивидуальности. У них как бы *одно* на всех, общее выражение и лица, и души.

Радость принадлежности к стае, дух легкости и полета очень точно выражен в стихотворении Беллы Ахмадулиной 1958 года:

В тот месяц май, в тот месяц май  
во мне была такая легкость  
и, расстилаясь над землей,  
влекла меня погоды летность.  
Я так щедра была, щедра  
в счастливом предвкушенье пенья,  
и с легкомыслием щегла  
я окунала в воздух перья.

«Веселились в огромном и размазеванном подвале жилого дома». Подвал — нижнее жилье, отчасти врытое в землю. В советское время такие помещения стали называть полуподвалами. Слово «подвал» употребляется также в значении погреб, подполье, подпол (самый примитивный вариант погреба — земляная яма под полом в бедной крестьянской избе).

Изображенный Маканиным подвал фактически полуподвал с половинными окнами.

Придя к власти, Н. С. Хрущев развернул массовое строительство дешевых жилых домов, без чердаков, подвалов и лифтов. В Москве первыми новоселами «хрущоб» стали обитатели нулевых, полуподвальных этажей в огромных «доходных» домах, построенных в конце XIX — начале XX в.

Освободившиеся помещения — их признали наконец «нежилыми» — передавались организациям под конторы, а также Художественному фонду на арендных началах под живописные и скульптурные мастерские. Однако в большинстве случаев рядовым членам МОСХа доставались лишь помещения без света, т. е. буквально подвалы, сырые и мрачные подземелья. В одном из таких настоящих, нежилых в прямом смысле, помещений с 1957 г. до самой смерти (1986) работал скульптор Вадим

Сидур, ныне знаменитый, а при жизни гонимый и отверженный. Любительский видеофильм, который его друзья изредка показывают в только что открытом музее Сидура, называется «Воспоминание о подвале».

Подразумевая, держа в уме как точку отсчета именно такой подвал, Маканин, изображая мастерскую преуспевающего конформиста, всячески подчеркивает, что этот подвал — не настоящий. Создателю гипсовых «шедевров» полузаконно предоставили как якобы подвальное огромное помещение: целую анфиладу полуподвальных квартир.

Нужно учесть и еще вот какой момент. Оформленное в соответствующих арендных документах как подвальное, помещение стоило гораздо дешевле, чем специализированная мастерская; кроме того, в таких случаях не ограничивался размер занимаемой арендатором площади. Обычно этими привилегиями (незаконными) пользовалась не художественная элита, а дельцы от искусства рангом помельче, ловкачи и ремесленники.

Кроме того, слово подполье к концу XIX в. приобрело не отмеченное у В. Даля переносное значение: деятельность в тайне от властей. Отсюда выражение: уйти в подполье, то есть перейти на нелегальное положение. Этот смысловой оттенок также учтен Маканиным. После посещения Н. С. Хрущевым художественной выставки в Манеже, где впервые после смерти Сталина было широко представлено современное левое искусство, 1 декабря 1962 г. и последовавшего за этим посещением осуждения авангардизма нонконформисты ушли из полуподполья в подполье, резко и окончательно размежевавшись с обитателями «верхних этажей» культурсоциума, где бы ни располагались их мастерские — в специализированных апартаментах с верхним светом или в огромных якобы подвалах.

«Нет ли где винной раздачи?»

Раздача — стойка в уличной дешевой пивной, так называемой «забегаловке», где раздают кружки с разливным, бочковым, а не бутылочным пивом. (В одном из современных романов есть такая сценка: «Счастливы, прорвавшиеся к раздаче, брали кружки подносами, враз по тридцать, сорок штук, с боков им деньги совали, кому кружку, кому две».)

Константин Даев, с которым Г. П. Г. знакомится в вышеописанном «подвале» и которого Маканин представил нам как героя «уличной новеллы», то есть человека, чувствующего себя в толчее городской улицы как рыба в воде, попав на вечеринку к преуспевающему скульптору, мигом понял: и на этом празднике искусств царит дух улицы. Его хваткий и хищный ум сразу сообразил, что в размалеванном подвале должна иметься дополнительная раздача спиртного — для тех, кто, как Даев, привык сам брать то, что ему нравится, не довольствуясь тем, что предложено.

«Публика, которую он зазвал и собрал, вполне соответствовала» — конструкция, требующая дополнения в дательном падеже (соответствовала чему? происходящему? вкусам и интересам младшего брата хозяина мастерской? атмосфере вечеринки? и т. д. и т. п.).

Маканин употребляет усеченную форму. На слух Г. П. Г., человека рафинированной книжной культуры («вместилище не востребованных временем интеллигентных ценностей» — по определению автора), данный речевой оборот звучит вульгарно, как и любое слово из словаря УЛИЦЫ, на которой главный персонаж повести, в силу мягкости и интеллигентности, чувствует себя «малоприспособленным».

Однако и поведение Г. П. Г. на вечеринке в размалеванном подвале, и его дальнейшие отношения с К. Даевым и людьми «его группы» свидетельствуют, что вульгарный мир хватких и цепких людей одновременно и отталкивает, и притягивает (соблазняет) нашего героя. Вот

тут-то и пролегает граница между Г. П. Г. и Н. Н. В отличие от соседа по поколению героиня в своем неприятии прагматичного, пошлого и вульгарного, а значит, по ее представлению, слишком современного, нестигаема, то есть бескомпромиссна.

Н. Н., защищаясь от одиночества, придумывает идеального мужчину, тогда как Г. П. Г. всерьез мечтает жениться на простой (с улицы!) женщине — официантке, продавщице. Он надеется, что с помощью такого неравного брака сможет стать своим в грубом, но живом и жизнеспособном мире, в том мире, где «царствует Даев». Однако УЛИЦА так и не признала в Г. П. Г. своего и в финале жестоко наказала за попытку приблизиться к чужой плотной компании. Незнакомые парни, мигом угадав в Г. П. Г. чужака, который, по непонятным им причинам, вздумал пробраться на чужую территорию, выбрасывают Г. П. Г. из вагона пригородной электрички на полном ходу.

Электричка — по Маканину, в системе его образных формул — продолжение улицы, одна из ее ипостасей (та же улица, только на колесах). Это уподобление отражает реальную жизненную ситуацию. Пригороды Москвы ежедневно доставляют в столицу более миллиона полумосквичей-полупровинциалов. Как и законные москвичи, пригородные работники на московских предприятиях, однако не имели московской прописки и вытекающих отсюда жизненных благ (городская, с удобствами квартира, медицинское обслуживание и т. д.). Отсюда антагонизм, вражда, драки на станциях и в электричках. Жители Подмосковья считают пригородные электропоезда как бы своим транспортом. Особенно часты конфликты в ночные часы, когда в полупустых вагонах отчетливо видно, кто есть кто, и отличить своего от чужого крайне просто: по одежде, обуви, выражению лица, манере поведения и т. д.

«Мы общались просто, как в театре».

«Все потонуло в текучести, в жизни».

Маканин убежден: даже во времена бессобытийные, когда суэта имитирует движение и по видимости ничего существенного, судьбоносного не происходит, а подданные «застоя» просто существуют, не как хотят, а как могут, жизнь, то есть «текучесть», все равно сложнее, чем ее отражение в искусстве, особенно в театре, где степень условности выше, чем в прозе или поэзии. Такой — театрализованный — способ общения предполагает сознательную адаптацию и чувств, и мыслей, а также приспособление поведенческих реакций и поступков под набор стереотипов или ампула.

Текучесть — слово, введенное в литературный язык Л. Толстым. В его «Дневнике» за 1889 г. есть такая запись: «Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором бы высказать текучесть человека, что он один и тот же — то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильное существо».

У Маканина, как правило, текучестью обладает не отдельный человек, а сама жизнь; персонажи, напротив, наделены крайне высокой социально-ролевой определенностью, что очень заметно, например, в «Антилидере». Но и тогда, когда (в повести «Один и одна») Маканин, казалось бы, анатомирует «изломы» искаженной одиночеством психики и в мужском, и женском варианте, его куда больше интересует тип «серединного человека», настроения, ассоциации, мотивы, из которых складывается облик (портрет) смутного тридцатилетия (от Хрущева до Горбачева).

В зависимости от того, какая из вышеназванных тенденций преобладает, произведения Маканина делятся на две группы. Одну группу составляют те повести и рассказы, где автор исследует общественное состояние, общий облик эпохи, где главным героем является текучесть жизни: «Голоса», «Река с быстрым течением», «Голубое и красное», «Где сходилось небо с холмами», «Утрата».

Группу вторую образуют повести и рассказы, в которых Маканин вылавливает из «реки времени» один или два противоположных, контрастных типа, сосредоточивая аналитические усилия («слежение за типом») на определении его социального лика или роли. На то, что установка на определенность выражает авторское намерение, указывают и названия таких вещей: «Антилидер», «Гражданин убегающий», «Отставший», «Предтеча», «Человек свиты» и т. д.

«Ему, хищному, было сейчас важно как-то скрепить группу, придать ей устойчивость...» И далее: «На выходе, в толчее, Деев также не позволял никому к ним прибиться, ни им самим раствориться в какой-нибудь большой компании, нас четверо, мы сами вполне компания, и, заметьте, плотная компания — нет, лишних не надо».

Константин Даев, человек из поколения тридцатипятилетних, практичный и хваткий, подходит к формированию даже временного, на вечер, сообщества с позиций жесткой корпоративности. Ему нужна устойчивая группа, плотная, маленькая компания, к которой, в силу ее плотности, не сможет прибиться ни один посторонний. Очень важен и такой смысловой момент. Обычно говорят: третий лишний, полагая, что там, где уже есть потенциальная любовная пара (мужчина и женщина), третьему делать нечего. В сколоченной Даевым группе — двое мужчин и две молодые женщины, то есть, согласно неписаным правилам традиционной этики, — переизбыток «лишних». Но это не смущает Даева. Для деловых людей его типа — хищников — любовная интрижка — тоже дело (дельце), которое легче и проще обделать сообщая, в узкой компании. В плотной компании Даева Г. П. Г. чувствует себя неловко, и не только из-за личных брезгливостей. Любая общность образца 50-х, 60-х гг. была объединением стихийным и открытым; к такой «стае», к такому «рою» мог свободно, без помех прибиться (пристать) любой жаждущий общения. Поэтому и лидерство в тогдашних больших и неустойчивых компаниях не предполагало в вожаке ни воли к власти, ни четкой программы, а текучий, неустойчивый, непрерывно меняющийся состав «стаи» делал невозможными прочные связи между его членами.

Следующие «за хрущевскими» десятилетия выработали у молодежи недоверие к подобным, слишком открытым и чересчур неопределенным, не гарантирующим социальную защиту объединениям. На смену «стае» пришли «плотные» закрытые общества, объединенные по признаку взаимовыручки. Слово «друг», имеющее в виду и доброжелательство, и братство, и взаимную приязнь, и согласие, стало употребляться в значении «знакомый». См. у Маканина: «Я хочу к твоей знакомой... У тебя есть знакомые?»

«Он выступал много, говорил красиво и более солидными людьми (отчасти из ревности) был даже прозван Хворостенковым».

Красно — в данном случае: красноречиво, красиво, но и (отчасти) — революционно.

Хворостенков — от хворост: тонкие сухие сучья, быстро прогорающие в печи; дают легкое, яркое пламя, но зато очень мало тепла; хворостом называют также мелкий слабый кустарник, вырастающий на лесных вырубках и пожарах.

Чтобы оценить меткость прозвища, надо иметь в виду и такую подробность. Молодым либералам начала 60-х годов «Административная Система» ходу не дала; этой поросли (подлеску) в лес вырасти не позволили. На эти-то обстоятельства и намекает вторая фамилия героя — Хворостенков, так как, кроме широко известной пословицы «Плетью обуха (тыльная, тупая часть топора) не перешибешь», существ-

вует и редкая: «Хворостиной (тонкий гибкий прут из ветки молодого дерева) обуха не надсадишь», то есть вырубка хрущевского мелкоколосья для административного (брежневского) топора оказалась легкой, не потребовавшей особых усилий, работой.

Хворостилой (драчуном) в народе называют также молодого парня, который любит затевать драки, но не серьезные, когда дело не ограничивается кулаками и доходит до топора и ножа, а театрализованное: чтобы и себя показать — вот, мол, какой молодец, — и людей потешить (позабавить).

«Стоял зеленый шум».

Цитата из знаменитого стихотворения Н. А. Некрасова «Зеленый Шум» (1862). При публикации поэт сделал примечание: «Так народ называет пробуждение природы весной». По содержанию стихотворение — любовное. Обманутый муж, замысливший убийство неверной жены, размягченный «зеленым шумом», отказывается от злого умысла. Однако при своем появлении, совпавшем с отменой крепостного права (1861), с надеждами на социальное и духовное обновление, на пробуждение России, оно было воспринято гораздо шире — как весть о наступлении нового широкого, весеннего времени:

Шумит тростинка малая,  
Шумит высокий клен...  
Шумят они по-новому,  
По-новому, весеннему...  
Идет-гудет Зеленый Шум,  
Зеленый Шум, весенний шум!

Судя по заглавным буквам — Зеленый Шум, второй, расширенный смысл входил в авторское намерение.

«Я моложе Геннадия Павловича на десять с лишним лет, я, как он выражается, из следующих».

От «следовать» (за кем-то), то есть из другого, следующего поколения. Кроме естественного, годного на все времена закона: десять лет — это тот предельный срок, который, силою вещей, судьба отводит на долю каждого поколения, Маканин имеет в виду и момент социальной несовместимости: идущие следом следуют, не наследуя. От того же корня, из того же смыслового гнезда слово «бесследность»: «Вздых неотцовства, бесследности на земле».

Откровенно рифмуясь с «бесплодностью», бесследность отсылает нас к знаменитому стихотворению Лермонтова «Дума» (1839), где впервые была осмыслена проблема отлученного от времени поколения:

Толпой угрюмою и скоро позабытой  
Над миром мы пройдем без шума и следа,  
Не бросивши векам ни мысли плодovitой,  
Ни гением начатого труда.

По мысли Маканина, время (хрущевская весна, оттепель) слишком резко переломилось, и дети XX съезда, негибкие и слишком прямолинейные, сломались вместе со своим временем. Отсюда и разлад с идущими следом. Столь резкую смену и жизненных установок, и социальных идей русская литература зафиксировала еще только дважды: в середине XIX в. (И. Тургенев, «Отцы и дети») и в самом начале XX в. (А. Чехов, «Вишневый сад»). И в том, и в другом случае люди дела (Базаров, Лопухин) сменили людей слова.

«Как ловко, умно заткнули ей рот двухкомнатной квартирой».

Даже во времена массового строительства двухкомнатная квартира представлялась семье из трех человек. Н. Н. в лучшем случае могла претендовать на однокомнатную. Однако в домах типа «хрущоба» квартир «для малосемейных» было очень мало. И если бы сослу-

живцы Н. Н. действовали строго по закону, им бы пришлось терпеть Н. Н. еще добрый десяток лет.

«Да, да, Игорь, именно в чтении я восстанавливаю связь с моей юностью — каким образом? а очень просто — слова, слова, слова...»

Цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет, принц Датский». Очень важно вспомнить эпизод, из которого вырвана цитата. Полоний спрашивает у имитирующего сумасшествие Гамлета, что тот читает. Далее следует такой диалог:

**Гамлет**

Слова, слова, слова.

**Полоний**

И что говорится, принц?

.....

**Гамлет**

Клевета, сударь мой; потому что этот сатирический плут говорит здесь, что у старых людей седые бороды, что лица их сморщенны... и что у них полнейшее отсутствие ума и крайне слабые поджилки; всему этому, сударь мой, я хоть и верю... однако же считаю непристойностью взять это и написать; потому что и сами вы, сударь, были бы так же стары, как я, если бы могли, подобно раку, идти задом наперед.

**Полоний** (в сторону)

Хотя это и безумие, но в нем есть последовательность. — Не хотите ли уйти из этого воздуха, принц?

**Гамлет**

В могилу.

**Полоний**

Действительно, это значило бы уйти из этого воздуха.

Г. П. Г., раздумывая о причинах своей преждевременной старости, а также о том, что новые хваткие люди — плуты, не стесняясь говорит вслух о том, что он — бывший, что у него «полное отсутствие ума и крайне слабые поджилки», мучительно ищет выход из драматической жизненной ситуации. Но выхода, реального, нет. Точнее, есть два выхода: уйти из этого воздуха совсем («в могилу») или пятиться — подобно раку — назад, в счастливые времена юности, восстанавливая распавшуюся связь времен в воображении с помощью слов.

«Рвет связи с углами и нишами, с душой зеркала, с рослостью шкафа и с иной придуманной нелюдью — она рвет с одиночеством».

Нелюдь — дурной народ, живущие не по-людски, не так, как полагается честным и добрым людям.

В данном случае употреблено в ином, авторском значении. В своем одиночестве Н. Н. разговаривает не с людьми, а с нелюдью, то есть с вещами и даже углами и нишами своей квартиры, одушевляя их. И они как бы отвечают ей. Но как только появляется некто чужой, Н. Н., опасаясь, что пришедший подумает, будто она сходит с ума, разрывает связи с предметами ее очага.

Важно угадать, что у этого эпизода есть и другие дополнительные смыслы. Героиня, в молодости страстная театралка, и теперь, уже остыв к театру, не забыла, оказывается, любимые спектакли своей юности. Она общается с душой зеркала точно так же, как персонажи знаменитой сказки бельгийского символиста М. Метерлинка «Синяя птица» (одна из популярнейших постановок МХАТа) играют с душами вещей. А «рослость шкафа» вводит в мир ностальгических воспоминаний Н. Н. еще один спектакль того же театра — «Вишневый сад» А. Чехова, в частности, монолог Гаева, обращенный к «мноغوважаемому шкафу». Необходимо также иметь в виду, что Метерлинк и Чехов — не просто популярные драматурги. Через отношение к их творчеству

деятели русской культуры «серебряного века» определяли свою позицию. А. Блок писал еще в 1909 г., сравнивая Метерлинка в год его славы и Чехова: «Я не досидел Метерлинка... К «Ревизору» продирался все-таки сквозь полувекую толщу, а Чехова принял всего, как он есть, в пантеон души своей и разделил его слезы, печаль и унижение... Несчастны мы все, что наша родная земля приготовила нам такую почву — для злобы и ссоры друг с другом. Все живем за китайскими стенами, полупрезирая друг друга, а единственный общий наш враг — российская государственность, церковность, кабаки, казна и чиновники — не показывают своего лица, а натравливают нас друг на друга».

Издание, из которого извлечена цитата, — Александр Блок, Сочинения в двух томах — появилось в 1955 г. и сразу же стало благодаря своему огромному тиражу (150 000 экз.) настольной книгой, поэтической «библией» всех любителей российской поэзии. К числу таких любителей относит себя и героя Маканина.

«В нашем выводе все театралы, воспитанные и на академизме, и на первом взлете того «Современника»...»

Выводок — целое гнездо, семья животных или птиц, пока они еще держатся вместе, старые и молодые. У Маканина в значении: поколение. Однако есть и еще один, как бы тайный, подспудный смысловой оттенок, так как глагол «выводить» означает также: изводить, то есть истреблять, уничтожать, переселять насильственно с обжитого места.

«Воспитанные на академизме» — Н. Н. имеет в виду так называемые академические театры (Малый, Художественный), где в годы ее молодости ставилась в основном классика, отечественная и, в меньшей степени, зарубежная.

«... На первом взлете того «Современника» — драматический театр, лидер театрального молодежного движения конца 50-х — начала 60-х годов. Позднее уступил первенство Театру на Таганке. Это совпало с переездом труппы в новое здание, с площади Маяковского на Чистые пруды. Подчеркивая, что помнит взлет того, самого популярного в годы оттепели «Современника», Н. Н. хочет сказать, что принадлежит к числу просвещенных театралов, разбирающихся в тонкостях театрального дела, или, как иронизирует Маканин, имитируя старинный слог, «знающих в театре».

«В толчее людей оказался на миг прогал пустоты, незаполненный промежуток, и тут же в этом прогале возник человек из сгустившегося воздуха».

Прогал пустоты — то есть фактически пустота в пустоте. Обычно проза Маканина стремится как к идеалу к сгущенности, избегая избыточных, лишних подробностей. Однако в данном случае крайне важны все смысловые оттенки. Жизнь Н. Н. — пуста, а так как природа не выносит пустоты, то героиня старается заполнить образовавшийся прогал (зияние, пробину) созданиями своей мечты: она грезит, спит наяву.

К фантазиям приятельницы герой-повествователь (Игорь Петрович) относится хотя и с иронией, но и сочувственно. Сам Маканин занимает в этом вопросе более жесткую позицию. По его убеждению, экзальтированная мечтательность Н. Н. свидетельствует об отсутствии деятельных интересов, обличая поверхностный и даже ленивый ум, который, не перенося серьезной работы, сам себя развлекает обманами.

Однако есть в авторском отношении к Н. Н. и еще один важный момент; он также зафиксирован в слове «прогал», ибо, кроме уже отмеченного значения (пустое место), у него есть и такое: полынья во льду, в которую можно провалиться, оступившись. А с другой стороны, прогал и ть означает еще и открыть, дать проникнуть свету. Это тол-



кование также подразумевается в тексте. Н. Н. пусть безуспешно, но стойко, «несгибаемо» пытается сохранить в своей душе хотя бы прогалинку, то есть чистое, свободное от суеты и меркантильных забот свободное пространство.

«Вы слишком себя приспособили».

Пример сжатой, «телеграфной» конструкции: отсутствует дополнение (приспособили к чему?), поскольку из контекста ясно: речь идет о привыкании к нравственному климату застойного времени. Для Н. Н. способность человека притерпеться к такому порядку вещей, с которым он внутренне не согласен, — свойство резко отрицательное. И в этом отношении героиня повести — создание сезона своей юности. Во второй половине 50-х — в начале 60-х гг. слова приспособление, приспособленец имели однозначно уничижительный смысл.

И. П. (повествователь) принадлежит к птенцам иного выводка. Начавшие действовать уже при Брежневе, люди его поколения скоро усвоили самое главное правило выживания:

«Мы занимаемся своим профессиональным ремеслом, достаточно хлебным, то есть выгодным. Думаем — что хотим. Действует — применительно к обстоятельствам и исходя из собственной, пусть малой, но пользы. А вот высказываем лишь то, что можно высказать».

Шире, чем его персонажи, смотрит на этот вопрос и Маканин. Для него негибкость Н. Н. и Г. П. Г. — доказательство их недостаточной жизнеспособности (витальности). Есть знаменитый стих Н. Гумилева — «Чтоб душа старела и росла». Смысл его примерно таков: человек, чтобы вырасти, должен стареть. Герой и героиня, старея телом, не стареют душой. В свои за пятьдесят Один — все еще бывший молодой человек, Одна — хотя и ей под пятьдесят — старая девочка. Тут уместно напомнить еще и строфу из «Евгения Онегина», которая существует в сознании русского культурного человека как образ правильной развития личности, как идеальная (естественная) норма:

Блажен, кто смолоду был молод,  
Блажен, кто вовремя созрел,  
Кто постепенно жизни холод  
С летами вытерпеть умел...

И Н. Н. и Г. П. Г. соответствуют лишь первому условию этого как бы «теста». Смолоду они были ослепительно молоды. А вот созреть не успели. Слишком скоротечной была «хрущевская весна». А дозреть в одиночестве, в подвале (подполье) не смогли, ибо не годились, как говорят в народе по летние сорта яблок, — в лежку. Отсюда и сравнение: он (то есть Г. П. Г.) «был сродни раннему белому наливу, яркому и солнечному плоду, который так скоро отходит, уступая место всем последующим яблокам вплоть до осени».

Именно поэтому и Н. Н. и Г. П. Г. не могут и не хотят приспособляться, постепенно привыкать к похолоданию, оледенению жизни, которые, по Пушкину, неизбежно наступают с годами. Символично в этом плане хобби Н. Н.: она непрерывно вяжет теплые вещи: «То свитер. То шапочку. То кофту на холода». В этом тоже выражается ее незрелость, недозрелость. Для защиты от холода жизни вместо того, чтобы заставить свою душу трудиться и согреваться трудом души, она мастерит теплые вещи. Дара согревать душевным теплом у нее нет. Она может любить выдуманного седого мужчину, а реальный Г. П. Г. со своими бедами и недостатками оставляет Н. Н. холодной и равнодушной.

«Пятигорск сразу лег на сердце...»

Пятигорск — маленький курортный городок на Северном Кавказе, был в моде в 20—40-х гг. XIX в. Здесь в 1841 г. погиб на дуэли М. Лермонтов. Бегство от современности в золотой век русской культуры было в годы застоя родом внутренней оппозиции. Героиня Мака-

нина — не исключение. Эта деталь крайне важна для понимания характера героини. Она свидетельствует и о высоком, не-бытовом настроении души, и о ее незрелости, так как Лермонтов, по традиции, считается автором для юных. Владимир Набоков в Предисловии к своему переводу «Героя нашего времени» на английский язык, к примеру, утверждал, что Лермонтов «особенно привлекателен для молодежи», и когда им восхищаются люди зрелого возраста, это, по мысли Набокова, не более чем приятные воспоминания о их собственном отрочестве и ранней юности, когда они в летних провинциальных сумерках зачитывались романом, отождествляя себя с его главным героем — Григорием Печориным, сосланным на Кавказ офицером, участником кавказской войны.

Нечто подобное происходит и с Н. Н. Уже немолодая женщина, словно молоденькая провинциальная барышня, она воображает себя героиней старинного романа и так увлекается, что мужчина ее мечты — в форме офицера русской армии времен кавказской войны — является ей наяву — «в ста шагах, как бы в мареве».

«Он бормотал какое-то последнее слово, похожее по звукам на видиняет, непонятное ни врачу, ни мнере».

Для прозы Маканина характерна точность мысли, даже некоторая математичность. При этом мы постоянно ощущаем в его вещах невидимое присутствие тайны, таинственного, неподвластного ни интеллекту, ни разуму. Маканин осторожно, но настойчиво приближается к источнику таинственного, педантично отмечает загадочные позывные. Порой даже указывает место, где, по его угадке, находится ключ к непонятному и непонятому. Однако сам этим ключом не пользуется, убежденный, что важнее передать «ощущение общечеловеческой тайны, которое и не надо разгадывать до конца».

Оставляет писатель неразгаданным и непонятное слово *видиняет*.

Это слово, по сценарию судьбы Г. П. Г., сочиненного И. П., якобы произносит перед смертью сбитый машиной главный герой. Разумеется, это литературный прием, и цель его дать читателю возможность поломать голову над загадкой.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, нужно вслушаться в звуки слова «видиняет», расслышать в нем ключевой глагол: *видинеть*, то есть постепенно становиться виднее, яснее для глаз. Виднеет (неясно, но видится) обычно либо в отдалении, либо в потемках. Тут надо вспомнить о том, что символический образ ночи, в которой люди теряют и находят друг друга, — один из самых многозначных в повести Маканина. «Этот — туда. Другой — сюда. А третий и вовсе куда-то. Ищут своих, ночь, зари еще нет».

Короче, если объединить предполагаемые составляющие и вывести гипотетическую равнодействующую, вероятнее предположить, что в предсмертном бреде Г. П. Г. кажется, будто долгожданная *заря* наступает (рассветает, и в новом, рассветном, освещении виднеет прежде неразличимое). Но это только предположение, точная расшифровка лингвистической «криптограммы» не входит в намерение автора.

«Оно их в нас засвечивает».

От засветить — зажечь для освещения, обнаружить скрытое, сделать его явным с помощью сконцентрированного в эпицентре поиска — света. В отличие от более употребительного и более современного «осветить» глагол «засветить», в силу своей архаичности, несет в себе элемент торжественности, значительности и даже ритуальности. См., к примеру, у Есенина:

Разбуди меня завтра рано,  
Засвети в нашей горнице свет.  
Говорят, что я скоро стану  
Знаменитый русский поэт.

Следует обратить внимание и на такую тонкость. Маканин полагает, что человек инстинктивно провидит свое будущее; образ будущего материализуется в тех людях, на которых мы невольно обращаем свое внимание. Во мгле и мраке грядущего предощущение истины освещает их, превращая в вещие знаки, которые в таком сильном магнетическом поле и сами начинают излучать свет (мы — засветили, и они, подтверждая верность наших предчувствий, светятся, сообщая нам наш жребий). Словом, если разматывать цепочку смыслов, то окажется, что в истоке — легенда о вещем предсказании, о судьбе, от которой не уйдешь: «Песнь о вещем Олеге», хрестоматийное стихотворение Пушкина, с которого, по традиции, начинается в русских школах изучение его творчества:

Грядущие годы таятся во мгле;  
Но вижу твой жребий на светлом челе.

«У х они, эти бывшие».

Употребляя эпитет «бывшие», молодые сотрудники Г. П. Г. имеют в виду не только биологическое постарение своего начальника. Согласно пониманию Маканина, эпоха Брежнева—Черненко не просто мирно сменила время Хрущева, произошел скрытый социальный перелом. Отсюда и выражение: э т и б ы в ш и е. Бывшими после революции 1917 года называли отверженных, социально бесправных людей, тех, кто, как поется в «Интернационале», был — «всем», а стал «ничем».

«И уже издали правя от него виноватящейся интонацией голоса, как правят веслом».

Править — прямишь, исправлять. В данном случае глагол «править» обозначает еще и движение от чего-то. И. П., допустив в разговоре с Г. П. Г. оплошность, пытается смягчить неловкость виноватящейся интонацией голоса, т. е. открыто демонстрирует понимание своей если и не вины, то виноватости. Одновременно И. П. ищет удобный повод, чтобы направить разговор в иную сторону, повернув, миновать опасное место; точно так же гребец, правя веслом, отводит лодку от мели или водоворота.

«Исповедание на какой-то миг (как всякое исповедание) становится похожим на спрос».

Исповедание здесь — исповедь: искреннее объяснение своих помыслов и дел, с оттенком покаяния.

Однако у слова «исповедание» есть и еще одно значение: вероисповедание, то есть вера, свод задушевных убеждений (нравственных, политических), и этот смысл также учтен Маканиным.

Исповедуясь И. П. (как духовнику), Н. Н. фактически противопоставляет свою истинную веру — его неистинной, свои праведные убеждения — его неправедным. Она как бы спрашивает с него (требует, взыскует, предъявляет иск) за то, что он приспособился. Таким образом И. П. из духовника превращается в допрашиваемого и даже подсудимого, так как слово «спрос» употребляется еще и в смысле: допрос («Спросные речи»).

«... Не столько в озленности».

Озленность — от злить кого-то, сердить, гневить, бесить, раздражать, выводить из себя.

Не будучи по натуре ни злой (желающей инстинктивно причинить зло другому), ни злобной (исполненной беспричинной злобы), Н. Н. тем не менее подвержена «злым корчам», то есть припадкам раздражения, выдающим ее озлобленность. Героиню, по мысли автора, озлили (обстоятельства, окружающие люди). Не просто на какое-то время вывели из себя, раздражили, даже взбесили, а озлили навсегда. Отсюда и озленность. В словарях данная форма не зафиксирована. Маканин же употребляет ее охотно. См., например, в рассказе «Антилидер»: «... но

в том-то и беда, что чувство озленности нарастало само собой, неуправляемое».

Таким образом зло, в понимании Маканина, губительно не только тем, что творит (множит) злое, но и своей способностью злить, доводить до состояния озленности людей, генетически не злых. Укоренившись в непривычных к злым умыслам натурах, таких, допустим, как главный герой «Антилидера» сантехник Куренков, оно становится неуправляемым и, следовательно, непредсказуемым по своим последствиям. Злой, злобный человек виден сразу; озленный с виду на злодея, как правило, не похож. Но это-то как раз и делает его социально крайне опасным.

«Что она реет, стонет, дурит и сигареткой в тумане горит...»

Цитата из стихотворения А. Вознесенского «Ночной аэропорт в Нью-Йорке». Полностью строфа выглядит так:

Видно, допрыгалась —

Дрянь, аистенок, звезда!

Электроплитками

пляшут под ней города.

Где она реет,

стонет, дурит?

И сигареткой

в тумане горит?

Речь идет не о женщине, а о самолете, американском авиалайнере марки «Каравелла». Стихотворение написано в 1961 году. В ту пору восторженное отношение к техническому прогрессу было характерно не для одного Вознесенского: «физики» были окружены ореолом предпочтения. Борис Слуцкий писал в те годы:

Что-то физики в почете.

Что-то лирики в загоне.

Дело не в сухом расчете.

Дело в мировом законе.

Ситуация была такова, что в «физики» уходили, то есть поступали в технические вузы, даже люди с явно выраженными гуманитарными склонностями. К числу потенциальных «лириков», ставших «технарями», относятся и главные герои повести Маканина «Один и одна».

«О живут единицы, а сколько завяли».

Явно подчеркнутое Маканиным слово е д и н и ц ы в данном контексте означает не только количество (малое), но и качество, что, впрочем, для русского литературного языка традиционно. (См. у Пушкина: «Мы почитаем всех нулями, а единицами себя», а также у Маяковского, который переиначил шутливую пушкинскую формулу «неразумного эгоизма» — соответственно этике вдохновенно-инфантильного коллективизма 20-х гг.: «Единица... ноль... Голос единицы тоньше писка» и т. д.)

Однако вкладывает Маканин в эту емкость (единица, единичность) совсем иной смысл.

И советское общество в целом, а особенно первое послесталинское поколение, к которому формально — по году рождения (1937) — принадлежит и Владимир Маканин, отреагировало на длительное сдавливание инициативы резким снижением творческого потенциала. Но при этом личности сильные (е д и н и ц ы, не равные нулю!) выдержали прессинг и даже использовали давление неблагоприятных обстоятельств (отсутствие свободы) как дополнительный источник энергии, поддерживающей с а м о с т о я н и е.

Интеллектуальный потенциал страны, катастрофически снижаясь на средних уровнях, резко взвинчивался в отдельных — единичных — точках. И вот сейчас даже западные бизнесмены удивляются и крайне

низкой рабочей культуре вообще, и высокому профессионализму штучных, уникальных — единственных в своем роде — специалистов. Тех, кто сам себя сделал.

В числе таких е д и н и ц и автор повести «Один и одна».

**P. S.**

Поздравив лауреата премии Букера за лучший роман года на русском языке, редакция «Нового мира» (№ 12, 1992) с гордостью напомнила (и своим подписчикам, и потенциальным спонсорам), что два из шести претендентов — «Время ночь» Л. Петрушевской и «Лаз» Вл. Маканина — были опубликованы именно в «Новом мире».

В «Согласии» Маканин не печатался, однако гордости «новомировцев» мы не разделяем, потому как считаем: Букера, когда бы судили и присуждали п о п р а в и л а м, должен был получить «Лаз», ибо его автор сделал то, чего не сделал никто: создал энциклопедию русской жизни «от дней войны — до дней свободы». Причем сделал это во времена энциклопедизму противопоказанные — в «век, когда жизнь замерла», и «Лаз», как бы к нему ни относиться, не отдельное — единичное произведение, а своего рода эпилог, последняя ее, энциклопедии, часть.

---

---

А. П. Кузичева  
«ВАШ А. ЧЕХОВ»

(Мелиховская хроника. 1895—1898)

Глава 6

1897

ЯНВАРЬ—МАРТ

Новый, 1897 год начался южным ветром, снегом, небольшой оттепелью и инеем на деревьях. Оборвался он пасмурным днем с туманом и дождем, когда почти растаяла зимняя дорога, в мелиховские пруды обильно бежала вода и скворцы занимали скворешники. Даже по вечерам уже особенно не подмораживало. Таким был день 22 марта, суббота. Чехов послал записку Н. Н. Оболенскому: «Приезжайте, голубчик, сегодня в «Славянский базар» № 40, где остановился Суворин. Я заболел. Ваш А. Чехов».

Во время обеда у Чехова хлынула горлом кровь. Кончилась одна жизнь и началась другая. Календарное летоисчисление оставалось для природы, для домашних, для мелиховского дома, которому хватило нового «счастья» только до марта 1897 года.

С тех пор для многих остается неразрешимым вопрос: можно ли было предотвратить этот день вообще или оттянуть его на несколько лет?

Ответ или путь к ответу таится в зиме 1897 года. И начинается он в письме, написанном в первый день нового года. Чехов отвечал на поздравление Е. М. Шавровой-Юст. Она была в Москве, видимо, надеялась на встречу с Чеховым. В своем послании желала ему здоровья, любви, «безбрежной, безмятежной, нежной» и «200 тысяч дохода в месяц. Уже желать, так желать!»

Он ответил ей пожеланием всего того же и добавил: «А главное, желаю того, что Вы забыли пожелать мне в Вашем письме, — желания жить».

Его жизнь складывалась в это время так: «Я занят, занят по горло: пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю, а тут еще разные «общественские» дела, перепись in spe \*, поездки, пациенты и тьма-тьмущая гостей... Голова кружится!» В трех строках весь образ и суть жизни.

Во всех январских письмах отказ от визитов, от сотрудничества, от поездок в Москву оправдывается одним: занят, занят, занят («Работы много...»; «не пустят дела...»; «у меня много гостей, много разговоров, работать трудно...»; «у меня весь январь перепись...»; «трудно будет уехать...»).

В жизни Чехова есть какие-то особые времена (дни, недели, месяцы), необъяснимые, кажется, ни с какой точки зрения. Зима 1897 года из таких периодов. Почему он не отказывал Голяшкину и, в сущности, за него руководил переписью в окрестных деревнях? Отчего умные, де-

\* В замысле, в проекте (лат.).

Продолжение. Начало см. «Согласие» № 6-7, 8-9, 10-11, 12, 1992; № 1, 2, 1993.

ликатные друзья, врачи, заинтересованные в издании журнала «Хирургия», стесняются адресоваться к издателю И. Д. Сытину, с которым Чехов уже все обговорил, но просят Чехова переговорить еще раз? Отчего в дневнике П. Е. Чехов упомянет о своем недомогании, о нездоровье Е. Я. Чеховой, но болезнь сына не замечена?

Видимо, Чехов, переменяясь, делал вид, что здоров, хотя грипповал тяжелее всех. Простуженный, он переписывает 11 января крестьян деревни Бершово. Одно из впечатлений этого трудного дня он описывает так: «С утра хожу по избам, с непривычки стучаюсь головой о притолоки, и как нарочно голова трещит адски; и мигрень, и инфлуэнца. В одной избе девочка 9 лет, приемышек из воспитательного дома, горько заплакала оттого, что всех девочек в избе называют Михайловнами, а ее, по крестному, Львовной. Я сказал: «Называйся Михайловной». Все очень обрадовались и стали благодарить меня. Это называется приобретать друзей богатством неправедным».

12 января Чехов переписывает население села Мелихова, но не успевает и продолжает назавтра. Ему, конечно, не в диковинку то, что он видит в крестьянских избах, что видел в тесных помещениях для фабричных рабочих. Но, видимо, работа в эти дни над повестью «Мужики» держала Чехова в настроении, которое прорывается в отклике на известие о чуме в Индии: «Если придет, то едва ли напугает очень, так как и население, и врачи давно уже привыкли к форсированной смертности, благодаря дифтериту, тифам и проч. Ведь и без чумы у нас из 1000 доживает до 5-летнего возраста едва 400, и в деревнях, и в городах на фабриках и задних улицах не найдете ни одной здоровой женщины».

В эти дни Чехов читал корректуру повести «Палата № 6» для отдельного издания и пьесу «Дядя Ваня» для сборника пьес. На столе лежала рукопись «Мужиков». Три произведения, видимо, невольно и случайно объединившись в сознании Чехова, определяли его душевное состояние. А нездоровье, уже несколько раз за последнее время угнетавшее Чехова, усиливало этот настрой души.

17 января Чехову исполнилось 37 лет. Приехала сестра, заглянули по делам Голяшкин и Семенович. К обеду пришли отец Николай и псаломщик Иван Николаевич Даниловский. А наутро опять перепись, перепись...

В Чехове, судя по некоторым, не очень заметным признакам, нарастает какое-то недовольство. В его речи прорывается слово, которое как бы разрывает своей резкостью обыкновенный, установившийся к 30-ти годам наружно спокойный стиль. Это слово — подохнуть. Он редко прибегал к нему. Лишь в состоянии предельно скрываемого отчаяния. Так, весной 1889 года, в нелюбимом им марте, он сказал Леонтьеву (Щеглову): «Погодите, через 3—4 года я дам Вам пять тысяч. У меня уже есть 1 1/2 тысячи, а через 3—4 года я постараюсь иметь в 10 раз больше, если не подохну от тифа или чахотки».

В январе 1895 года Чехов говорил Суворину, что ему нужно для здоровья уехать бы куда-нибудь надолго, иначе он издохнет. 23 января 1897 года Чехов, передавая Н. М. Ежову свои впечатления о жизни московской гольтыбы, пишет: «В городских больницах в Москве лечится, главным образом, голь, которая, выписавшись, заболевает вновь и погибает, так как не имеют одежды, достаточно не дырявой, чтобы можно было жить на морозе и в сырости. Ослабленные болезнью дети и выпущенные из больниц дохнут по той же причине. Отсюда: необходимы благотворительные учреждения при больницах — общества, ясли и проч.»

Во всех трех случаях ситуация, хотя речь идет о разном, в сущности одинакова: Чехов понимает безвыходность положения, но не может не говорить о каком-то выходе из него. Ясно, что никогда у него не

будет много денег, что никогда он не сможет бросить семью, что судьбу всех нищих не изменить частной благотворительностью. Но даже в таких условиях он хочет что-то делать: утешить приятеля и себя надеждой; все-таки совместить свою семейную жизнь и творчество; не всем, но хотя бы кому-то помочь реальным делом. Однако ощущение неуклонного, общего, от него не зависящего течения: и русской жизни вообще, и его собственной — как трагического течения, кажется, вдруг на секунду открывается в этом резком откровенном слове.

Это ощущение трагического хода жизни было неясно многим читателям Чехова. Скабичевский теперь уже не писал, что Чехова может настичь смерть под забором, но осуждал, как ему казалось, любимый чеховский тип: человека нравственно больного, надломленного, психопатического. В статье «Больные герои большой литературы», опубликованной в январе 1897 года, он удивлялся герою рассказа «Дом с мезонином». Почему он не бросился искать Мисюсю: «Ведь Пензенская губерния не за океаном, а там, вдали от Лиды, он беспрепятственно мог бы сочетаться с Женей узами брака (. . .) В лице героя перед нами с головы до ног чистопробный психопат и к тому же эротоман». Через несколько лет так же будут недоумевать зрители «Трех сестер»: почему сестры Прозоровы не купят билеты и не уедут в Москву, куда так стремятся.

Чеховское глубинное ощущение жизни воспринималось некоторыми читателями как болезнь, как отступление от общепринятой нормы. Наверно, так же порою думали о самом Чехове и окружающие его люди.

Только что закончив дела по школе в Талеже, попросив земскую управу подвести итог расходам на ее строительство, Чехов едва ли не в тот же день обращается туда же, в управу, с вопросом: поможет ли ему земство выстроить новую школу в Новоселках. (Вскоре он получит эти сведения: Талезская школа обошлась по счетам в 3236 рублей 79 копеек). Чехов знает, что его ждет, по опыту талезской стройки, но упорно следует какой-то своей потаенной мысли. Ни безденежье, ни трудности, ни нездоровье — ничто не останавливает Чехова, и 2 февраля он пишет: «С марта я уже начинаю строить школу; в июне она уже будет готова».

А рядом шла другая жизнь. Обыденная, домашняя. Съели за ужином гуся, прочли свежие газеты. П. Е. Чехов с умилением писал в дневнике 26 января: «Воскресенье. Утро. —17°. В Давыдовскую пустыню ездил к обеду. Служба монастырская, певчие поют хорошо — усладительно. В Трапезе был дома, ел ветчину и поросенка с кашей. . .» Еще через два дня: «Утро. —20°. Народная перепись. В Доме всех записали. Полдень. —2°. Солнце. Светлая ночь. —16°. И наконец, в последний январский день: «Оттепель. Сена осталось в риге половина, дай Бог, чтобы хватило до весны. Соломы яровой уже нету. Хворост уже весь пожгли, дров еще не покупали».

В январе в Мелихове опять гостила М. Т. Дроздова. Может быть, с этими днями связано ее воспоминание: «Дом был старый, тепло быстро выдувалось. . . По утрам особенно было холодно вставать с постели. . . В восемь часов вечера звали ужинать. . . Евгения Яковлевна и Павел Егорович ложились рано; Антон Павлович засиживался за работой далеко за полночь».

Судя по чеховским письмам, это было действительно так зимою 1897 года. 4 февраля Чехов напоминает участникам переписи, что ждет итоговые материалы до 12 часов ночи. Он обобщал все данные. Вскоре, видимо в начале февраля, Чехов обобщит впечатления от переписи короткой дневниковой записью: «Работают прекрасно все, кроме попа Староспасского прихода и земского начальника Голяшкина (заведующего переписным участком), который живет почти все время в Серпу-



хове, ужинает там в собрании и телеграфирует мне, что он болен. Про других земских начальников нашего уезда говорят, что они тоже ничего не делают».

Наивно полагать, что Чехов с ангельским терпением и всепрощением относился к чужой необязательности, к лени и равнодушию. О той же переписи он пишет 8 февраля: «Это дело изрядно надоело мне, так как приходилось и считать, и писать до боли в пальцах, и читать лекции 15 счетчикам. Счетчики работали превосходно, педантично до смешного. Зато земские начальники, которым вверена была переписка в уездах, вели себя отвратительно. Они ничего не делали, мало понимали и в самые тяжелые минуты сказывались большими <...> И как досадно иметь с ними дело».

Нет, Чехов не был ни святым, ни ангелом во плоти. Напрасно Ежов, защищая свои воспоминания, ярился в письме к С. Н. Шубинскому в 1909 году на свое «невежественное время», равняющее Чехова с Толстым, что, на его взгляд, «низкий обман публики», так как Чехов был всего лишь «средним писателем» и средним человеком. Слыша от современников, что его творения сродни сочинениям Булгарина и Сенковского, Ежов просил не кого-нибудь, а именно Буренина защитить его своим «сильным пером» от таких нападков. И тот, узнав об этом, заметил в одном из своих писем: «Я полагаю, что взгляд Ежова на Чехова довольно верен...»

Все это не стоило бы упоминания, но дело в том, что среди легенд, сложившихся о Чехове за сто лет, две легенды: о Чехове — человеке не от мира сего и Чехове — удачливой посредственности, всем обязанной Суворину, — вдруг оживают в определенные времена. Тогда одни начинают к месту и не к месту цитировать чеховские слова о выдавливании «из себя по каплям раба», рекомендуя этот рецепт почему-то не себе, а окружающим. Другие прямо или косвенно низводят Чехова до «человека в футляре», непременно возвышая при этом кого-то, в данный момент близкого их душе.

При этом в подтексте таких рекомендаций и оценок всегда ощущаются какие-то неназванные противники, неведомые личные обиды, как у Ежова, или сиюминутные интересы. И ясно только, что Чехов беспокоит и тех и других, смотрят ли они на него снизу вверх или сверху вниз. Но, кажется, никто из ниспровергателей или апологетов не решился на такую оценку своей жизни, как признание Чехова, сделанное в самом начале все того же решающего 1889 года в письме к Суворину: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разnochинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливал из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...»

Часто задают вопрос, как это произошло и что это значит? Ответить на него, наверно, невысказано. Можно, конечно, вспомнить чеховские советы братьям о нравственной дрессуре, о ежедневной муштре. Привести широко известное письмо молодого Чехова с кодексом воспитанного человека.

Незадолго до смерти, отвечая жене, Чехов напишет: «Ты спрашиваешь: что такое жизнь? Это все равно что спросить: что такое морковка? Морковка есть морковка, и больше ничего неизвестно».

Так, видимо, и с вопросом о том, как сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист, студент превратился в человека с настоящей человеческой кровью в жилах. Был и стал, и больше ничего не известно.

Как, допустим, отнестись к его словам из того же февральского письма, в котором он рассказывал о только что прошедшей переписи: «Весь пост и потом весь апрель придется опять возиться с плотниками, с конопатчиками и проч. Опять я строю школу. Была у меня депутация от мужиков, просила, и у меня не хватило мужества отказаться. Земство дает тысячу, мужики собрали 300 р. — и только, а школа обойдется не менее 3 тысяч. Значит, опять мне думать все лето о деньгах и урывать их то там, то сям».

До Великого поста оставалось две недели. 17 февраля начиналась масленица, Сырная неделя перед постом. Но Чехов уже хлопотал о школе. В дневнике П. Е. Чехова и среди чеховских адресатов появляется новое имя — Николай Иванович Забавин, новоселковский учитель. Ему Чехов сообщает, что был на лесном складе и договорился насчет леса. Ему посылает готовый план будущей школы. От него получает в эти февральские дни записки, что материал на стройку уже взят и в Новоселки потянулись возы с лесом. Лес надо было вывезти по зимней дороге. Как можно скорей.

Вообще, вослед январю с переписью пришел какой-то суматошный февраль. Слово что-то прорвало. И отовсюду шли просьбы, просьбы, просьбы. Вот неполный их перечень. Устройство по просьбе васькинских мужиков больного в больницу. Чехов хлопочет об организации спектакля силами московских любителей в Серпухове в пользу Новоселковской школы. Это была затея Е. М. Шавровой-Юст, и Чехов не смог отказаться. В. А. Павловская, земский врач в Серпуховском уезде, знакомая с Чеховым, просит помочь земскому учителю из села Крюкова поехать лечиться на юг, а о себе пишет: «...вся эта наша ежедневная, никому не заметная работа и борьба с разнообразными общественными элементами отнимает решительно все силы и совершенно как-то изнашивает. Много раз у меня являлось желание приехать в Мелихово, чтобы освежиться хоть, но так это желание и оставалось одним желанием».

В Москве, куда Чехов уехал 6 февраля, Левитан просил навестить его, чтобы посоветоваться о здоровье. Снова всплыл проект Народного дома, подготовленный Ф. О. Шехтелем, и Чехова звали на его обсуждение 16 февраля в редакцию «Русской мысли». В. И. Яковенко сообщал письмом, что 21 февраля в его психиатрической больнице комиссия будет принимать новые помещения, а поэтому просит приехать и Чехова. Здесь же он обращается еще с одной просьбой: помочь опубликовать корреспонденцию своего шурина из Седлецкой губернии о злоупотреблениях администрации при переписи униатского населения.

Масленица выдалась по-московски обильной на обеды, ужины, встречи. Началось блинами у К. Т. Солдатенкова, известного книгоиздателя. Затем встреча с Левитаном, а 16 февраля обсуждение проекта Шехтеля. Осталось вспоминание К. С. Станиславского об этом вечере: «Все глубокомысленно слушали, а А(нтон) П(авлович) ходил по комнате, всех смешил и, откровенно говоря, всем мешал. В тот вечер он казался особенно жизнерадостным: большой, полный, румяный и улыбающийся...»

Наверно, Станиславскому Чехов запомнился таким по сравнению со встречами в более поздние года. Но Чехов никогда не был полным, а зимой 1897 года, утомленный переписью, больной, простуженный, он, наверно, должен был казаться худее обыкновенного и никак не полным. На фотографии 1896 года, где Чехов вместе с Потапенко и Маминым-Сибиряком, он всматривается куда-то, будто видит нечто незри-

мое другим. Левая рука придерживает борт пиджака, словно он то ли запахивает его, то ли, наоборот, чуть отводит. Это уже не Чехов, каким он был на фотографиях 80-х годов и начала 90-х. Но еще и не такой, каким он будет через несколько месяцев. До 22 марта остается чуть больше месяца.

19 февраля Чехов присутствует на обеде в ресторане «Континенталь» в память Великой Реформы и делает потом следующую запись: «Скучно и нелепо. Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и т. п. в то время, когда кругом стола спуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице, на морозе ждут кучера, — это значит лгать святому духу».

Эта запись — предпоследняя перед записью с диагнозом врачей: «С 25 марта по 10 апреля лежал в клинике Остроумова. Кровохарканье. В обеих верхушках хрипы, выдох; в правой притупление». Желание жить, о котором он и в шутку и всерьез упомянул в январском письме Шавровой-Юст, наверно, стало за эти дни, на рубеже двух весенних месяцев, иным. А делая эту запись, не пробежал ли Чехов глазами то, что написал в феврале, когда побывал у профессора Остроумова и поговорил с ним о здоровье Левитана: «Говорит, что Левитану «не миновать смерти». Сам он болен и, по-видимому, трусит».

В этих словах, кажется, чревычайно отчетливо проступает особенность чеховского взгляда на все окружающее, подмеченная Куприным. Он предполагал, что Чехов «всюду и всегда видел материал для наблюдений, и выходило у него это поневоле, может быть, часто против желания, в силу давно изоощренной и никогда не искоренимой привычки вдумываться в людей, анализировать их и обобщать. В этой сокровенной работе было для него, вероятно, все мучение и вся радость вечного бессознательного процесса творчества».

Наверно, он наблюдал, бессознательно запоминал и детали дружеских застолий на исходе масленицы 1897 года. В этих компаниях было много людей, симпатичных Чехову: Д. Н. Мамин-Сибиряк, писатель А. И. Эртель, редактор газеты «Русские ведомости» В. М. Соболевский, В. А. Гольцев. Москва стояла в сугробах. Каждый день шел снег. Ночи были тихие, темные. Новолуние. Возвращаясь в гостиницу, Чехов, может быть, думал о своем мелиховском доме, где такие ночи особенно тихи и одиноки.

22 февраля Чехов уехал из Москвы сразу в Серпухов. На заседании Санитарного Совета одобрили план училища в Новоселках, а также избрали Чехова вместе с С. И. Шаховским, В. А. Павловской, И. Г. Витте, Ф. Л. Касторским, С. Т. Толоконниковым и О. Ф. Гершельманом в комиссию по организации Крюковско-Угрюмовского фельдшерского пункта. Так прибавилось еще одно «общественное» дело. А вечером в Серпухов приехали любители. В помещении местного драматического кружка они хотели дать спектакль в пользу Новоселковской школы. Среди приехавших был А. С. Яковлев. Он долго присматривался к Чехову и наконец узнал в нем своего учителя русского языка. Давно, в студенческие годы, Чехов добывал деньги уроками и занимался в Москве с двумя сыновьями камергера и сенатора Яковлева, Чехов готовил их в гимназию и навсегда запомнил, как один из мальчиков, глядя на него наивными глазами, спрашивал: «Ваш папаша камергер?»

Теперь, глядя уже другими глазами, повзрослевший Анатолий Яковлев узнал Чехова. Он показался ему утомленным, но по-прежнему доброжелательным, остроумным.

Чехов расставлял мебель, помогал приколачивать портьеры, шутил, чтобы поднять настроение гостей. Они поначалу оторопели. И хотя Чехов предупредил, что Серпухов «город серый, равнодушный», любители удивились, когда увидели, подъехав к указанному дому, что

помещение закрыто и никто их вроде бы не ждет. Потом расстроились, осмотрев само помещение кружка — длинную комнату с низким потолком, освещаемую керосиновыми лампами.

Наконец пришел Чехов, и все начало меняться. Как-то преобразили комнату, достали кое-какой еды, обрадовались, когда помещение заполнилось зрителями. Чехов простоял весь спектакль за кулисами и сам по книжке следил за выходами.

А вечером устроил для любителей ужин на вокзале и поехал с ними до Лопасни в одном поезде. Это был товарно-пассажирский поезд. Шел он медленно, останавливался на всех станциях и полустанках. Е. М. Шаврова-Юст запомнила: «Ночь была холодная и темная. Мы сидели в купе второго класса, закутанные в шубы и пледы, как заговорщики, а на стене тускло горела и покачивалась в фонаре толстая вагонная свеча».

В шесть часов утра Чехов приехал в Мелихово и, как он написал Эртелю, «лег и спал, спал, спал без конца — и теперь наше московское времяпрепровождение представляется мне как бы сном».

На первой неделе Великого поста погода изменилась. Стал дуть резкий ветер, он выдувал печное тепло, и в комнатах мелиховского дома похолодало. Чехов ездит по делам стройки, на которую нужны деньги. Он рассчитывал пустить на эти расходы гонорар за пять спектаклей «Чайки» в Александринском театре, но контора Императорских театров медлила, и Чехов попросил старшего брата ускорить дело. В этом же письме изложил домашние новости, а о себе лишь немного: «Здоровье мое ничего, но кашляю. Болит глаз». Это могло означать, что его усталость достигла предела и что он чем-то очень расстроен.

Не кроется ли разгадка в первом упоминании повести «Мужики»? 1 марта он писал Суворину: «А мне не везет. Я написал повесть из мужичьей жизни, но говорят, что она не цензурна и что придется сократить ее наполовину». И хотя скрывает свое настроение за шуткой: «Значит, опять убытки», — но очевидно, что Чехов огорчен.

Так кто и что кроется за словом «говорят»? Видимо, Чехов читал рукопись в Москве в редакции «Русской мысли». Весь месяц, вплоть до 22 марта, идет переписка с В. А. Гольцевым о повести. Может быть, уже в феврале, после первого чтения, Чехову посоветовали изъять из повести главу с разговором мужиков о религии и властях. Текст этот неизвестен до сих пор.

4 марта Чехов был в Москве. Но вернулся тотчас в Мелихово. Он побывал у Левитана, выслушал его сердце и понял, как он напишет Шехтелю: «( . . . ) Дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук слышится пф-тук. Это называется в медицине — «шум с первым временем».

На первый взгляд странно, что Чехов сообщает эти медицинские подробности Шехтелю. словно он разговаривает с коллегой-врачом, а не с художником. Между тем дело не в терминах. Чехов писал человеку столь же дорогому ему, как Левитан. Их троих связывала общая юность, память о Николае Павловиче Чехове, ушедшие молодые годы. К тому же Чехов не мог, видимо, не понимать, что и о своем здоровье он может сказать: «Дело плохо».

Был ли Чехов в этот день у Гольцева, неизвестно. По крайней мере, он не отозвался на записку Шавровой-Юст, посланную во второй половине дня в редакцию журнала. Она искала его в гостинице и в ресторане, где он, назначая встречу, предлагал пообедать в час дня. Чехова нигде не было. Он словно уклоняется ото всего, что не неизбежно. Даже не приехал в Москву 9 марта на открытие первого Всероссийского съезда сценических деятелей, хотя вроде бы полагал на нем быть.

Нездоровье, текущие дела и работа над «Мужиками» обретали

какое-то независимое от него течение и ломали все планы, намерения, надежды, душевный настрой. Чехов, как обычно, с тревогой ждал, когда вскрыется лед, самое опасное для него время. Но ледоход 1897 года оказался особым. Вскрывалась, обнажая свое глубинное течение, вся жизнь Чехова.

Уже в начале марта у него начался сильный кашель. Может быть, уже горлом показалась кровь, хотя признается в этом он только в середине марта. 13 марта Чехов едет по срочным земским делам в Серпухов. Сруб новой школы уже готов, надо заказывать и перевозить кирпич на печи, песок, бут, а денег из Петербурга до сих пор нет, не спешило и земство со своей долей. И Чехов вынужден просить Хмелева, председателя земской управы: «(...) Сегодня приезжала ко мне Шибаева и просила уплатить за лес, и я обещал ей деньги до 25 марта. Было бы очень хорошо, если бы Вы прислали нам тысячу рублей теперь, на этих днях, а если нельзя тысячу, то хотя бы пятьсот. В вагоне Вы говорили, что те пятьсот, которые дадут нам, безвозвратно, мы можем получить теперь же. Пожалуйста!»

Хмелев ответил на следующий день, 15 марта: «Хотя я и обещал Вам выдать в нынешнем году ссуду и пособие на постройку Новоселковской школы, но для этого необходимо следующее:

1) представление общественного приговора, засвидетельствованное в волостном правлении с просьбою о выдаче пособия и ссуде и обязательством уплатить последнюю в течение десяти лет; 2) просьба уездной управы о выдаче означенных пособия и ссуды с указанием, взамен какой из предполагаемых на 1897 год к постройке школ испрашиваются эти деньги (...); 3) представление плана. Из этих трех условий до сего времени выполнено только последнее (...). Как скоро уездной управой будут выполнены и первые два условия, мы в тот же день вышлем ассигновку на тысячу рублей. Может быть, Вам эти требования кажутся формальными, но без этих формальностей никак нельзя обойтись».

Последнее условие было выполнено потому, что планом занимался Чехов сам. Всего остального сделать за управу он никак не мог. Оставался один, привычный путь — брать в долг, в аванс, под публикацию новых произведений и за все расплачиваться самому.

15 марта Чехов сообщает Гольцеву, что 20 марта будет в редакции с рукописью «Мужиков». И добавляет: «Это наверное». Наверняка или может быть? Ведь он очень болен. Недаром, оговаривая в письме к Л. А. Авилевой встречу в Москве, Чехов уточняет: «(...) Задержать дома меня может только болезнь». Недаром он отсылает рукопись повести раньше, 17 марта, и просит срочно набрать к понедельнику, то есть к 24 марта. «Приеду и прочту в единый миг», — обещает он Гольцеву.

Конечно, его торопит редакция, так как повесть предназначена в апрельскую книжку «Русской мысли», а впереди еще цензура. Но Чехов и сам спешит.

Домашняя жизнь опять отодвинута. В Мелихове занимались парниками, готовились к севу, набивали ледник. Как напишет П. Е. Чехов, «передовые скворцы прилетели в Лопасню». Жизнь шла своим обычным кругом, по заведенному порядку. Жизнь всех обитателей, чад и домочадцев, всех, кроме Чехова.

21 марта после дождливой ночи, по раскисшей зимней дороге, в промозглую погоду Чехов выехал из Мелихова в Москву. На станции он встретился с сестрой. М. П. Чехова запомнила его болезненный вид, а приехав домой, узнала от матери, что брат кашляет уже несколько ночей.

Остановился Чехов по обыкновению в «Большой Московской» го-

стинице, в своем пятом номере. Наутро встретился с Сувориным и побывал с ним на съезде сценических деятелей. В 6 часов они поехали обедать в ресторан «Эрмитаж», где у Чехова хлынула горлом кровь.

## Глава 7

### МАРТ — АПРЕЛЬ

Сразу, немедленно, Чехов и Суворин уехали в гостиницу. Отсюда Чехов послал записку Н. Н. Оболенскому: «Приезжайте, голубчик, сегодня в «Славянский базар» № 40, где остановился Суворин. Я заболел. Ваш А. Чехов». Оболенский остановил кровотечение только к утру. Здесь, впервые, Чехов скажет Суворину, а тот запишет в своем дневнике: «Для успокоения больных мы говорим во время кашля, что он желудочный, а во время кровотечения, что оно геморроидальное. Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня из правого легкого кровь идет, как у брата и другой моей родственницы, которая тоже умерла от чахотки». Чехов говорил о брате Николае и о тетке со стороны матери, Ф. Я. Долженко, умершей в 1891 году.

Но, сознавая все случившееся, Чехов еще пытается преодолеть недуг делами. Словно заклинает болезнь отступить. Он просит Гольцева прислать ему в гостиницу шехтелевский проект, чтобы показать, видимо, Суворину. Шлет посыльного к себе в номер с запиской к С. И. Бычкову и просьбой привезти корректуру повести «Мужики». Вечером разговаривает с И. Л. Леонтьевым (Щегловым), который приехал рассказать о закрытии съезда, о речи М. Г. Савиной. Видимо, состояние Чехова не испугало собеседника, если он в своем дневнике записывает впечатление от вечера: «Хорошо на душе, как давно не было!»

Дальше все становится не просто странным, но нелепым. Чехов будит утром Суворина и говорит, что уезжает к себе в гостиницу, так как у него назначены встречи. Да, была оговорена встреча с Авиловой, и она уже приезжала накануне в гостиницу, но узнала, что Чехова нет. А он, вернувшись в «Большую Московскую» гостиницу, зовет к себе И. П. Чехова, Е. З. Коновицера, уточняя одной и той же фразой: «Кстати, есть дело».

Так что же, дело было главным или кстати? Дела продолжались уже без него. Земская управа наконец-таки оформила документы, и Хмелев писал, что ссуда в 1000 рублей выслана. Н. И. Забавин прислал нарочного с запиской в Мелихово, что получил от Соловьева, с которым Чехов договорился, 25 пудов железа. Типография набирала повесть «Мужики». Начатое им завершится постепенно. И школа будет выстроена, и повесть опубликована. Но Чехов не сразу захочет признаться, что произошло решающее событие в его личной судьбе. Ему еще, видимо, хотелось думать, что это весеннее привычное кровотечение, и через день-два — неделю все окончится. Или наоборот. Он все понял, и потому теперь дело было только «кстати».

В ночь на 25 марта, когда Чехов был один у себя в номере, кровь пошла вновь. В 6 часов утра он вызвал Оболенского запиской: «Идет кровь». Оболенский приехал и тут же, немедленно, поспешил к А. А. Остроумову. На своей визитной карточке профессор написал: «Принять в клинику А. П. Чехова». К 11 часам дня Чехов уже был на Девичьем поле.

В час дня Суворин пришел в клинику. С его слов известен первый день Чехова в больнице: «Обедали в коридоре, в особой комнате. Чехов лежит в № 16, на десять номеров выше, чем его «Палата № 6», как заметил Оболенский. Больной смеется и шутит, по своему обыкнове-

нию, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и сказал: «Разве река тронулась?» Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, не имеет ли связь эта вскрывшаяся река и его кровохарканье? Несколько дней тому он говорил мне, что, когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: «Не поможет. С вешней водой уйду».

Суворин дал знать о случившемся И. П. Чехову телеграммой. Потом вновь навестил Чехова, попрощался перед возвращением в Петербург. Сюда, в клинику, уже потянулись к Чехову посетители. Был Н. И. Коробов, но его не пустили. Приехала Л. А. Авилова, и ей разрешили на краткое время пройти в палату. Она детально, реплика за репликой вспомнила впоследствии свой разговор с Чеховым. А может быть, все-таки чуть дополнила его, потому что пресловутая приписка: «Я Вас очень лю... благодарю» на записке, написанной Чеховым, но не сохранившейся у Авиловой, вызывает до сих пор споры. Была ли она? И можно ли точно восстановить через много лет весь разговор? И вторую встречу, на следующий день, еще более продолжительную?

В описании этих встреч есть фразы, которые выдают стиль произведений Л. А. Авиловой. Она признается через двадцать лет в своем дневнике, что писательство очень отразилось на ее жизни («очень красиво и обогатило ее»). Наверно, так оно и было. Любовь к детям и писание рассказов оказались смыслом жизни Л. А. Авиловой. Жизни, которая к концу оказалась трудной, и в своем прошлом, так не похожем на настоящее, она явно любила все и рассказывала за всех, кого вспоминала.

Так, фраза «Не владею я собой... Слаб я... Простите...» очень авиловская, очень литературная. Но не похожа на чеховскую.

Он мог сказать так, как написал Е. М. Шавровой-Юст: «Меня выпустят отсюда, но говорят, это случится не раньше Пасхи... Пишите мне, а то я подохну с тоски». И подпись: «Ваш калека А. Чехов». Чехов мог иронизировать над собой и, приглашая Леонтьева (Щеглова) в клинику, уточнить время визита таким образом: «<...> Кроме промежутка от часа до трех пополудни, когда происходит кормление и прогуливание больных зверей». Он мог чувствовать себя прескверно, но признаваться в этом, просить извинить его и сам оборот «слаб я» — все-таки авиловский.

И в клинике Чехов налаживает привычный образ жизни. Правит рукописи начинающих, обрастает новыми знакомствами и новыми обязательствами. Устраняет дела своих знакомых. Пишет письма, лежа на спине, потому что кровотечение не останавливается. И ни одной трагической фразы. Известие о его болезни, благодаря газетам и уже полетевшим письмам, расходилось по городам. Оно не вызвало, конечно, какого-то особого всплеска, но Ал. П. Чехов в письме из Петербурга заметил: «Что с тобой, дорогой мой, произошло? Зачем, дюша мой, хвараеш?»

Питер с волнением и участием говорит о тебе, ибо весть разнеслась быстро и притом, как и всегда, в несколько преувеличенном виде. Оказывается, что ты весьма популярен и любим публикою».

Старший брат старался шутить. Чехов ответил тем же: «... необходимо все-таки, не откладывая, написать завещание, чтобы ты не захватил моего имущества». Однако сквозь шутки, иронию, наружное спокойствие заметно, как медленно, но тем не менее затормаживается жизнь Чехова и он постоянно думает о завтрашнем дне.

Он уже не назначает точных дат возможного приезда в Петербург, где художник Иосиф Эммануилович Браз согласился по просьбе П. М. Третьякова написать портрет Чехова. В его письмах постоянно встречаются слова — «вероятно», «как будто», «если». Одно выражение

встречается особенно часто, невольно выдавая скрытое течение мыслей Чехова.

Это выражение — «будущее представляется неопределенным». Так он скажет в письмах к брату, к П. Ф. Иорданову, И. Э. Бразу, Ф. Д. Батюшкову. Хотя все рекомендации врачей были очень определенными — прекратить медицинскую практику в Мелихове, изменить образ жизни. То есть: много есть, жить в деревне, а лучше поехать на юг. При таких условиях верхушечный процесс в легких можно задержать.

Хорошо сказать — изменить образ жизни! Что для здоровья надо уехать из Мелихова, Чехов понял давно. Сам иногда мечтал об этом. Но куда, на какие деньги? Бросить с трудом налаженный быт, подняться опять всей семьей? Остаться в Мелихове? Но эта жизнь, как он скажет в первоапрельском письме Суворину, — «предполагает постоянную возню с мужиками, с животными, стихиями всякого рода, и уберечься в деревне от хлопот и забот так же трудно, как в аду от ожогов».

Жить на юге? Но где? По его мнению, «Крым скучен до безобразия, а на Кавказе лихорадка». За границей? Но там, как кажется Чехову, его будет донимать тоска по родине. Несколько раз за последние годы Чехов упомянет Таганрог. Но он боится слякотной зимы. То ли в нем живы впечатления последних юношеских лет в Таганроге, когда он голодал, страдал от холода, пешком, в рваных сапогах бегал по урокам. То ли навел справки и заколебался. К тому же захочет ли ехать в Таганрог вся семья и не придется ли жить на два дома, а это потребует больших расходов. Денег нет. Заработать можно только литературным трудом, но врачи рекомендуют не писать, вести просто праздную жизнь.

Бросить все «общественские» дела, конечно, облегчение, однако и, по словам Чехова, «крупное лишение». Но не писать — уже не просто большая утрата, а в сущности смерть при жизни. Если такой совет врачи дали Чехову уже в первые дни болезни, то размышления Чехова над будущим без творчества могли сказаться в разговоре с Л. Н. Толстым 28 марта.

Толстой узнал о случившемся от Л. А. Авиловой. И назавтра, видимо, пешком пошел из Хамовников на Новодевичье поле. Разговор был несколько странный для больницы. Говорили о бессмертии. Так записал двумя словами сам Чехов. И ничего более. И. Л. Леонтьев (Щеглов), побывавший у Чехова на следующий день, запомнил будто бы такое впечатление Чехова от вчерашней беседы: «Говорили мы с ним немного, так как много говорить мне запрещено, да и потом... При всем моем глубочайшем почтении к Льву Николаевичу, я во многом с ним не схожусь... во многом!»

Суворину он написал сначала коротко в телеграмме: «Приходил Толстой». Потом, в письме от 1 апреля: «Крови выходит немного. После того вечера, когда был Толстой (мы долго разговаривали), в 4 часа утра у меня опять шибко пошла кровь».

По сути, это повторное кровотечение подтверждало мнение врачей, что физическая или умственная напряженная длительная работа губительна для Чехова.

Кстати, больше упоминаний о разговоре с Толстым в письмах к Суворину нет. И это чуть странно. Суворина не могло не интересоваться, о чем шла речь. Но либо письмо Чехова с таким рассказом неизвестно, либо Чехов действительно не захотел передавать беседу.

Рассказал он о ней М. О. Меньшикову: «<...> Вели мы интересный разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантовском вкусе; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цели которого для нас составляют тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде



бесформенной студенистой массы; мое я — моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой — такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю». Любопытно, что свое настроение на грани тоски Чехов уподоблял тоже студню.

И все-таки Суворин вернулся, видимо, к этой встрече Чехова с Толстым. В июле того же 1897 года, когда Чехов впервые после болезни придет в Петербург и остановится в суворинском доме, меж ними состоится разговор о смерти. Суворин передает чеховские слова так: «Смерть — жестокость, отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешиться тем, что сольюсь с червяками и мухами в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже цели этой не знаю. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас. Но когда живешь, об ней мало думаешь. Я по крайней мере. А когда буду умирать, увижу, что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать».

Теперь никогда не узнать, почему и с чего начался тот разговор о бессмертии. Но можно предположить, что на молчаливое восприятие Чеховым рассуждений Толстого влияло не только его физическое состояние, вдруг, на короткое время, приблизившаяся смерть. Дело в том, что в эти дни, в клинике, он читал корректуру «Мужиков». В повести он писал о смерти: «Смерти боялись только богатые мужики, которые чем больше богатели, тем меньше верили в Бога и в спасение души и лишь из страха перед концом земным, на всякий случай, ставили свечи и служили молебны. Мужики же победнее не боялись смерти. Старику и бабке говорили прямо в глаза, что они зажились, что им умирать пора, и они ничего. Не стеснялись говорить в присутствии Николая Фекле, что когда Николай умрет, то ее мужу, Денису, выйдет льгота — вернут со службы домой. А Марья не только не боялась смерти, но даже жалела, что она так долго не приходит, и бывала рада, когда у нее умирали дети». Само повествование начиналось с рассказа о смертельно заболевшем лакее Николае Чикильдееве, а завершилось его смертью.

Может быть, в зимние дни, в канун болезни, шлифуя повесть, Чехов преодолевал этой работой недуг, продолжал свою жизнь творчеством. Поэтому совет врачей — не писать — мог казаться смертельным.

Видимо, поэтому Чехов отнесся с очевидным удивлением к признанию Толстого во время их встречи, что он забросил «Воскресение» и пишет книгу об искусстве. При этом, как понял Чехов, Толстой доказывает, что современное искусство «вступило в свой окончательный фазис, в тупой переулочек, из которого ему нет выхода (вперед)».

Чехов не знал в этот день, когда слушал Толстого, что в безвыходное положение может попасть его повесть «Мужики». Она вступала, если воспользоваться его словами, в тупой переулочек цензуры.

Московский цензор С. И. Соколов получил апрельскую книжку «Русской мысли», прочел ее и тут же написал донесение в Московский цензурный комитет, своему начальству. Ему показалось, что в чеховской повести «слишком мрачными красками описывается положение крестьян, проживающих в деревнях».

В. Назаревский, председатель комитета, прочел и донесение и журнал, и у него тоже сложилось впечатление, что «это нечто, по первому впечатлению, предосудительное», и немедленно переправил журнальную книжку, доклад цензора и свое донесение еще выше, в столицу государства. В Главное управление по делам печати.

Происходило все это на удивление стремительно. 3 апреля М. П. Соловьев, начальник управления, уже наложил свою резолюцию: «Задержать, если не исключат стр. 193». Это была та самая страница

в финале повести, когда после смерти Николая его жена и дочь уходят из деревни. И мысли Ольги незаметно, как это происходит только в прозе Чехова, обернулись голосом повествователя, и зазвучал чеховский реквием по несчастным, обездоленным людям: «Ей было жаль расставаться с деревней и с мужиками. Она вспоминала о том, как несли Николая и около каждой избы заказывали панихиду и как все плакали, сочувствуя ее горю». И далее какое-то необъяснимое, непередаваемое звучание, которое так точно уловил И. Е. Репин, сравнив чеховское слово со словом Библии.

Именно эту страницу было велено исключить. Но дело не закончилось. В Московском комитете решили доказать свою сверхосторожность и усердие. В Петербург летит новое донесение цензора Соколова, в котором он подтверждает свое мнение о «Мужиках», и особая бумага от главы комитета с верноподданническим чиновным поклоном: «Усматривая во всем этом характеристическое проявление предосудительного направления «Русской мысли», имею честь о вышеизложенном довести до сведения Главного управления по делам печати. Экземпляр с отметками цензоров при сем прилагаю. Председательствующий В. Назаревский».

Из Петербурга отправлена телеграмма: «Москва Цензурный комитет. Исключить страницу 193 Чехова. При несогласии арестовать. Соловьев». Арестовывать книжку не пришлось. Из отпечатанного тиража, спасая апрельский номер и повесть Чехова, изъяли 27 строк. О чем Москва тут же сообщила в Петербург: «Г-н Гольцев исполнил указанное Вашим Превосходительством, исключив на 193 странице предъявленное ему».

У этой истории несколько финалов. Книжка журнала вышла через несколько дней из печати, о чем 7 апреля сообщила газета «Русские ведомости». Через месяц об усердном цензоре ушло в столицу прошение. Чехов, видимо, узнал обо всем уже по выходе из клиники. По крайней мере, только 16 апреля он упомянет в письме Меньшикову об изъятии: «Из «Мужиков» цензура выхватила порядочный кусок». Навряд ли Гольцев посвятил Чехова во все подробности. Изменить ничего было нельзя, а обсуждать подробности не имело смысла и просто опасно для здоровья Чехова.

Вероятней всего, Чехов узнал об этом в редакции «Русской мысли» 10 апреля, куда собирался зайти, покинув клинику. Это был Великий Четверг на Страстной неделе. Над Мелиховом пролился первый весенний дождь и прогремел первый гром. В доме не знали о болезни Чехова. Он запретил братьям и сестре говорить родителям. Посему в дневнике П. Е. Чехова отмечены привычные события весны: таяние снега, стрижка овец, звездные ночи, выгон скотины в поле, работы в саду.

11 апреля он пишет: «Антоша и Ваня приехали». День выдался пасмурный. В саду сажали тополя, в доме готовились к Пасхе. Казалось, что все осталось по-прежнему.

В этот день, например, Буренин в своих «Критических очерках» признал «серьезную и глубокую правду» новой чеховской повести, но тут же не преминул снова провозгласить, что «Ариадна» и «Чайка» — это результат блужданий Чехова «по окольным, чуждым его таланту дорогам», а у героев сих произведений «декадентский пошиб».

Контора Императорских театров по-прежнему не высылала денег. Едва вернувшись домой, Чехов начинает заниматься своими общественными делами. Как всегда сразу потянулись гости. И все-таки перемена была. В настроении Чехова.

Обыкновенное с виду признание в письме к Александру Ивановичу Эртелю от 17 апреля: «Я ничего не делаю, кормлю воробьев конопляным семенем и обрезаю по одной розе в день» — на самом деле не столь просто. Оно означает, что Чехов ищет уединения. И не

только потому, что врачи запретили ему много говорить. Но потому, что он сосредоточен, видимо, на какой-то тайной своей мысли. Ее тень проходит в этом же письме: «Нового ничего нет. В литературе затишье. В редакциях пьют чай и дешевое вино, пьют невкусно, походя — очевидно, от нечего делать». И далее Чехов передает разговор с Толстым об искусстве.

Какое-то подспудное недовольство, несогласие, даже скрытое раздражение сквозит в этих строчках. Может быть, он решал для себя главный вопрос: сводить потихоньку творчество на нет или работать по-прежнему. До него уже дошли первые отклики на повесть «Мужики». М. О. Меньшиков писал, что он ошеломлен, что «прочитать этот рассказ безнаказанно нельзя». И желал таких же повестей. Старший брат написал из Петербурга: «Вот он где талант!» К. С. Тычинкин рассказывает, как читали «Мужиков» в редакции «Нового времени», и от себя добавляет: «Чудо, что за вещи!» Доктор Л. В. Средин писал из Ялты: «Неправду сказал Щедрин «писатель пописывает, а читатель почитывает», это в минуту тяжелой душевной боли у него безотрадное определение взаимных отношений сорвалось, на самом деле не так, связь есть и связь кровная».

15 апреля в Мелихове прибавились еще два гостя, студенты Московского университета. Наверно, многое в Мелихове удивило простодушных посетителей. Дом не вмещал чад, домочадцев и гостей. Дневник П. Е. Чехова отмечает, что к этому дню в Мелихове гостили: М. Т. Дроздова, М. П. Чехов с женой, И. П. Чехов, Л. С. Мизинова, А. Л. Селиванова. Не было и тишины, как бывает в доме, где живет больной человек. Шум, смех, то и дело кто-то садится за рояль. К столу собирается большое общество, и довольный таким благополучием П. Е. Чехов записывает накануне вечером: «Сегодня обедали, все было вкусно, разговоров было много. Ростбиф понравился Антоше. Муравьи явились в комнатах у меня на столе».

Студентов поместили во флигеле, или — как один из них назовет в своих воспоминаниях этот маленький домик — в садовом павильоне. Утром к ним сюда пришел Чехов, звать к завтраку. Разговор с Чеховым передан в воспоминаниях — в целом, вообще. Будто бы Чехов вспоминал о своей поездке в Ясную Поляну, говорил, что студентам важно иметь свою газету для творчества молодых, и будто бы рассказывал, как он работает над своими произведениями. Потом, после завтрака, Чехов увел гостей к себе, и они запомнили узкую продолговатую комнату с низкими окнами, очень просто обставленную и аккуратно прибранную: «На письменном столе, поставленном поодаль от стен, лежал французский медицинский журнал. Из окна позади стола виднелся за деревьями прудок».

Ни гости, ни домашние, видимо, не знали, что у Чехова в этот день сильно болела голова, и все — разговоры, смех и звуки рояля в доме, гомон скворцов на улице — было не в радость. Когда так сильно болела голова, он не мог работать. А не писать, судя по оговоркам и полупризнаниям в письмах этих дней, Чехов не мог. И посему ответил Ф. Д. Батюшкову на просьбу дать что-то для журнала «Cosmopolis»: «Я непременно пришлю рассказ <...> но — когда? Право, не знаю. В последнее время я считаюсь больным; врачи предписали мне праздность — и я стараюсь следовать этому предписанию, стараюсь не писать. Мне гораздо лучше, чем было в марте, но все же в смысле здоровья будущее мое неопределенно, и потому не могу пообещать Вам ничего определенного. Прошу Вас подождать до осени. Если же случится, в течение лета напишу рассказ, то я не замедлю прислать его Вам. Рассказ, по всей вероятности, не превысит полулиста. Пишу я вообще мало, компактно (не более 10 листов в год — при счастливых условиях, обыкновенно же не более 5—7) <...>».

И далее строка, которая может быть верно и справедливо понята, если известна ее истинная подоплека: «<...> И потому «volens—po-lens»\* приходится брать подороже».

За этой строкой обнаруживается непростое, неоднозначное отношение Чехова к деньгам. Постоянное, с гимназических лет, хроническое безденежье, медленное, купленное здоровьем, выплзание из нищеты первых лет московской жизни вроде должны были бы развить в Чехове понятную и оправданную расчетливость. Но его поступки опровергают здравый смысл. Он не только содержит большую семью, но дом открыт для гостей. Он строит школы, вкладывая свои средства. Не только бесплатно лечит, но снабжает мужиков лекарствами. Часть книг для Таганрогской библиотеки — это книги, подаренные ему, а часть — купленные им специально.

Чехов с 1 октября 1896 года платит за обучение В. Евтушевского, сына таганрогского знакомого семьи Чеховых. По договоренности с дирекцией гимназии он вносит одну половину, а благотворительное общество — другую. Но все это в секрете от самих Евтушевских, которым Чехов передал, что мальчика просто освободят от платы. В 1898 году Чехов начнет платить за обучение в Ветеринарном институте (город Юрьев) сына серпуховской домовладелицы Андрушкевич. И не год, и не два, а все время обучения молодого человека. О ежегодных покупках мебели, наглядных пособий, подарков для учащихся тех школ, где Чехов был попечителем (а их несколько) и говорить не приходится. В чеховском архиве сохранились многочисленные квитанции денежных взносов Чехова в различные благотворительные общества или непосредственно самим учреждениям.

Скажут — это расходуется с тем, что говорили герои чеховских произведений, например, «Дома с мезонином», о бесполезности медицинских пунктов, библиотечек, аптек, когда народ опутан великой цепью. Но это говорили герои, а они высказывают в этом рассказе и противоположные мнения. Чехов не раз в мелиховские годы досадовал на земство, на мужиков, таскающих лес, предназначенный для сельской школы, на соседей-помещиков, уклоняющихся от «общественных» дел. А сам упорно продолжал делать то, что мог делать как профессионал: лечить и писать. И деньги от литературного труда тратить на библиотеки, школы, аптеки и т. д.

Но дилетантское, непрофессиональное благотворительство вызывало в Чехове раздражение. Так, например, в эти апрельские дни в письме к Эртелю он заметит с легкой иронией: «О народном театре ничего не слышно. На съезде говорили о нем глухо и неинтересно, а кружок, взявшийся писать устав и начинать дело, по-видимому, немножко охладел. Это, должно быть, благодаря весне». Работа Шехтеля, хлопоты Чехова окажутся на этот раз зряшными, а первоначальное впечатление Чехова об апокалипсическом характере пожеланий и горячих речей дамского кружка, затевавшего грандиозную постройку в Москве Народного дворца, — очень точными. Проект остался, к сожалению, неосуществленным.

Еще смолоду Чехов признавался, что для денег пишет «вяло», а похвалы в этом случае только раздражают. Он минутами доходил до отчаяния, будто сквозь текст его произведений проступало то самое ноющее чувство. За стенами кабинета, будь то дом в московском Кудрине или в Мелихове, слышны были голоса родных, а ему жизнь казалась тисками, из которых он не мог вырваться. В одно из таких мгновений мелиховской жизни, весной 1894 года, он признался Лике Мизиновой: «Я того мнения, что истинное счастье невозможно без праздности <...> Я до такой степени измочалился постоянными мыслями об

\* Волей — неволей, хочешь — не хочешь (лат.).

обязательной, неизбежной работе, что вот уже неделя, как меня безостановочно мучают перебои сердца. Отвратительное ощущение».

В этом отношении, как это ни странно на первый взгляд, меликовские годы даже тяжелее московских. Тогда Чехов часто слышал безымянные, но ему адресованные рассуждения родителя о «бумагомазанье», советы заниматься «настоящим», то есть прибыльным делом, медициной и т. д. Сам Чехов в те годы относился к таким скрытым нравоучениям снисходительно. Может быть, потому, что еще не почувствовал в полную меру свой дар, еще не полюбил эту муку больше самой жизни.

За три года до весны 1897 года, как раз 15 апреля, Чехов обронил в письме к старшему брату одно интересное замечание: «Занимаюсь земледелием: провожу новые аллеи, сажаю цветы, рублю сухие деревья и гоняю из сада кур и собак <...> Писать не хочется, да и трудно совкупить желание жить с желанием писать».

Новый, 1897, год он начал упоминанием того же — «желания жить». Интересно и другое совпадение. Это чувство всегда у Чехова связано с размышлением о праздности. Не только Лике Мизиновой писал Чехов весной 1894 года о праздности. 9 мая он рассказывает Суворину, как возвращался поздно вечером домой, лесом, под луной: «<...> И самочувствие у меня было удивительное, какого давно уже не было, точно я возвращался со свидания. Я думаю, что близость к природе и праздность составляют необходимые элементы счастья; без них оно невозможно».

Удивительно, но 7 апреля 1897 года, накануне выхода из клиники, Чехов пишет почти слово в слово тому же Суворину: «Вы пишете, что мой идеал — лень. Нет, не лень. Я презираю лень, как презираю слабость и вялость душевных движений. Говорил я Вам не о лени, а о праздности, говорил притом, что праздность есть не идеал, а лишь одно из необходимых условий личного счастья».

Но этого условия — возможности жить не в долг, не поуждая себя писать ради хлеба насущного — в меликовские годы у Чехова не было никогда. Ни одного праздного дня, а только — обострявшееся физическим недугом и ежегодными, неизбежными расходами на посевную, на уплату процентов — все то же ноющее чувство.

Но, может быть, не трать Чехов столько денег на школы, на благотворительность, он уплатил бы долг. Ведь его книги Суворин издавал без конца. Они выходили одна за другой. Правда, небольшими тиражами, в тысячу экземпляров, но постоянно. На складах лежали несброшюрованные экземпляры. Однако получал Чехов за все эти издания так мало, что долг Суворину никак не исчерпывался, а иногда, из-за путаницы в расчетах, катастрофически вдруг возрастал. Издания эти приносили Чехову ежегодно всего около трех тысяч.

Бесконечная неясность, небрежность типографии, какой-то туман в деловых разговорах всех причастных к изданию чеховских книг в суворинской типографии, исчезновение рукописей, их розыски — все, видимо, уже давно убедило Чехова, что его обманывают. Он скажет об этом только в 1899 году, когда заключит договор с А. Ф. Марксом на издание собрания своих сочинений за 75 000. Эта кабала в результате тоже не даст ему ни праздности, ни обеспеченного существования. Но, прозревая все дурные стороны договора, Чехов назвал и хорошую сторону: «Во 1-х) произведения мои будут издаваться образцово, во 2-х) я не буду знаться с типографией и с книжным магазином, меня не будут обкрадывать и не будут делать мне одолжений, 3) я могу работать спокойно, не боясь будущего, 4) доход не велик, но постоянен <...>».

Дохода не оказалось, спокойствия тоже, но в 1897 году положение было катастрофическим. Смерть прошла рядом. Никто из близких не занимался деловой, материальной стороной жизни Чехова, как занимались А. Г. Достоевская и С. А. Толстая делами своих мужей. Сам он, все понимая, тушевался и отступал при малейшем подозрении на обман или ложь, предпочитая финансовые потери выяснению отношений, а тем более предпринимательской деятельности, несовместимой для него с творческой. Все это сделало Чехова равнодушным к деньгам. То было равнодушие невысказанного отчаяния, безысходности, безвыходного тупика. Отдавая себе отчет, что деньги все равно как в прорву уйдут в хозяйство, будут потрачены на содержание дома, Чехов, видимо, снимал, одолевая свое ноющее чувство расходами на благотворительность.

Состоятельные меценаты отдавали по самым разным мотивам — от высоких, бескорыстных до обыкновенных житейских — часть богатства, создаваемого усилиями сотен, порою тысяч других людей, на храмы, больницы, школы. Чехов отдавал только свой личный труд, свое время, существенную часть денег за публикацию своих произведений.

Это обстоятельство почему-то ускользает от тех современников и потомков Чехова, которые упрекали его за то, что он не испытывал чувства вины перед народом. Ревнителю чужой нравственности, они во все времена взыскивают с окружающих от имени народа. Такой счет предъявили Чехову (особенно требовательно и едва ли не впервые так всерьез) все той же весной 1897 года, едва появилась повесть «Мужики».

## Глава 8

### МАЙ — ИЮНЬ

За минувшие сто лет сложилось несколько расхожих представлений о некоторых моментах в жизни Чехова. Одни чрезвычайно распространены. Например, о романе с Л. С. Мизиновой или о потаенной любви к Авиловой. Другие стали средоточием общеизвестного. Допустим — театральная скандал на премьере «Чайки» в Александринском театре. У всех этих общих мест есть один общий признак. Сложное, неоднозначное они сводят к общепонятному и занимательному.

То же самое происходит со многими событиями в жизни Чехова. Они толкуются порою и верно, и детально, но их влияние на настроение Чехова остается без особого внимания. Даже если Чехов сам признается в этом. Так, спор, вызванный повестью «Мужики», обыкновенно не соотносят с душевным состоянием Чехова после возвращения из клиники.

К концу апреля гости разъехались. Начинаясь пора, любимая Чеховым. Он уходил в сад, что-то подстригал, подрезал в цветнике. Видимо, мысль о том, что Мелихово придется покинуть, уже приходила Чехову, потому что, в шутку или всерьез, он напишет И. Л. Леонтьеву (Щеглову): «Пробуду я в Мелихове до сентября 1899 года (...).» И опять угадал. Весну 1899 года он встретит еще в Мелихове, еще будет писать, что он дома, в Лопасне, а к сентябрю имение будет продано и домашняя утварь, мелиховский скарб потянется в Ялту, в новый, неотстроенный дом.

Прощание с Мелиховом уже началось. Просто никто не заметил этого. Как в прошлые годы, в саду сажали молодые деревья, ухаживали за парниками, и все-таки даже дневник П. Е. Чехова передает скрытое замедление мелиховской жизни. Уже нет упоминаний о новых постройках.

Привычка берет свое, и дневник не прерывается, но бывшее ощущение, что жизнь в этом доме устроилась навсегда, как будто убывает. Видимо, каждый из обитателей по-своему, но чувствовал, что перемены не миновать.

Однажды за границей в одном из разговоров с соотечественниками Чехов скажет, что крестьянская жизнь протекала у него на глазах, что он побывал едва ли не в каждой избе. И не из праздного любопытства, а по делам переписки или по вызову к больному.

Поэтому можно предположить, как отнесся он к поднявшимся в печати толкам в связи с «Мужиками» и утверждением, что он не знает жизни народа. Повесть Чехова обсуждали в частных домах, в переписке.

В середине апреля Л. Н. Толстой зашел в гости к Г. А. Русанову. Как-то в 1895 году И. И. Горбунов-Посадов, друг Толстого, просил Чехова выслать тяжело больному Русанову в Воронеж портрет с автографом. Чехов выполнил просьбу. Тогда же, в феврале, Русанов, получив фотографию, написал Чехову, как ценит и любит его творчество: «Изумило и привело (и приводит) меня в восхищение в Ваших произведениях вот что: во-первых, новизна и оригинальность формы; во-вторых, чрезвычайная наблюдательность Ваша и обнаруженный Вами дар тонкого психолога. <...> Наконец, в-третьих, и это главное, то, что Вы — поэт, несомненный, оригинальный, искренний, поэт, пробуждающий во мне добрые чувства...»

Естественно, он не мог не прочесть «Мужиков», и повесть ему не понравилась. Об этом он и сказал пришедшему Толстому, который увидел апрельскую книжку журнала «Русская мысль». Услышав, что Чехов не знает жизни народа, самого народа, Толстой рассказал о своей встрече с Чеховым в клинике. Заметил попутно, что Чехов внешне был спокоен. Однако беседа с Чеховым оставила в Толстом впечатление, что такое знание у Чехова есть, но нет, по его словам, которые запомнил сын Русанова, «совершенно нет окна в религиозное. <...> Да, Чехов большой талант, но он не хорошо пишет. Вы знаете, был я сегодня на выставке импрессионистов — вот уж именно беспринципное искусство; смотришь, смотришь — и никакой идеи, просто воплощение в красках того, что в голову придет. Ходил я по выставке и думал о «Мужиках», и вдруг мне стало казаться, что это такое же беспринципное искусство... Да, — закончил он. — Чехов пишет, как декадент, как импрессионист в широком смысле слова».

Любопытно, попала ли в этот день Толстому на глаза заметка в газете «Русские ведомости». Ее автор, сравнивая повесть «Мужики» и пьесу Толстого «Власть тьмы», находил чеховское произведение более мрачным и безнадежным. На следующий день, 20 апреля, И. Н. Потапенко, упреждая полемику, выступает в «Новом времени» со статьей «О критиках и мужиках». Для него несомненно, что ввиду «оскорбленных теорий» нужно ждать предвзятого подхода к новому чеховскому произведению. Потапенко тоже сравнивает Чехова и Толстого. На этот раз чеховские «Мужики» поставлены рядом с толстовским рассказом «Хозяин и работник». Здесь другой вывод: Толстой «не просто рассказывает», а «требуется верить по-своему». Чехов, дав страшную картину деревенской жизни, «не предлагает вам никакого обязательного вывода. Вы сделаете его сами, сообразно вашему мирозерцанию и настроению».

Потапенко попал в точку. В Мелихово уже было послано несколько писем с откликами на повесть. Каждый отмечал свое. Доктор Радзивицкий не согласился с автором газетной статьи в «Русских ведомостях». Е. М. Шаврова-Юст сожалела, что не может передать свое впечатление: «... Я не умею выразить, как хорошо! Сколько добра Вы сделали, написав про них. Жалких, голодных и темных». Ошеломлен

повестью И. Л. Леонтьев (Щеглов). Спешит написать Н. А. Лейкин: «Восторг что такое! Читал на ночь (...) и потом долго не мог заснуть».

А. И. Сумбатов-Южин прислал проникновенное письмо: «Ты себе — пожалуй — представить не можешь, что ты мне доставил своими «Мужиками». Я не народник ни в старом, ни в новом смысле. С точки зрения «убеждений» держусь, по чистой совести, того взгляда, что народу надо помочь научиться, как выбиться из его страшной нужды. Работая большей частью в стороне от непосредственного касательства к нему, я не могу и много мудрствовать по его поводу, а, грешным делом, слияние с ним считаю настолько невозможным, насколько и восприятие его «умственных горизонтов». Может быть, они и глубоки, и таинственны, и скрывают в своих нутрах обновление и спасение — я не могу в это верить, как не могу верить в рай за вериги и в ад за карточную игру».

Критики упрекают Чехова в односторонности, в преувеличениях, в нехудожественности, а читатели потрясены правдой и совершенством повести. Завершая длинное послание, Сумбатов-Южин признал: «Удивительно высок и целен твой талант в «Мужиках». Ни одной слезливой, ни одной тенденциозной ноты. И везде несравненный трагизм правды, неотразимая сила стихийного, шекспировского рисунка; точно ты не писатель, а сама природа. Понимаешь ли ты меня, что я этим хочу сказать? Я чувствую в «Мужиках», какая погода в тот или другой день действия, где стоит солнце, как сходит спуск к реке. Я все вижу без описаний, а фрак вернувшегося «в народ» лакея я вижу со всеми швами, как вижу бесповоротную гибель всех его, Чикильдеева, светлых надежд на жизнь в палатах Славянского Базара. Я никогда не плачу: когда он надел и затем уложил фрак, я дальше долго не мог читать».

В июне Чехову напишет Н. И. Коробов: «Чем больше я думаю про «Мужиков», тем больше прихожу к убеждению в их значительности и современности. Они вопиют, бьют в набат и должны бы быть запрещены цензурой».

Читатели поражены, а часть критиков упорно отводит Чехову незначительное место. Один из авторов прямо заявляет, что Чехов не любит людей, и «всего более людей русских», в отличие от Толстого или, например, И. Ясинского. Это приговор Н. Ладожского из статьи «Ужасные мужики» в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 29 апреля. Через десять дней Чехову напишет А. А. Тихонов (Луговой): «Вас упрекают, что в «Мужиках» Вы тенденциозно берете только темные стороны, умалчивая о светлых. Вздор это. Точно художник о б я з а н, чтобы быть объективным художником, подыскивать непременно и такие явления, которых у него в данную минуту не оказывается под руками».

Постепенно в этой пестрой картине откликов обрисовался контур спора. Одни сочли оскорбленной идею долга и вины интеллигенции перед народом. Другие не могли не записать Чехова в свои единомышленники, а повесть приводили как доказательство вечной темноты народа, — доказательства, как писал А. И. Богданович, что деревня «сама не заключает в себе силы, которая распахнула бы двери в мир — не деревенский, а настоящий, Божий, светлый и широкий».

(Продолжение следует)



---

---

## À PROPOS

---

---

К вопросу о национальной гордости великороссов. Интересно: найдется ли теперь публицист, который рискнет увести из-под понятия «русская культура» его этнический фундамент, то есть великорусское начало? Я был уверен, что в наше этнопомешавшееся время такого автора не найти.

Однако нашелся:

*«Великоруссы» — порождение умонастроений XIX—XX веков — развития этнографии, повального увлечения фольклором, собиранием народных песен, изучением плясок, обрядов и обычаев деревни, а также «пробуждения» национализмов, шедших рука об руку с ростом либерального и революционного движения...»*

*«Кто этого не понимает, тот не поймет... почему орловского мужика называют великоруссом, а Тургенева и Бунина, уроженцев той же Орловской губернии, — русскими».*

*«Русский» и «великорусс» — понятия неслиянные. Одно означает аморфную этнографическую группу, стоящую на низком культурном уровне, другое — категорию историческую, активный творческий слой народа, не связанный с какой бы то ни было «этнографией», — носитель души и пламени нашей истории...»*

Представляю себе чувства национал-патриотов, хоть чистых почвенников, хоть чистых государственников, когда в щель нашего растрескавшегося самосознания вводят такое жало, когда так решительно отсекают государство от почвы, а почву оставляют без государства.

Однако это реальность: и историческая, и актуально-современная. Более того: она актуализована как историческая именно потому, что злободневна. Единственная из национальных проблем, которую так и не смогла решить советская идеология, — это проблема русской культуры: в качестве русской она так толком и не была отделена от советской. Взаимовытаскивание терминов прямо следовало из исторической реальности, а новейшая реальность вталкивала нас в новые неразрешимости. Например: «русские» имеют права на Крым и Севастополь, но «великоруссы» таких прав не имеют...

Где грань?

В глуби времен.

Ах, если бы мы, подобно Европе, где в «образцовых» единицах нации совпадали с государствами... впрочем, и Европа знавала всякое. И «Римское» отнюдь не совпадало с италийским. И Великобритания из трех этносов сплавилась. И в Испании до сих пор решают, что такое каталонцы. Или баски. Что же говорить о России, где государство никогда не совпадало с этносом? Что это за племя: «Русь»? Да мы и слово-то это в истоке определить не можем. Зато понятие — однозначно, и изначально стоит оно вне, над, под, между... где угодно, только — не «внутри» племени. «Русь», собственно, это дружина, это княжеская властная структура, это государственный фермент в многоплеменном, непрерывно перемешивающемся растворе евразийского населения.

Еще и то учтем, что раствор от веку не очень густ: хватает незаселенных пустот и в дубрах, и в степях бескрайних. Поэтому «Русь» не

завоевывает «чужие земли», а занимает, заселяет их, скорее охватывает, чем захватывает, скорее присоединяет, чем вторгается, а существеннее всего: она облагает данью тех людей, что в тех пространствах живут (собственно, Орда делает то же самое).

Из этого изначально идет пустотный синдром нашего сознания, называющий нас нищетой второе тысячелетие: «земля — ничья». Отсюда и структурный принцип: власть — внеэтнична.

Византийцы когда-то знали, что на этой земле *русь* собирает дань со славян.

Получается, что славяне в *русь* не входят?

Входит. Наряду с кем угодно. Господствующая группа вербуетя из всех: тут *варяги, венгры, осетины, греки, хозары, финны, печенеги, торки, половцы*. Естественно, сюда входят и выходцы из *полян, древлян, кривичей, дреговичей, вятичей* — но родоплеменные связи не имеют веса, а важны функции: «*русь*» — это собиратели дани, и в то же время — арбитры местного населения, строители крепостей, организаторы походов, купцы и воины, вернее: купцы-воины.

И когда настает пора идейного оформления этой власти — она находит себе отнюдь не национально-племенную санкцию. Она ставится как православное *царство*. Она называет себя: *Третий Рим*. Она претендует на *кафолическую* миссию, то бишь, в новейших терминах: на *мировую* революцию, на *всечеловеческий* коммунистический порядок, на *вселенскую* истину (между прочим, не от национальных мыслителей нами полученную, а либо от «мировой религии», либо от «мировой науки»).

Конечно, в наше время никто не рискнет покинуть магический круг нации. В добрый час! Украинец пусть станет прежде всего украинцем, татарин — татарин, осетин — осетином. Великорусс — великоруссом (казак — казаком, помор — помором, чалдон — чалдоном и т. д.).

Не знаю, возникнет ли культура донская или культура чалдонская, но что украинская и белорусская уже четко выделились из общерусского круга, — факт. Факт новейшей истории, не зависимый от того, есть ли у этих культур отдельные исторические корни (их сейчас интенсивно ищут, особенно на Украине), или корень у всех единый («Киев — мать городов русских»).

А вот превратится ли русская культура в великорусскую — вопрос открытый.

И другой открытый вопрос: хотим ли мы этого.

Разумеется, в великорусском начале больше органики. Но, спасая органику, рискуешь потерять многое: масштаб и то, что называется «всемирностью».

Великорусской культуре, наверное, и не до того. И все же: если вы думаете о судьбе русской культуры — очнитесь от гипноза этнической статистики.

*«Русский народ почти неуловим при статистическом методе изучения. Каждый русский может быть отнесен либо к великоруссам, либо к украинцам, либо к полякам, немцам, грузинам, армянам. Гоголь — хо-хол, Пушкин — из арапов, Фонвизин — немец, Жуковский — турок, Багратион — грузин, Лорис-Меликов, Вахтангов, Хачатурян — армяне, Куприн — татарин, братья Рубинштейны, Левитан и Пастернак — евреи, добрая треть генералитета и чиновничества была из немцев. Можно без труда рассортировать эту группу. Так сейчас и делают: каждая национальность выискивает «своих» среди знаменитых русских и зачисляет их в свой национальный депозит. Мы может с улыбкой следить за этой шовинистической игрой. Печать русского духа, русской культуры слишком глубоко отгиснута на каждом ее деятеле, на каждом произведении, чтобы можно было стереть ее или заменить другой печатью. Отмеченное ею никогда не будет носить ни великорусского, ни*

украинского, ни какого бы то ни было другого имени. И если, при статистическом подходе, «русских» можно растащить как избу по бревнышку, то есть в то же время что-то подобное цементу, что сплавливает эту группу в другом плане и делает ее прочнее железобетонного сооружения. Не оттого ли, что она не великорусская, а совсем другая по замыслу?»

*«Картина ее гибели — одна из самых драматических страниц нашей истории. Это победа полян, древлян, вятичей и родимичей над Русью».*

*«Это прямая победа пензенского, полтавского, витебского над киевским, московским, петербургским. Это изоляция от мировой культуры, отказ от своего тысячелетнего прошлого, конец русской истории, ликвидация России. Это — крах надежд на национальное русское возрождение».*

Написано — в 1967 году, за четверть века до этнического извержения (Этны этносов), засыпавшего пеплом СССР и Российскую империю.

Отдадим должное проницательности автора и спросим, наконец, кто такой.

Ульянов.

Николай Ульянов.

Николай Иванович Ульянов, историк. Уроженец Петербурга (1904), выпускник Ленинградского университета (1927), сиделец Соловков и Норильска (с 1936), пленный ост-арбайтер (с 1941), эмигрант в Марокко (с 1947), эмигрант в США (с 1955) . . .

. . . Я попал в США летом 1987 года. Непринужденность этой фразы не отражает, конечно, того потрясения, которое я испытал от поездки, первой в моей жизни поездки в Новый Свет и, как я твердо знал, последней. Я был участником славистской конференции в Йеле и попал в маленький университетский городок Нью-Хэйвен, который и стал для меня «открытием Америки». Я ходил по тенистым тротуарам, задирая голову на кресты, созерцал полки книгохранилищ, вел диспуты с эмигрантами и читал надписи на могильных камнях местного кладбища. Америка казалась мне зазеркальем: все похоже, все всамделишно, и — ни к чему не прикоснешься: сон. И вроде бы ни живой души родной — а что-то держит. Какая-то тайная гавань для души. Новая гавань. Нью-Хэйвен, как нареклось это место со времен первых голландских переселенцев.

Теперь прочел в журнале «Родина», открывшем для нас наследие замечательного русского историка:

«В Нью-Хэйвене, штат Коннектикут, Николай Иванович Ульянов жил и работал вплоть до своей кончины, последовавшей 7 марта 1985 года».

Всего за два года с небольшим до того момента, когда я, ничего о нем не зная, прошел где-то около его могилы.

Господи, как это было близко. Как теперь далеко: с того момента успело пройти вдвое больше времени!

Ничтожные мгновенья в океане истории, где то ли тонет, то ли выплывает, обновляясь, великая русская культура.

Л. Аннинский

---

---

## ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

---

---

### Кеннет Грэм ИВОВЫЙ ВЕТЕР

*Перевела с английского Юлия Муравьева*

#### М-Р БАРСУК

Терпеливо топтались они в снегу, пытаясь согреть замерзшие лапы, и ждали терпеливо, но минула, казалось, целая вечность, прежде чем за дверью послышались и стали приближаться медленные шаркающие шаги. Кроту пришло в голову, что кто-то внутри еле волочит ноги в слишком разношенных тапках со стоптанными задниками, он не преминул поделиться своей догадкой с Крысом — и, умница, оказался прав.

Загрел отодвигаемый засов, дверь слегка приоткрылась, из узкой щели глянула, сонно помаргивая глазами, длинная недовольная морда и пробурчала грубо и недружелюбно:

— Ну знаете, если это безобразие еще раз повторится, я уж настоящему рассержусь. Кто тут опять хулиганит посреди ночи? Говорите сейчас же!

— Ой, Барсук! — завопил Крыс. — Пусти нас, пожалуйста! Это я, Крыс, и мой приятель Крот, и мы потерялись в снегу.

— Что-о? Крысик, звереныш мой дорогой! — всполошился Барсук, и голос его внезапно потеплел. — Заходите скорее. Подумать только, вы же могли погибнуть! Господи помилуй! Потерялись в снегу. Да еще посреди Дикого Леса, да еще ночью! Ну входите, ребята.

Толкаясь и возбужденно сопя, они ввалились в дом и, когда за спиной захлопнулась тяжелая дверь, перевели дух с радостью и облегчением.

Барсук в долгополом халате и действительно очень стоптанных тапочках держал плоский подсвечник, и было заметно, что, подняв этот переполох, они вытащили его чуть ли не из постели. Он наклонился и, ласково взъерошив им шерстку, заворчал:

— Мелким зверюшкам не годится разгуливать по ночам. Ох, Крыс, сдается мне, ты снова взялся за свои проказы. Ну да ладно. Пойдемте-ка на кухню. Там у меня замечательный огонь разведен, и ужин, и все тому подобное.

Барсук повернулся и шаркал обратно, освещая путь, а они, толкаясь от нетерпения, предвкушая и воображая, затоптали следом по длинному, мрачному и, признаться, весьма обшарпанному коридору — все дальше и дальше, пока не дошли до центрального помещения, от которого в разные стороны, смутно различимые в полутьме, ответвлялись другие таинственные коридоры, похожие на тоннели, уходящие в

никуда. А еще там были двери. Барсук распахнул одну из этих массивных, надежных дубовых дверей, и за ней оказалась просторная кухня, освещенная пляшущими язычками пламени, и дохнуло теплом и уютom.

Они увидели красный кирпичный пол, потемневший от старости, поленья, жарко полыхающие в широком камине, и окаймляющие его приветливые сиденья, для пущей защиты от сквозняка утопленные в стенных нишах. Справа и слева от огня, развернутые навстречу друг другу, стояли две скамьи с высокими спинками — чудесное пристанище для настроенных к обстоятельной беседе. В середине комнаты, опираясь на козлы, располагалась длинная дощатая столешница, вдоль которой тянулись лавки, а с краю, там, где высилось отодвинутое кресло, были разбросаны остатки простого, но обильного ужина. На другом конце кухни подмигивали с полок посудного шкафа шеренги сияющих тарелок, с потолочных балок свисали окорока, пучки сушеных трав, сетки, набитые луком, и корзиночки с яйцами. Славное это было место: подходящее для героев, торжествующих победу; для усталых жнецов — чтобы всем скопом отметить Праздник Урожая пиршущей и веселыми песнями; для пары-тройки закадычных друзей, не отличающихся особо утонченным вкусом, вздумайся им отдохнуть в свое удовольствие, покойно и уютно, — закусить, покурить, поболтать. Румяный кирпичный пол улыбался закопченному потолку; насмешливо переглядывались дубовые скамьи, долгим употреблением отполированные до блеска; тарелки из посудного шкафа строили глазки горшочкам с соседней полки, а беспечные огненные отсветы трепетали, пританцовывая, на всем без разбору.

Заботливый Барсук усадил гостей на скамейку, поближе к жару, и заставил стянуть промокшую одежду и ботинки. Он принес им халаты и шлепанцы, собственноручно промыл Кротиную голень теплой водой и заклеил рану пластырем, так что она стала как новенькая, если не лучше. Обласканные теплом и светом, согревшиеся, просохшие, вытянув измученные ноги, прислушивались они к соблазнительному звяканью тарелок, расставляемых сзади на столе, и отсюда, как из тихой безопасной гавани, бездорожье Дикого Леса, пронизанного ледяными ветрами, хоть и поджидало сразу за дверью, казалось отодвинутым на много-много миль, и все пережитые муки, все страдания подернулись туманом забвения, словно позавчерашний сон.

Убедившись, что гости отдохнули и отогрелись, Барсук пригласил их к столу. Они давно уже чувствовали голод, но вид раскинувшейся перед глазами трапезы выветрил из ошеломленных голов все мысли, кроме одной: на что напасть сначала, как выбрать лучшее из равно прекрасного, и сможет ли отложенное на потом любезно подождать своей очереди. Об общении нечего было и думать, а возобновившись мало-помалу, оно состояло лишь из того убогого подобия членораздельной речи, к которому всегда приводят попытки разговора с набитым ртом. Барсук ничего не имел против; не обращал он внимания и на локти, положенные на стол, и не возражал, когда все тараторили разом. Покинув Общество, он решил раз навсегда, что все это не имеет ровно никакого значения (мы-то знаем: он был неправ и слишком узко смотрел на мир, потому что такие вещи, разумеется, ужасно важны — только вот причину объяснять слишком долго). Восседая в своем кресле во главе стола, он слушал повесть о страшных событиях и серьезно кивал в паузах. Ничто не удивляло, не возмущало его, он не делал обидных замечаний: «Я же тебя предупреждал!» или «Ну вот, я так и думал!», никого не упрекал, ничего задним числом не советовал, и Крот почувствовал к нему глубокую симпатию.

Когда шкурка на маленьких пузцах натянулась наконец так туго, что набивать их и дальше стало попросту опасным, ужин закончился, и звери, которым на сей раз не было никакого дела до приличий, пере-

местились к потухающему огню и долго глядели на причудливую гору тлеющих угольков, счастливые, что засиделись сегодня допоздна, такие самостоятельные и такие сытые. Поболтали о том о сем, и Барсук спросил с явным интересом:

— Ну теперь по делу. Что там в ваших краях? Как старина Жаб поживает?

— Ох, все хуже и хуже, — горестно пожаловался Крыс, а размо- ренный Крот, несмотря на ноги, задранные выше головы, попытался выпрямиться и придать своей физиономии подобающее скорбное выра- жение. — На той неделе очередная авария, и нешуточная. Он, видишь ли, желает рулить сам, а водитель из него никудышный, мягко гово- ря. Почему бы не нанять профессионала, хорошего, надежного? Пла- тил бы ему прилично и не знал забот — нет, Боже упаси! Ведь Жаб у нас прирожденный шофер, и никто не смеет его учить! Ну, и резуль- таты — догадайся с трех раз.

— Это которая же? — нахмурился Барсук.

— Авария или машина? — переспросил Крыс и махнул лапкой. — Ну да, ну да, тут вроде как без разницы... Седьмая. А остальные — помнишь его каретный сарай? Так вот, он забит — буквально завален до потолка разными деталями, малюсенькими, не больше твоей шля- пы! Если их все учесть — получится шесть остальных, только не знаю, считается ли такой расчет.

— Он уже три раза побывал в больнице, — вставил Крот, — и эти штрафы постоянно — даже подумать страшно, сколько он тратит.

— Да, тоже проблемочка, — покачав головой, продолжал Крыс. — Жаб, он, конечно, богатей, но не миллионер же, в конце концов. Как водитель он удивительно бездарен, а на правила ему наплевать, и на законы, и на порядки. Рано или поздно он убьется, в лучшем случае, разорится — словом, полная безнадега, Барсук! Мы ведь его друзья, с е й ч а с я ничего не могу делать?

Барсук погрузился в суровое молчание.

— Надеюсь, ты не забыл, — свирепо сказал он наконец, — что с е й ч а с я ничего не могу делать?

Приятели согласились — довод был неопровержимый. Звериный этикет гласит, что зимой, в мертвый сезон, требовать от животного свершений, подвигов иил даже просто каких-нибудь поступков строго запрещается. Все ходят сонные, а некоторые залегают и в настоящую спячку. Непогода связывает по рукам и ногам — да это и кстати: уста- лые тела жаждут отдыха от летних, исполненных деятельной суеты дней и ночей, когда каждая мышца, каждый сустав работали на износ.

— Вот и отлично, — смягчился Барсук. — Зато — как только зима пойдет на убыль, а дни станут длиннее, и мы, просыпаясь посреди укоротившейся ночи, будем беспокожно ворочаться в ожидании рассве- та, чтоб скорее встать и заняться делами, — вы-то знаете!

Оба зверька понимающе кивнули. О н и знали!

— Тогда, — Барсук сверкнул глазами исподлобья, — мы — то есть ты, и я, и наш друг Крот, — мы всерьез возьмемся за Жаба. И мы его сумасбродства терпеть не будем. Мы положим им конец — силой, еже- ли понадобится. Заставим вести себя благоразумно. Мы... Да ты спишь, Крыс!

— Не я, не я! — встрепенувшись, забормотал Крыс.

— Он после ужина уже раза три задремывал, — наябедничал Крот и захихикал. У этого сна ни в одном глазу не было, и удив- ляться этому особенно не приходилось: рожденный и воспитанный под землей, оказавшись в Барсучьем жилище, он немедленно почувствовал себя как дома, — а вот на Крыса, привыкшего к свежему речному вет- ру, врывающемуся через окна спальни, затхлый, неподвижный воздух подействовал угнетающе.

— Что ж, время и впрямь позднее, — заметил Барсук, поднимаясь, и достал с полки подсвечники. — Пойдемте, покажу вам постели. И не вздумайте поутру вскакивать ни свет ни заря — отсыпайтесь вволю, завтрак подождет.

Он отвел гостей в длинную комнату — полуспальню, получердак. Готовясь к зиме, Барсук действовал основательно, и накопленные припасы — пирамиды яблок, картошки и репы, корзины орехов, банки с медом — плотно загромождали пол, не забывая, впрочем, оставить местечко для двух беленьких кроваток, заманчиво мягких на вид. Простыни, хотя и грубые, чудесно благоухали лавандой, и Крот с Крысом, в мгновение ока скинув одежду, с разбегу завернулись в них и уснули, довольные и умиротворенные.

На следующее утро, послушно следуя указаниям добрейшего Барсука, зевающие звери спустились к завтраку очень поздно и обнаружили, что в камине всюду пылает огонь, а на лавочке за столом примостились два ежонка и прихлебывают из деревянных мисок овсяную кашу. Завидев новоприбывших, ежата дружно побросали ложки, вскочили и почтительно склонили головы.

— Садитесь, садитесь, молодые люди, — улыбнулся Крыс. — Ешьте вашу кашу. А, кстати, как вы сюда попали? Небось в снегу потерялись.

— Именно так, сэр, с Вашего позволения, — вежливо объяснил старший. — Мы с малюткой Билли искали дорогу в школу — наша мама всегда заставляет нас ходить в школу, ей все равно, какая погода, — ну и, конечно, заблудились, сэр, и Билли испугался и заплакал: он ведь совсем еще ребенок, трусишка. И вот наконец мы оказались рядышком с дверью мистера Барсука — где у него черный ход, сэр, — и осмелились постучать, потому что мистера Барсука все знают как очень отзывчивого джентльмена...

— Ясно, — прервал его Крыс и, отрезав от окорока еще несколько ломтиков, сунул нос в кастрюльку, куда Крот разбивал яйца. — Ну, а что там с погодой? И не стоит называть меня сэром каждую секунду.

— О! Ужасная, сэр, — ежонок содрогнулся, — снег ужасно глубокий, вам, джентльмены, лучше сегодня не выходить.

— А где мистер Барсук? — разогрев у огня кофейник, поинтересовался Крот.

— Хозяин отправился в кабинет, сэр, — ответил ежик, — и велел передать, чтоб его ни под каким предлогом не тревожили, потому что сегодня утром он особенно занят.

Все прекрасно поняли, что имелось в виду. Когда шесть месяцев в году живешь деятельно и напряженно, то остальные шесть проводишь большей частью в полудреме, и каждый раз, извиняясь перед гостями или отлынивая от работы, ссылаться на сонливость — утомительно и скучно, а порой и просто неприлично. Словом, зверям было отлично известно, что Барсук, расправившись с плотным завтраком, удалился в кабинет, погрузился в кресло, задрал на соседнее ноги и, покрыв лицо красным носовым платком, приступил к обычным для этого сезона занятиям.

Настойчиво забренчал колокольчик парадной двери, и Крыс, с сомнением посмотрев на свои руки, жирные от хорошо промасленных гренок, послал Билли, младшего ежонка, выяснить, что случилось. Из прихожей донеслось громкое топанье, в кухню следом за Билли ввалился Выдр и с бешеным приветственным воплем ринулся обнимать Крыса.

— Да прекрати же! — промычал Крыс, чуть не подавившись непрожеванным греном.

— Так я и знал, что вы здесь, в целости и сохранности, — облег-

ченно выдохнул Выдр.— Там, на Речном Берегу, страшный переполох. Я зашел с утра пораньше — все носятся как оголтелые: Крыс не ночевал дома, да и Крот впридачу — видно, стряслось что-то чудовищное. А ваши следы, понятное дело, снегом занесло. Но я-то знаю: те, кто попадает в передрыгу, в конце концов обычно оказываются у Барсука; а если даже нет — он все равно в курсе дела и поможет советом. И вот я отправился напрямик сюда, представляете, по Дикому Лесу, через все эти сугробы! И, черт побери, до чего ж было здорово пробираться сквозь снег, когда за черными стволами поднималось ярко-красное солнце! А вокруг полная тишина, только изредка с деревьев обрушиваются белые лавины, и ты подскакиваешь от неожиданности, но никогда не успеваешь спрятаться. Снежные замки и пещеры, за ночь возникшие из небытия, снежные мосты, террасы, бастионы — я бы, кажется, мог вечно играть с ними, забыв про время и обязанности. Повсюду лежат поверженные мощные ветви, не выдержавшие своей полупрозрачной, такой невесомой с виду ноши, и малиновки уже облюбовали их под насесты и перескакивают с сучка на сучок, да так дерзко, так высокомерно задирают клювы, словно все это их рук дело. Высоко в сером небе неровной ниточкой проплыли дикие гуси, да не сколько грачей, окружив над верхушками деревьев и изучив окрестности, брезгливо поморщились и с шумом улетели в родные края — короче, никого, способного вразумительно разъяснить мне ситуацию, я не повстречал. И вот уже где-то на полдороге заметил я на пенёчке кролика — он сидел и тер лапами свою дурацкую морду, умывался, что ли. Надо сказать, балбес изрядно перепугался, когда я, подкравшись сзади, положил на его плечо тяжелую лапу. Пришлось ему врезать пару раз, чтоб хоть немного привести в чувство. Ну, в общем, мне удалось вытянуть из него, что Крота видели ночью в Диком Лесу. Кто видел? Один из них. Всякое болтали в подземных переходах, — трепеща, признался кролик, — что Крот, близкий друг мистера Крыса, попал в переделку и сбился с пути и «Они» вышли на охоту, и гнали его, и брали в кольцо.

— А почему, скажи на милость, никто из вас и пальцем не пошевелил? — возмутился я. — Может, вы и обделены мозгами от природы, но вас сотни и сотни, крепких, рослых, жирных парней, и вся земля под ногами изрыта вашими коридорами — как же вы не взяли его к себе, не спасли, не приютили, даже не попытались, черт возьми?

— Кто, мы? — изумился он. — Мы, кролики? Попытаться?

Я врезал ему еще и отпустил. Ну что тут — только руками развести... По крайней мере, я стал умнее, жаль, никого из «Них» не встретил — а то научился бы еще кой-чему, точнее, их научил.

— А т-ты ни капельки... н-не нервничал? — шепотом спросил Крот. При упоминании о Диком Лесе вчерашний ужас вернулся и по телу побежали мурашки.

— Нервничал? — рассмеявшись, Выдр сверкнул острыми белыми зубами. — Я бы их заставил понервничать, попадись они мне под руку. Будь другом, Крот, поджарь мне ветчинки — жутко есть хочется, а я пока перекинусь парой слов с Крысом, мы тысячу лет не виделись.

Крот покладисто нарезал ветчину, отправил одного из ежат жарить ее, а сам вернулся к прерванному завтраку. Выдр подсел к Крысу, и они забубнили, поминутно стучаясь носами, и эти речные сплетни казались бесконечными и перетекали одна в другую, невнятные, как журчащая вода.

Подчистили одну тарелку ветчины и послали за добавкой, когда в дверях появился заспанный Барсук, потер глаза, зевнул и сдержанно поздоровался, найдя для каждого простые, добрые слова.

— Если я не ошибаюсь, настало время перекусить, — обратился он



к Выдру. — Прервись-ка на минутку, поешь с нами. Ты, должно быть, очень голоден в такой холод и такую рань.

— Еще бы! — воодушевился Выдр и подмигнул Кроту. — А эти жадные юные ежи, набивающие себе животы жареной ветчиной, довели меня чуть ли не до голодного обморока.

У ежиков, которые как раз успели переварить овсянку, от запаха скворчащих ветчинных ломтиков урчало в пустых желудках, они робко подняли на Барсука глаза, — слишком застенчивые, чтобы оправдываться.

— Что ж, юноши, в таком случае ступайте домой, к маме, — добродушно закрятел Барсук. — Я дам знать, вас проводят до дома. Обедать вас сегодня, видно, и силком не заставишь.

Он погладил их, вручил каждому по шестипенсовику, малыши откланялись и, вежливо размахивая шапочками, покинули кухню.

Вместе сели за стол. Крыс и Выдр снова очертя голову бросились в пучину речных пересудов, и Крот, оказавшись рядом с мистером Барсуком, решил воспользоваться случаем и рассказать, до чего уютно, совсем как дома, чувствует он себя у него в гостях.

— Если тебе хорошо под землей, — набравшись смелости, заговорил он, — ты этого вовек не забудешь. С тобой ничего не может стрястись, и ничто тебя не заботит. Ты сам себе хозяин — ни до кого нет дела, не надо прислушиваться к чужому мнению. Наверху жизнь идет своим чередом, а тебя не касается. Когда захочешь — вылезает на свет, и он радостно встречает тебя, потому что долго ждал.

— Точь-в-точь мои слова, — расплылся в улыбке Барсук. — Кроме как под землей, нигде не найти безопасности, покоя, настоящей тишины. Если, к примеру, тебе вздумалось расширить кругозор — за чем дело стало? — пошевели лапами, копни, ковырни — и цель достигнута. Дом кажется великоват? Ничего нет легче — стоит только законопатить пару коридоров. Никто не заглядывает через забор, никаких тебе каменщиков, торговцев, глупых советов, а кроме того — никакой погоды. Ну посмотри на Крыса. Паводок, река поднимается на два фута — и ему приходится снимать квартиру. Неудобно, как правило, далеко — и ужасно дорого. Возьмем Жаба. Ничего не имею против Жабьего Холла — лучшее здание в здешних краях, подчеркиваю, з д а н и е. Ну, а если, не дай Бог, пожар — куда денется Жаб? Предположим, ураганом сдуло крышу, стены осели или дали трещину, разбились оконные стекла — и куда ему податься? Если в комнатах сквозняк — а я ненавижу сквозняки, — что станет с Жабом? Нет, наверху, на воздухе, неплохо побродить, погулять, зайти к кому-нибудь в гости, но возвращаться в конце концов нужно под землю — так я понимаю дом.

Крот с энтузиазмом и очень искренне поддакивал, и Барсук почувствовал к нему растущее расположение.

— Когда поедим, — пообещал он, — я покажу тебе свое жилище. Уверен, ты в состоянии оценить его должным образом и понять, что такое настоящий домашний стиль.

Наевшись до отвала, Выдр и Крыс расположились в боковой каминной нише и с подогретым рвением пустились в дискуссию об угрях, а Барсук зажег фонарь и пригласил Крота следовать за ним. Миновав прихожую, они углубились в один из основных тоннелей, и в колеблющемся свете фонаря мимолетные видения комнат, больших и крохотных — то похожих на комод, то просторных и внушительных, будто столовая Жабьего Холла, — замелькали по сторонам. Узкий проход, ответвляющийся под прямым углом, привел их в новый коридор, где все повторилось сначала. Крот, ошеломленный величием грандиозного лабиринта, сумеречной бесконечностью его ходов и закоулков, монументальностью кирпичных сводов, нависающих над переполненными

кладовыми, колоннадами, арками, причудливыми узорами мозаики на полу, — потерял дар речи. Придя в себя, он ошалело пролепетал:

— Господи Боже мой, мистер Барсук, сколько же времени и сил, должно быть, потратили Вы на строительство! Потрясающе!

— Было бы потрясающе, — хмыкнул Барсук, — построй я все это сам. Но, честно говоря, я ничего тут не строил — так, прочистил проходы, комнаты, не все, разумеется, только те, что мне надобны. Большую-то часть я не осваивал. А, вижу твое недоумение, попробую объяснить. Вот какая история. Давным-давно, когда Дикий Лес не шумел еще над головами, когда его попросту не было и даже семена его не попали еще в землю, — здесь стоял город, да-да, человеческий город. На этом самом месте они и жили, и прогуливались, и разговаривали, и спали, и занимались своими делами. Здесь они ставили коней в стойла и пировали, отсюда воины уходили на войну, а купцы — на базары чужих стран. Это были могучие люди, богатые — и великие строители. Они строили на века, потому что не сомневались: их город будет стоять вечно.

— Куда ж они все подевались? — вытаращил глаза Крот.

— Неизвестно, — Барсук пожал плечами. — Люди приходят, порой задерживаются, начинают строить, процветают — а потом уходят. Так уж у них заведено. А мы остаемся. Мне рассказывали, что задолго до человеческого города тут обитали барсуки. Теперь они вернулись. Мы очень выносливые и живучие и можем на время отступить — но всегда ждем, терпеливо ждем — и возвращаемся. И так будет всегда.

— А когда они наконец ушли, эти люди? — спросил Крот.

— Когда они ушли, — продолжал Барсук, — наступил черед сильных ветров и затяжных дождей, и, не тратя попусту слов, они принялись за работу и трудились — кропотливо, неспешно, безостановочно — год за годом, год за годом. Возможно, и мы, барсуки, в меру слабых своих сил помогали им — как знать? И город опускался — вниз, вниз, вниз, незаметно рушился и, наконец, сровнявшись с землей, исчез. И в тот же момент началось встречное движение — ввысь, ввысь, ввысь, — тянулись ростки проросших семян и вытягивались в лесные деревья, и ежевика с папоротником, неслышно стелясь по земле, приползли на подмогу. Гнили опавшие листья, все надежнее скрывая следы ушедшего прошлого; ручьи, бурно разливаясь в зимний сезон, приносили песок и грязь, и толстела, набухала почва, и пришло время, когда дом был снова готов для нас и мы въехали в него. Наверху, на поверхности, случилось то же самое. Путники, путешественники, если места приходились им по вкусу, оседали здесь, заводили жилища, размножались и преуспевали. Их не тревожило прошлое: этим животным никогда ни до чего нет дела — они, видите ли, слишком заняты. Местность тут, естественно, неровная, холмистая, изрытая пустотами, — но это скорее преимущество, чем недостаток. О будущем они, кстати, тоже не беспокоятся, хотя весьма вероятно, что в будущем люди опять объявятся здесь — на время, конечно. Словом, сейчас Дикий Лес заселен достаточно плотно — всякие тут водятся: и хорошие, и дурные, и так, серединка на половинку — называть никого не буду. Мир ведь и должен быть разнообразным. Я полагаю, ты уже кое о ком имеешь представление?

— Да, — вздрогнул Крот.

— Ну полно, полно, — насупился Барсук и похлопал его по плечу. — Чего ж и ждать от первого приключения, дружок? Опыт придет позже. На самом деле они не такие уж плохие, в любом случае всем нам надо жить и давать жить другим. Я завтра оповещу кого следует — и надеюсь, твои неприятности закончатся — да, пожалуй, так будет лучше. Мои друзья разгуливают там, где им вздумается, — и неспроста!

Вернувшись, они обнаружили Крыса, беспокойно мечущегося по

кухне. Подземная атмосфера угнетала его, он нервничал и действительно тревожился, как бы не удрала куда-нибудь оставшаяся без должного присмотра Река. Он уже застегнул пальто и засунул за пояс пистолеты.

— Собирайся! — скомандовал он, едва завидев Крота. — Надо выбираться, пока светло. Неохота мне еще раз ночевать в Диком Лесу.

— Все будет в полном порядке, дорогуша, — присоединился к нему Выдр. — Я иду с вами. Эти тропы я знаю как свои пять пальцев, дорогу хоть с завязанными глазами разыщу. А насчет подзатыльников и затрещин кой-кому — пожалуйста, рассчитывайте на меня, всегда готов!

— Не стоит волноваться, Крыс, — веско произнес Барсук. — Мои тоннели ведут дальше, чем ты думаешь. Через запасные выходы можно выбраться практически к любому концу леса, только я предпочитаю об этом особенно не распространяться. Когда уже соберетесь по-настоящему, пойдете напрямик. Успокойся. Присаживайся. У вас достаточно времени.

Уговоры не подействовали на Крыса, он с ума сходил от мысли, что бросил свою Реку одинокой и неухоженной, и Барсук не стал настаивать. Снова взяв фонарь, он повел их душным и сырым коридором, который, утомительно петляя, направлялся куда-то вглубь, то круглясь высокими сводчатыми потолками, то съезжаясь в узкую, выдолбленную в камне щель, и казался бесконечно длинным. Наконец дневной свет робко пробился сквозь густые кусты, цепко обнявшиеся над выходом, и Барсук, отрывисто и торопливо попрощавшись, выпихнул их на свободу, заново замаскировал зияющую дыру сухими стебельками, хворостом и опавшими листьями и отправился восвояси.

Они стояли на краю Дикого Леса. Позади беспорядочно сплетались корни деревьев, громоздились среди зарослей ежевики каменные глыбы; впереди раскинулось бескрайнее спокойное пространство полей, расшитое ровными стрелками живых изгородей, черных на белом снегу; еще дальше маняще блестела родная Река и низко над горизонтом висело холодное красное солнце. Выдр, близко знакомый с каждой малюсенькой тропкой, встал во главе отряда, они двинулись, срезая угол, к отдаленному перелазу и там, на мгновение замешкавшись, посмотрели назад. Плотная, угрюмая туша Дикого Леса ссутулилась над белым простором окружающих полей, хищная, затаившая угрозу. Не сговариваясь, они отвернулись и заспешили домой, к огню, танцующему в камине и бросающему неверные тени на любимые старые вещи, к веселому лепету, журчащему под окном, — голосу Реки, которую они знали так хорошо и которая, даже в самом гнусном настроении, никогда не подводила и никогда не пугала.

Торопясь и предвкушая восхитительную, долгожданную встречу с милыми его сердцу предметами, Крот уже больше не сомневался: да, он животное возделанной пашни и живой изгороди, его мир — это свежепроложенная борозда, ухоженная садовая земля, толкотня на переполненном пастбище, нескончаемые вечерние посиделки. Пусть другие с настырным упорством переносят лишения, пусть бьются в суровых битвах, без которых порой не может обойтись Природа: ему следует быть мудрее, не рваться за пределы маленького, славного, нестрашного мира, где приключения — хоть и совсем в другом роде — тоже были припасены достаточно щедро, — так, чтобы хватило на всю жизнь.

*(Продолжение следует)*

---

---

## АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

---

---

*Константин Викторович ПЛЕШАКОВ. Родился в 1959 году в Ялте. Выпускник Института Азии и Африки при МГУ, политолог. Статьи и рассказы публиковались в журналах «Новое время», «Международная жизнь», в «Новом журнале». В 1992 году в издательстве МЭИ вышла книга рассказов «Физика».*

*Лидия Николаевна ГРИГОРЬЕВА. Окончила филфак Казанского университета. Автор поэтических книг «Майский сад», Современник, М., 1981; «Свет виноградный», Современник, М., 1984; «Круг общения» (поэма), СП, М., 1988; «Любовный голод» Пенаты, М., 1993.*

*Юрий Данилович КАШКАРОВ. Родился в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в 1940 году. Окончил филфак МГУ. С 1976 года живет в США. Основные публикации в «Новом журнале» и «Континенте». В 1988 году в издательстве «Мост» and Russica Publishers, INC» вышла книга повестей и рассказов «Словеса царей и дней». В «Нашем наследии» (№ 5, 1991) опубликовал очерк «Афон», в «Литературной газете» — (№ 38, 1992) — рассказ «Тем летом в Тарусе».*

*Андрей Леонидович НИКИТИН. Родился в 1935 году в г. Калинин (Тверь). Историк, археолог, литературовед. Автор десяти книг, среди которых: «Цветок папоротника» Мысль, М., 1972; «Дороги веков», СП, М., 1980; «Точка зрения» СП, М., 1985; «День, прожитый дважды», Современник, М., 1985; «Остановка в Чапومه», СП, М., 1990.*

*Борис Тимофеевич ЕВСЕЕВ. Родился в 1951 году в Херсоне. Учился в институте им. Гнесиных. В настоящее время работает в «Литературной газете». Стихи и рассказы печатались в журналах «Огонек», «Октябрь», «Согласие», в «Литературной газете».*

*Александр Михайлович ТЕРЕХОВ. Журналист, прозаик. Автор книг: «Секрет» Библ. «Огонька», М., 1988; «Зимний день — начало новой жизни», Roshe, Paris, 1992.*

*Виктор Александрович НЕКИПЕЛОВ (1928—1989). Книги: «Стихи» La Presse Libre, Париж, 1991; «Стихи», Мемориал, Бостон, 1992.*

*Алевтина Павловна КУЗИЧЕВА, кандидат филологических наук. Автор публикаций: «Удивительная повесть» (сб. «В творческой лаборатории Чехова», Наука, М., 1974); «О философии жизни и смерти» (сб. «Чехов и Лев Толстой», Наука, М., 1980); «Когда я пишу...» — Чеховиана», вып. первый. Книга «Творчество: загадки, иллюзии, правда», Просвещение, М., 1991.*

---

---

## УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ «СОГЛАСИЯ»!

Редакция благодарит Вас за доброе внимание к нашему журналу. Для дальнейшего знакомства и сотрудничества просим Вас заполнить и прислать нам нижеследующую анкету:

1. Фамилия, имя, отчество;
2. Если можно, возраст;
3. Профессия;
4. Домашний адрес;
5. Если есть, номер телефона;
6. Ваше мнение о журнале (желательно).

Нам нужна эта обратная связь, потому что мы дорожим каждым постоянным читателем и надеемся на Вашу помощь в дальнейшей работе журнала.



### ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

*Вацлав МИХАЛЬСКИЙ*

*Алла МАРЧЕНКО*

*(зам. главного редактора)*

*Светлана БУЧНЕВА*

*(отв. секретарь)*



Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке наших материалов ссылка на «Согласие» обязательна.



## SUMMARY

Konstantin Pleshakov's article «The Imperial Dreams» is in a way a preface to our «historical» issue where the most disputable epochs of Russian history are revived.

In an essay «Looking from the Makovetz Hill» by Alexander Terekhov the mystery and the tragedy of life and personality of St. Serge of Radonezh are depicted with vividness and thrill.

Yuri Kashkarov, an emigree prose writer, in his novel «The Words of the Tzars and the Days» turns to dramatic fate of Ivan Khvorostinin, the Russian poet and the chronicler of the beginning of the 17th century. Andrei Nikitin, the well-known historian of medieval Russia, in the afterword to Kashkarov's novel is as thorough and shrewd as ever.

Victor Sosnora, whose novel «The Tower» was published in Nos. 1—3, is now represented by the continuation of his famous series of historical miniatures.

Lev Anninsky in his regular column «A Propos» debates the problem of the origins of Russian nation as seen by the emigree historian Nikolai Ulyanov.

Alla Martchenko, the author of the bestseller on Lermontov, now turns to modern prose. «The generation of the 60's» as shown in Alexander Makanin's new novel is really worth speaking about.

The poetry section of the issue represented by Lidia Grigoryeva, Boris Yevseyev and Victor Nekipelov is also mostly «historical».

In this issue, we continue the publication of Robert Shtilmark's autobiographical novel «A Handful of Light», the philosophical novel by Antoine de Saint-Exupery «The Citadel», A. P. Kuzicheva's day-by-day reconstruction of Chekhov's life «Yours A. Chekhov: The Melikhovo Chronicle» and Kenneth Grahame's world-famous book for children «The Wind in the Willows».

## «CONCORDANCE»

## РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Патриарх Алексей,  
А.М.Адамович, Г.П.Алференко,  
**В.С.Алхимов**, В.М.Борисов,  
А.М.Борщаговский, Ф.М.Бурлацкий,  
Ю.М.Буцко, Е.М.Бычков, Б.Л.Васильев,  
А.Ю.Герман, А.А.Голик, Г.М.Гусев, А.Г.Коновалов,  
Л.П.Кравченко, В.Н.Крупин, А.М. Марченко,  
Г.И.Матевосян, А.Н.Медведев, В.В.Меньшиков,  
В.В.Михальский, Б.А.Можаев, С.А.Мубаряков,  
В.Н.Мудрак, Б.И.Олейник, О.М.Попцов,  
Г.В.Пряхин, Ю.М.Рост, Ю.С.Рытхэу,  
А.Н.Самарцев, Л.П.Синянская, Ю.Б.Соломонов,  
В.Т.Спиваков, Н.К.Старшинов, О.М.Толкачев,  
Н.И.Травкин, С.Н.Федоров, Ю.Д.Черниченко,  
Б.А.Чичибабин, С.И.Чупринин,  
И.О.Шайтанов, И.И.Шкляревский,  
А.Н.Яковлев, С.В.Ямщиков

Подписано к печати 26.04.93 Рег. № 01872 от 10.12.92 г.  
Формат 70×108/16 Гарнитура «Литературная» Печать высокая.  
Физ. печ. л. 14,0 Тираж 5000 экз. Заказ 779 Цена договорная  
Производственно-издательский комбинат ВИНТИ  
140010, Люберцы-10, Московской обл., Октябрьский проспект, 403

### АДРЕС РЕДАКЦИИ:

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28  
Телефоны: главный редактор — 235-15-56,  
тел. редакции — 235-14-10

Корректоры *С. И. Горшунова, В. Н. Крылова*